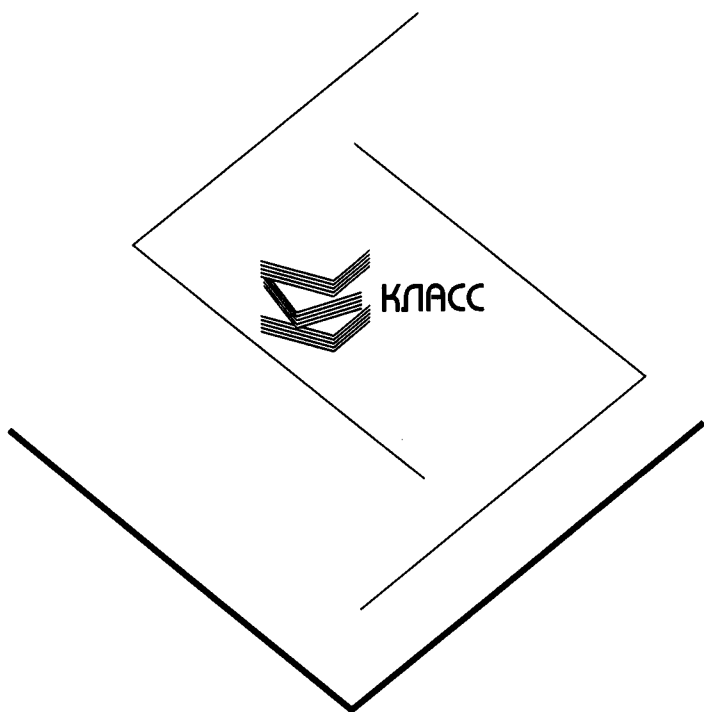


ТАКОЙ СПОСОБ ПОНИМАТЬ

Самуил ЛУРЬЕ

Самуил ЛУРЬЕ

ТАКОЙ
СПОСОБ
ПОНИМАТЬ



КЛАСС

Самуил ЛУРЬЕ

**ТАКОЙ
СПОСОБ
ПОНИМАТЬ**

Москва
Независимая фирма «Класс»
2007

ББК 84.Р7

Л 86

Лурье С. А.

Л 86 Такой способ понимать. — М.: Независимая фирма «Класс», 2007. — 336 с.

ISBN 978-5-86375-143-6

Петербургец Самуил Лурье — один из лучших российских эссеистов, автор книг «Литератор Писарев», «Толкование судьбы», «Разговоры в пользу мертвых», «Успехи ясновидения» и других. Его новая книга — это хорошо выполненная мозаика из нескольких избранных произведений и отдельных литературных тем, панорама, собранная из разноцветных фрагментов литературы разных эпох.

Взгляд Лурье на литературу специфичен, это видение, скорее, не исследователя-литературоведа, а критика, современника, подвластного влиянию поэтики постмодернизма. Взгляд беззастенчивый, восхищенный, но и не признающий личностных авторитетов классиков.

Фото автора Андрея Андреева

Главный редактор и издатель серии *Л.М. Кроль*

Научный консультант серии *Е.Л. Михайлова*

ISBN 978-5-86375-143-6

© 2007 С.А. Лурье

© 2007 Независимая фирма «Класс», издание

© 2007 Н.Г. Зотова, дизайн обложки

Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству «Независимая фирма «Класс». Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

Отдельные экземпляры книг серии можно приобрести в магазинах:

Москва: Дом книги «Арбат», торговые дома «Библио-Глобус» и «Молодая гвардия», магазин «Медицинская книга». **Санкт-Петербург:** Дом книги.

Ясновидение как психология понимания

Это одна из лучших книг, которые мне случилось читать. Если вспомнить глупый вопрос, то я бы ее взял на необитаемый остров, одной из трех возможных. На консьмеристском пяточке, на том, где продают книги, я неистовый потребитель. По мне — принести из магазина десятка полтора за одну охоту каждые две недели, оттягивая поход как удовольствие.

Книги ведь не обязательно «просто читать». Можно смаковать, двигаясь по странице, как будто сослепу. Можно использовать как экран, на котором что-то мелькает, отделяет от сложного дня, не вдумываясь, скользя и как бы находясь где-то, не в книге, ни в миру. Она всего лишь подставка для этого, но как удобно.

На нее можно поглядывать на полке, как на указатель того, куда хотел двинуться, дающий перспективу, надежду на рост, всякое «мягкое надо» в его компромиссе с «хочу». То есть тогда в ней закодирован кусок желательного будущего, чуть ли не лучшее Я. Есть книги для перечитывания, которые пронизывают жизнь одним из незаметных и прочных стержней. Они «делают жизнь» как леска ожерелье. Это жемчужины думают, что они – это все. Но нить знает другое.

Есть книги справочники, «про то, что носят», о чем надо говорить или кивать, они рабочие лошадки. На них приходится опираться. Неважно это кулинарные рецепты, хрестоматия по забытому предмету или модный роман о гламуре. Этнография быта, канва повседневности, шпаргалка о том «кто я еще».

Еще можно вспомнить о книгах-сериях, которые составляют привычку, устойчивейшую из наркоманий и одну из самых коварных. За такими можно прозевать жизнь, провалившись однажды за эту волшебную дверцу. Детективы или кроссворды, женские романы или

фентази, коварство спрятанное за безобидностью, полчаса отсрочки, за которым следует тысяча и одна ночь.

Книга Самуила Лурье отвечает всем названным признакам и не только им. Она не универсальна, просто в ней сжато такое количество разной информации, тропинок, по которым можно гулять или идти быстрым шагом, в ней столько перебрано стилей и подходов, что мне она скорее напоминает большой и прекрасно организованный парк.

В котором нет пошлых или модных аттракционов, а содержатся выдержанные в духе разных эпох и вкусов образцы. Каждый их которых заставляет забыть, что он лишь часть своей Атлантиды. Так он — это целый мир, самостоятельный и раскрывающийся на встречу, при желании.

Особенно ценны, мне кажется, книги-встречи. Такая книга — это твоя свернутая, совсем другая жизнь, истинный родственник, нечто параллельное твоему привычному. Тебя привязывает к ней множество тонких нитей. И, одновременно с привязкой, отпускает на более длинный поводок. Ты ценишь свободу и можешь возвратиться к ней, когда захочешь.

Она состоит из плотной субстанции, ты читаешь ее с детским чувством холодка и открытия. Мир опять большой, но сейчас он распахнут и тебя ждут приключения и шанс на победу. Ты созрел для карты острова сокровищ, которая открывается со страниц. Эта книга, конечно же, написана для тебя.

И когда бы ты не открыл ее, уходят годы, опыт, опасения и цинизм, ты остаешься перед чистыми страницами, которые открываются картинками, где нет ничего лишнего. Эта книга проста и даже банальна как теплая ванна, как раскрывающийся перед тобой горизонт, всего лишь напоминающий о глубоком дыхании.

То, о чем я сейчас пишу, не романтика, скорее физиология. Потому что в такой книге нет ничего лишнего для тебя. Она прошла эволюцию, она организм, творение и делает сейчас тебя равным себе. Вы с ней как два рыцаря и чтение ее, это момент посвящения. Да, дорогой читатель, я всего лишь напоминаю тебе о том, как это бывает. Нужно только не спугнуть мгновение, не отказаться от инъекции детства, не спрашивать себя, «где же я настоящий».

Книга Самуила Лурье называлась «Успехи ясновидения» и название тончайше соответствовало содержанию. Сейчас я хочу дополнить свою первую строчку предисловия тем, что книга кажется мне одной из лучших по психологии. И я постараюсь объяснить.

Мне очевидно, что лучшие и полезнейшие сведения и умения психологии являют собой нечто точечное и частное, уникальное и дей-

ствующее в определенных случаях как знание — окно, как действие — волшебная палочка, как катализатор, малая частица которого пускает процесс превращения прочей материи.

Не обобщенно, не «на все случаи жизни» и не как лакмусовая бумажка, тест, дающий простой ответ. Опыт психологии, знания работают иначе. Человек Х похож на Н, не виданного много лет, и вместе, как бы накладываясь друг на друга, они разрешают вспомнить портрет и текст известного писателя, откуда-то вдруг приходит виденная картина, а еще попадаетея шутка про породу собак.

И из этого-то сора растет вспышка понимания, заброс в область разгадки и решения, путеводная нота, как говорил один умный писатель. Из кажущегося сора наблюдений, из частичек хорошо упакованной памяти, казалось бы забытых в глубоких архивах, вырастает инструментальное нечто, только и позволяющее двигаться по таинственной тропе, имя которой человек, его проблемы и трансформации.

И тогда вдруг ты сам обретаешь неожиданную пластичность. Ты не знаешь заранее, но готов узнать в процессе, не боясь ошибиться. Нечто таинственное ведет тебя, и ты сверяешься с ним, чтобы не произвести шума, не спугнуть вдохновения. Ты слышишь и веришь.

Сейчас тебе не нужны авторитеты, стандарты, готовые решения. Им придет черед, когда ты получишь важную часть знания как бы ниоткуда, вычитаешь ее из сложившегося узора, основу которого составляет тот самый сор. Поверишь наитию и рифмам, которые упруго зазвучат тебе в ответ на веру в это чудо. Оно случается, но его так легко спугнуть.

Неоценимую помощь в этом, роль университета, о котором можно мечтать, особой личной библиотеки, играют люди увиденные пристально, описанные другими видящими, с особым даром сопричастности, как бы изнутри, со всем риском субъективности внутренней и тщательнейшим подбором деталей внешних и не случайных.

Такое бывает в лучших биографиях, стихах, художественных книгах. И это может быть тот слой культуры, который дается не столько знанием, а вчувствованием и риском постижения или отторгнутости. В такого рода текстах, как текстах по совместительству психологических, содержится множество ключей, инструментов для понимания и действия.

Доступность их для читателя вопрос другой. Так как информацию нужно вынуть. А точнее сказать вкусить. Книга Самуила Лурье редчайшая в том смысле, что блестящая литературная форма одновре-

менно свертывает информацию о характерах, людях и положениях, делает ее удивительно компактной и вместе с тем поэтичной, а также позволяет видеть людей других эпох и призваний живыми и близкими.

Это опыт ясновидения и постижения. Как будто нас берут за руки, ведут сквозь множество фактов и чуждостей, мы сами видим основное, при чем не только в бытовых подробностях, а в сущностном и важном.

Потом, вокруг этого стержня, возникают детали и признаки эпохи, как игрушки и фонарики на елке. Уместные и фантастичные, понятные и далекие, похожие на то, что вокруг и вызывающие благоговение своей отстраненностью и особым освещением.

Для меня тексты Лурье магичны в лучшем смысле этого слова. Открывают больше, чем кажется возможным, дают узнавание, освещают бывшее до того полужнание, терпеливо подводят к маленьким открытиям. А что еще вы хотели бы от настоящей книги по психологии? Неужто скуки, обобщающих формул, солидного научного диалога, прописных истин под маской эксперимента? Этого много. Но мы ведем речь о совсем другой книге.

О книге, где сделана дистилляция, подлинное очищение. О книге алхимика, естествоиспытателя того, что касается человека во всем множестве его происшествий. Как ни банально, но Гетевский Фауст кажется ближайшей аналогией. Поразительное ощущение исходит от новелл этой книги. Люди живые, только что сошли с тротуаров своей эпохи. И Лурье точно знает: когда, где и какие были тротуары.

Но совершенно не грузит нас этим. Не много я встречал людей которых мне так хотелось бы спросить еще об описанных людях, робко внести свои грани понимания. Потому что очевидно, что за лаконизмом и отобранностью деталей стоит огромная энциклопедия автора.

У нас в руках редкий образец нескучного чтения. На одних гранях отражается точное знание, на других видение, позволяющее заглядывать еще и еще и легко получать ответы. Про этого и похожего на него человека. Есть грани которые предназначены для чистого удовольствия. Вот вам жизнь, полистайте ее, мотивы складываются в неслучайный узор и «просто жизнь» оказывается единым ковром с замыслом.

Не божественным, но кто знает? Замыслом судьбы, с ее эпохой, родителями, причудами, местностью. Из множества источник черпает Лурье свою книжку. Редкий родник.

Андерсен, Тютчев, Хайям или Купер, выглядят людьми со своими привычками и судьбой, текст их жизни и произведений, знаки эпохи

и признаки характера, с предельной ясностью и лаконичностью проходят перед нами. Эту книгу можно было бы издать как энциклопедию характеров, дав их россыпью, в полноте и выразительности, не стремясь к классификации и оглавлению.

Поразительно, как много можно узнать из отдельных глав. Как будто для каждого персонажа создаются магические зеркала, разглядывается у система мотивов, накладки времени и человека, жизни и судьбы. Но самое удивительное, кажется что чистое ясновидение не нуждается в специальных инструментах.

Всего-то и нужно для рецепта: долгое вглядывание, множество деталей в поле зрения, легкость в саду культуры, непредвзятость, умение выразить нечто предельно лаконично, готовность видеть близкое в далеком и далекое в близком, страсть сопричастности и дистанция шахматной доски, желание гулять вместе, полагаться на Бога, себя, и не плошать что бы ни случилось.

Хорошая новость заключается в том, что вы многое возьмете из этой книги как психолог, чем бы в жизни не занимались. Это случится само собой, ничего не навязывая автор поделится с Вами своим умением жить и видеть. Разных людей и по разному. Ясновидение не заразно, но передаваемо, вернее его можно взять, если захотеть видеть, и приобщиться.

Леонид Кроль

БИНОМ ХАЙЯМА

Не знаю, как вы, — а я, собираясь на необитаемый остров, непременно прихватил бы с собою Омара Хайяма. Это практично: на весах любой таможни 66 четверостиший стрелку не потревожат, — и вот вам сопутствует лучший в мире собутыльник.

Положим, воображаемый. Но ведь и на выпивку рассчитывать не приходится, это во-первых. А во-вторых — для чего же и алкоголь, если не для той единственной минуты — и скоротечной! — когда очнувшаяся душа взмахнет рукой и скажет необыкновенным (не исключено, что настоящим своим) голосом, звонким от одиночества, что-нибудь такое:

Что жизни караван! Он прочь уходит.
Нам счастья удержать невмочь — уходит.
О нас ты не печалься, виночерпий,
Скорей наполни чашу — ночь уходит.

Собственно говоря, человек для того и пьет вот уже сколько тысячелетий, чтобы иногда почувствовать себя Омаром Хайямом. То есть дать Здравому Смыслу шанс поговорить начистоту с Начальником Бытия. Дескать, так и так — допустим, жалоб нет, питанием и прогулками доволен, книги тоже попадаются интересные, — допустим, а все-таки: зачем я тут? и на фига мне соблюдать эти ваши правила распорядка и ходить на общие, и наблюдать мерзкие повадки блатных, и трепетать перед вертухаями, если мне светит неизбежная вышка, причем неизвестно за что? Да, я всего лишь особь, организм, тварь, а мироздание величаво и прекрасно, и я в

нем ничего не значу и знаю это, и только этим, с позволения сказать, знанием и отличаюсь от какой-нибудь сосны или там пальмы. У вас, наверное, какие-нибудь замечательные замыслы и цели. Мне догадываться о них не положено. Ни жалости, ни снисхождения тоже не ждатель. Я — говорящая пылинка, которая очень скоро замолчит навсегда. Что ж, превосходно. Я не нужен — значит, ничего не должен.

Нежным женским лицом и зеленой травой
Буду я наслаждаться, покуда живой.
Пил вино, пью вино и, наверное, буду
Пить вино до минуты своей роковой!

Меняю ваше мироздание на дозу этилового спирта, в данных исторических условиях — на тыквенную бутылку красной финиковой бормотухи. Потому что в мироздании нет свободы, а в бормотухе она есть. Ненастоящая? Конечно: тут все ненастоящее, реальна только смерть.

Да пребудет вино неразлучно с тобой!
Пей с любой подругой из чаши любой
Виноградную кровь, ибо в черную глину
Превращает людей небосвод голубой.

А я у меня один. И у вас другого меня не будет. И с моей точки зрения — с точки зрения пальмы или пылинки, зачем-то наделенной здравым смыслом, — все это жестоко и неумно. И обидно. Фантазия пусть подслащивает эту обиду литературой, философией, религией. А Здравый Смысл предпочитает асимметричный ответ, а именно — финиковую.

В жизни трезвым я не был, и к Богу на суд
В Судный день меня пьяного принесут!
До зари я лобзаю любезную чашу,
Обнимаю за шею любезный сосуд.

Вообще-то никто не видел Хайяма пьяным. Он, может быть, и не прикасался к спиртному, и все свои застолья сочинил — как Бунин приключения в темных аллеях.

Кстати, Хайям тоже толкует о приключениях, но как бы на уровне теоретических рекомендаций:

С той, чей стан — кипарис, а уста — словно лал,
В сад любви удались и наполни бокал,
Пока рок неминуемый, волк ненасытный,
Эту плоть, как рубашку, с тебя не сорвал!

Тотчас виден геометр, мастер уравнений: задери девушке рубашку, пока с тебя не сорвали тело. И астроном, автор календаря — лучшего, говорят, в мире (а впрочем, ненужного): тут секунда в космической цене.

Брось молиться, неси нам вина, богомол,
Разобьем свою добрую славу об пол.
Все равно ты судьбу за подол не ухватишь —
Ухвати хоть красавицу за подол!

И видно также, что не красавицы у него на уме.

Живи он столетием раньше да попади ко двору Владимира Красного Солнышка, — была бы сейчас Российская Федерация крупнейшим мусульманским государством. Ведь только и не понравился в исламе нашему равноапостольному — безусловный запрет на вино. Так он и отрезал в 986 году исламским богословам: ваша религия для нас неприемлема, поскольку веселие Руси — алкоголизм. Омар Хайям полюбился бы великому князю. Вдвоем они сочинили бы, пожалуй, славную веру, и она завоевала бы весь мир.

Не у тех, кто во прах государства поверг, —
Лишь у пьяных душа устремляется вверх!
Надо пить: в понедельник, во вторник, в субботу,
В воскресенье, в пятницу, в среду, в четверг.

Но Хайям служил султану — и непонятно, как и почему жил довольно долго и умер своей смертью. Какие бы ни были математические заслуги — критиковать в самиздате самое передовое, официальное и притом единственно верное учение — за это ни в одиннадцатом веке, ни в двенадцатом по головке не гладили.

Остается предположить, что империя сельджукидов была отчасти правовое государство: не пойман — не автор; тексты ходят по рукам, мало ли кому припишет их неизвестный составитель рукописного сборника...

И, наверное, Хайям был гениальный конспиратор. Ни единого автографа не оставил. И прижизненных сборников тоже не нашлось ни одного.

Не горюй, что забудется имя твое.
Пусть тебя утешает хмельное питье.
До того, как суставы твои распадутся —
Утешайся с любимой, лаская ее.

Это жутко осложнило жизнь филологам: в дошедших до нас диванах или как они там, эти сборники, зовутся, — под именем Хайяма живут чуть ли не полторы тысячи рубаи (название жанра; во множественном числе — рубайат). Стихи подражателей, стихи пародистов, любые стихи о выпивке — все у потомков сходило за Хайяма.

Это как если через триста-четырееста лет все, что написано по-русски четырехстопным ямбом, будет считаться наследием Пушкина.

Возможно, персидских читателей такое положение устраивало, — но в 1859 году один британец издал поэму «Рубайат Омара Хайяма» — издал на свои деньги, анонимно, — а звали его мистер Эдвард Фитцджеральд, — и этот вольный перевод сделался, говорят, самым популярным поэтическим произведением, когда-либо написанным на английском языке.

Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла,
Словно пьяная ночь, беспросветно прошла.
Жизнь, мгновенье которой равно мирозданию,
Как меж пальцев песок, незаметно прошла!

С этих пор человечество взялось за Хайяма всерьез, — и к нашим дням осталось только 66, как уже сказано, четверостиший, насчет которых никто не сомневается. Еще штук четыреста — очень возможно, что написаны действительно Омаром Хайямом, родившимся около 1048 года в Нишапуре, там же умершим и похоро-

ненным около 1123 года. Остальную тысячу рубаи — Бог знает, кто сочинил.

В самом лучшем русском издании: Омар Хайям. Рубаи. «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1986 — тысяча триста тридцать три четверостишия.

Мы уйдем без следа — ни имен, ни примет.
Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас и раньше тут не было — после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.

А в золотые свои годы так называемая советская власть издавала Хайяма понемножку. Он и ей умудрился насолить:

Чем за общее счастье без толку страдать —
Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.
Лучше друга к себе привязать добротой,
Чем от пут человечество освобождать.

Ах, какое это было чтение в эпоху Застоя! Тут еще необходимо сказать про Германа Плисецкого. Дело в том, что Хайяма у нас переводили разные замечательные мастера — ярче других И. Тхоржевский, точнее — О. Румер, душевней — Г. Семенов, — но Плисецкий дал ему вечную жизнь в русском языке. Он передал в рубаи Хайяма презрение и отчаяние советского интеллигента, как бы начертив маршрут Исфахан—Петушки, далее — Нигде.

Не осталось мужей, коих мог уважать.
Лишь вино продолжает меня ублажать.
Не отдергивай руку от ручки кувшинной,
Если в старости некому руку пожать.

Тысячи лет как не бывало. Старик Палаточник, или Палаткин — так переводится имя Хайям, — оказался одним из нас. Как если бы он бежал из Советского Союза и совершил вынужденную посадку в средневековой Персии.

Он открыл бином Ньютона задолго до Ньютона — и раньше, чем следовало. Когда повсюду еще воспевались героические походы рыжих муравьев на муравьев черных (если половец не сдается —

его уничтожают, а сдается — обращают в рабство; пусть это самое «Слово о полку» — подделка, но ведь правдоподобная), — Хайям уже осознал, что суетиться не сто́ит — мироздание подобно империи: управляется законом неблагоприятных для человека случайностей — необозримый концлагерь, где единственный неоспоримый факт — смертный приговор, а принадлежит лично нам лишь неопределенное время отсрочки; хорошо на это время пристроиться придурком в КВЧ (например — звездочетом к султану), — но достоин зависти, а также вправе считать себя живым, счастливым и свободным — только тот, кто выпил с утра.

Он и сам играл в такое жалкое блаженство, но больше для виду — назло Начальнику, если он есть.

А про себя строил всю жизнь уравнение судьбы, в котором человек — хоть и переменная величина, и притом бесконечно малая, но все-таки не равная нулю, — потому что если не на что надеяться, то нечего бояться.

Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце!
И бояться не надо, о сердце мое!

Вот эти четыре строчки на необитаемом острове пригодятся.
Не хотелось бы их позабыть.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВЕТ

Немного в жизни наслаждений, сравнимых с чтением исландских саг.

Лучшее в мире пиво в самый погожий, в совершенно свободный день — не дает, я думаю, такого яркого спокойствия, такой прочной иллюзии всепонимания и самоуважения, как эти остро сюжетные трактаты о человеческом достоинстве.

К пиву (меду? браге?) их и подавали в том конце только что дожитого тысячелетия, на том краю Европы. Иной раз, вероятно, — и вместо пива: в неурожайный год или на хуторе незажиточном. Посредине зимы деревянная хижина, в земляном полу — костер, вдоль стен — скамьи, на скамьях ворочаются в странном тряпье существа, в которых ни за что не признали бы мы самих себя, не придумай они спастись от тревоги северных сумерек — мыльными операми для незрячих. Уходит дым сквозь отверстие в кровле, из тел уходит тепло, уходит время в сагу, расщепляясь на судьбы, и непонятого тембра голос (так и не известно — чей), подобный отдаленному прибою, вовлекает нас в бесконечную игру поколений — с преступлениями.

Пересказать сагу нельзя иначе как сагой. Невозможно и запомнить сагу иначе как наизусть: за двести-триста лет, пока ее, не умея перенести на пергамент, повторяли вслух, в ней остались только необходимые слова. Переходя из памяти в память и вращаясь в разных умах, проза эта приобрела структуру идеальную: фабула идентична сюжету, — сказал бы теоретик. Поэтому и в переводе (особенно когда он по-петербургски тщательный) исландская сага сохраняет завлекающую силу.

Поддается сага, можно предположить, и шахматной нотации: вот выступает с исходной позиции пешка — вот ее бьют, и совершается размен — сперва рабов, потом наемных слуг, а там и свободных людей — следует серия обоюдных жертв — подключаются все более тяжелые фигуры — и уничтожают одна другую в разных углах доски, — но тот, кому суждено проиграть, все чаще ошибается — и, наконец, короля обреченных загоняют на пустынный какой-нибудь остров и объявляют ему мат:

«И когда они решили, что он умер, Крючок схватил меч Греттира и сказал, что тот довольно носил его. Но Греттир стиснул пальцы на рукояти и не выпускал меча. Многие к нему подходили и не могли вырвать меча. В конце концов взяли за меч восьмеро, но все равно ничего не могли поделать. Тогда Крючок сказал:

— Почему это мы должны щадить преступника? Кладите ему руку на плаху.

Они так и сделали и отрубили ему руку в запястье. Тогда пальцы разжались и выпустили рукоять».

Сага не сострадает побежденному, и вообще никому, но — странное дело! — всегда передает ход партии как историю поражения и особенно внимательна к таким комбинациям, которые могли бы привести к ничьей, да сорвались.

А срываются эти комбинации оттого, что в саге действуют:

закон сохранения энергии зла,

закон противления злу насилеи

и третий, главный — закон неудачи, он направляет стрелу времени, тогда как первые два только раскачивают маятник.

Формально сага разделяется на главы. На самом деле она состоит из убийств и соблюдает зеркальную симметрию: они, убийства, скованы попарно, и каждое вызывает к следующему, более ужасному, интерес повествования сводится к ожиданию нового неизбежного убийства — так в стихотворении предвкусывают рифму.

Убийство тут рассматривается как произведение искусства:

«Скарпхедин перепрыгнул через незамерзшую реку и покатился на ногах по льду. Лед был очень гладкий, так что он мчался как птица. Траин только собирался надеть шлем. Но Скарпхедин подошел раньше, ударил его по голове секирой, которая называлась Великанша Битвы, и разрубил ему голову до зубов, так что они упали на лед».

Это вам не рыцарский роман, знаете ли. Протокол насильственной смерти отучает от метафор, отменяет иллюзии, озаряет нашу телесную природу страшной догадкой.

«Торгильс начал тогда отсчитывать серебро. Аудгисль, сын Торрарина, проходил тогда мимо, и в то мгновение, когда Торгильс сказал “десять”, Аудгисль нанес ему удар, и всем показалось, что они услышали, как голова произнесла “одинадцать”, когда она отлетала от шеи».

Таких ударов — незабываемых — тут больше, чем во всех остальных литературных памятниках, вместе взятых. Причем вообще-то герой саги — по техническим, полагаю, причинам — обычно норовит отрубить противнику ногу, — и победитель с побежденным иногда успевают обсудить результат.

«Кольскегг рванулся к Колю, и так ударил мечом, что перерубил ему ногу в бедре. Он спросил:

— Ну как, попал я?

Коль сказал:

— Я заплатился за то, что не закрылся щитом.

И он какое-то время стоял на одной ноге и смотрел на обрубок другой. Тогда Кольскегг сказал:

— Нечего смотреть. Ноги нет, это точно.

Тут Коль упал мертвым на землю».

Да, похоже на мясокомбинат. Но, между прочим, оттого и похоже, что в этом свирепом членовредительстве очень мало, а то и вовсе нет личной злобы, а корысти — подавно. Кое-кого, конечно, и в саге умерщвляют из-за женщины или даже за деньги. Но в большинстве случаев исполнитель относится к жертве не так уж плохо и сверх того почти уверен, убивая: теперь и ему не жить. Однако нет выбора.

Ведь это сплошь дела чести. Герой злодействует, уступая, так сказать, общественному мнению. Что скажет Марья Алексеевна — Исландия — сага, — если он уклонится от мести за родного человека, хоть он там седьмая вода на киселе и к тому же субъект не симпатичный? *«Многие, пожалуй, скажут, что я не поступил как должно»*, — вот соображение, которым не пренебречь, потому что самолюбию поддакивает осторожность. Дай только повод заподозрить, что ты ничей, а стало быть — беззащитен, что за тебя не заступятся и не отомстят, — дай к тому же какой ни на есть предлог для вражды — при первой же возможности поступят, *как с человеком незначительным.*

Как, допустим, с Халльбьерном по прозвищу Дырка в Точильном Камне: он пел ночью на неизвестном языке, и двенадцатилетний мальчик, слышавший песню, наутро умер. На голову этому Халльбьерну накинули мешок — чтобы никого больше не сглазил, — и посадили в лодку, и привязали на шею камень, и утопили. *«Они утопили его и поплыли к берегу».*

Короче говоря, это проза варваров. Интеллект человеческий, но не доросший до лжи, вынужденный питаться сырой реальностью — да еще какой: битва каждого со всеми на ледяной наковальне природы под молотом случая.

Тем важней и удивительней — а попросту сказать, это необъяснимое чудо, — что читая исландские саги, чувствовать себя одним из людей — приятно и вроде как даже лестно.

Во-первых, в этом зеркале мы видны насквозь, — а ведь оно простое, как здравый смысл, — вот и кажется, что у любого из нас есть средства, чтобы понять все и высказать столь же ясно.

Во-вторых, тексты эти свидетельствуют, что внутри у нас ходят как бы полосы вечного света. Например, «Сага о людях из Лососьей Долины», «Сага о Гуннлауге, Змеином языке» документируют реальность феномена, очень похожего на самую настоящую любовь, хотя исторические обстоятельства не спешествуют и Энгельс прямо говорит: рано! Или вот еще: эволюция или цивилизация заставляет средневекового разбойника сказать другому разбойнику, набегающему с обнаженным мечом: *«Теперь, родич, ты, как я вижу, собираешься совершить подлый поступок, но я охотнее приму от тебя смерть, родич, нежели убью тебя»?*

Или даже никакому не родичу:

«— Но пусть уж лучше ты подло поступишь по отношению ко мне, чем я по отношению к тебе»...

Поразительно — и прелестней всего, — что храбрость, гордость и верность тут действуют не заносясь, не повышая голоса, рассудительно и скромно, как бы уподобляясь опрятным привычкам.

Дом Ньяля подожжен. Его сыновьям конец. Но самому Ньялю, ни его жене никто не желает смерти — тем более, что таким злодеянием откроется новый счет. И предводитель осаждающих вызывает стариков к дверям для переговоров:

«Я хочу предложить тебе, чтобы ты вышел из дома, потому что ты погибнешь в огне безвинный.»

Ньяль сказал:

— Я не выйду, потому что я человек старый и не смогу отомстить за своих сыновей, а жить с позором я не хочу.

Тогда Флоси сказал Бергторе:

— Выходи, хозяйка! Я совсем не хочу, чтобы ты погибла в огне.

Бергтора сказала:

— Молодой я была дана Ньялю, и я обещала ему, что у нас с ним будет одна судьба.

И они оба вернулись в дом. Бергтора сказала:

— Что нам теперь делать?

— Мы пойдем и ляжем в нашу постель, — сказал Ньяль.

Тогда она сказала маленькому Торду, сыну Кари:

— Тебя вынесут из дома, и ты не сгоришь.

— Но ведь ты обещала мне, бабушка, — сказал мальчик, — что мы никогда не расстанемся. Пусть так и будет. Лучше я умру с вами, чем останусь в живых.

Тогда она отнесла мальчика в постель...»

Все эти истории, в сущности, про одно и то же: как это человечно — презирать страх, как это разумно, просто, чуть ли не практично: ведь нельзя же забывать, что в жизни есть кое-что и дороже, чем жизнь.

Самые разные вещи; да хотя бы — представьте себе! — пейзаж.

Вот он, первый пейзаж в литературе Запада — странно напоминает Ван Гога — и цена соответствующая. Гуннар, сын Хамунда, сына Гуннара, и его брат Кольскегг приговорены к изгнанию. Оба должны покинуть Исландию на три года. Если останутся — родители убитого Торгейра имеют право их убить, и убьют непременно. Распорядившись имуществом, распрощавшись с домашними, братья отправляются на побережье, где ожидает их корабль.

«Вот они подъезжают к Лесной Реке. Тут конь Гуннара споткнулся, и он соскочил с коня. Взгляд его упал на склон горы и на его двор на этом склоне, и он сказал:

— Красив этот склон! Таким красивым я его еще никогда не видел: желтые поля и скошенные луга. Я вернусь домой и никуда не поеду».

И вернулся, на радость своим врагам. И погиб, разумеется. Где было суждено.

Потому что у каждого человека свое место под этим холодным солнцем.

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК СЭРА ТОМАСА

Необитаемый остров — самое подходящее место, чтобы перечитать роман, сочиненный в тюрьме. В пятый раз перечитаю, в шестой — пока не расплету, как сеть из конского волоса, этот многолюдный, многобашенный сюжет, эту необозримую сказку, называемую «Смерть Артура», — нелепую, но с восхитительными разговорами.

Сэр Томас Мэлори, заключенный рыцарь, придумывал диалоги как никто. Темница, ясное дело, располагает к раздвоению голоса, но литературный дар сэра Томаса, вдруг раскрывшийся в плачевных обстоятельствах на шестом десятке лет, был, по-видимому, не что иное, как образ мыслей. Сэр Томас оказался мастером прямой речи, потому что чувствовал обмен словами как взаимодействие воль, из которого и состоит материя жизни.

Фраза требует вдоха, замаха и падает, как удар.

Балин убил на поединке ирландского рыцаря; откуда ни возьмись какая-то девица на прекрасной лошади: падает на труп ирландца и, рыдая, пронзает себя мечом. Балин, озадаченный и расстроенный, углубляется в лес — вдруг видит: навстречу ему скачет рыцарь — судя по доспехам, его брат Балан, — а Балин как раз и странствует в поисках этого брата, — они целуются, плачут от радости, наспех обсуждают создавшееся положение и намечают дальнейший маршрут, уже совместный, — трогаются в путь, — тут на поляну въезжает галопом конный карлик и, завидев мертвые тела, начинает стенать и плакать и от горя рвать волосы на голове. Чепуха, сами видите, несусветная, уличный театр кукол.

Но вот карлик обращается к Балану и Балину:

— *Который из двух рыцарей совершил это?*

В другой книге, скорей всего, ему сказали бы: а тебе что за дело?

— *А ты почему спрашиваешь?* — сказал Балан.

Ответный ход карлика исчерпывающей простотой доставляет мне неизъяснимую отраду.

— *Потому что хочу знать,* — ответил карлик.

И только теперь, как если бы предъявлен неотразимо убедительный резон:

— *Это я,* — сказал Балин, — *зарубил рыцаря, защищая мою жизнь; ибо он преследовал меня и нагнал, и либо мне было его убить, либо ему меня. А девица закололась сама из-за своей любви, и я о том сожалею...*

Ну, и так далее; остановиться, передавая подобные речи, не так легко: герои романа изъясняются между собой на каком-то идеальном языке, словами единственно возможными, — вероятно, таков синтаксис неразведенной правды (губительный, увы, но веселящий огонь!) — как будто французскую фабулу пересказывают под английской присягой.

Впрочем, о правде — потом, а пока — всего лишь об искусстве: закройте ладонью вопрос рыцаря и ответ карлика — якобы ненужный вопрос, якобы бессмысленный ответ — видите? — что-то обрушилось; какая-то таинственная значительность происходящего как бы изникла; да и происходящее перестало происходить, превратилось в произносимое; вот я и говорю, что сэр Томас умел придавать длительности разговора — объем, подобный музыкальному.

* * *

Зато не видел пейзажа. В его книге никогда не идет дождь, никогда не падает снег; сплошь трава и тень; солнце замечают лишь когда оно мешает замахнуться; время стоит, и дамы не стареют, и настоящая ночь наступает лишь однажды, под самый конец.

Это первый и последний раз, когда раздается в романе шум моря, и разливается лунный свет, и взгляду не препятствуют деревья, — короче, только перед смертью горстка уцелевших героев попадает в пространство реальности — причем исторической, так что мало в мировой литературе страниц черней; Лев Толстой, например, на такую не решился:

«Вдруг слышат они крики на поле.

— *Пойди, сэра Лукан, — сказал король, — и узнай мне, что означает этот крик на поле.*

Сэр Лукан с ними простился, ибо был он тяжко изранен, и отправился на поле, и услышал он и увидел при лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и лихие воры и грабят и обирают благородных рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты и добрые кольца и драгоценные камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух, они того добивают, ради богатых доспехов и украшений».

Это, стало быть, народ так деятельно безмолвствует, откуда ни возьмись. А до сих пор обладатели пряжек и браслетов носились друг за другом по романной чащобе и на опушках и прогалинах истребляли друг друга без помех и без посторонних — как полумные, как во сне:

«— Сэр рыцарь, готовься к поединку, ибо тебе придется со мною сразиться, тут уж ничего не поделаешь, ведь таков уж обычай странствующих рыцарей, чтобы каждого рыцаря заставлять сражаться, хочет он того или нет».

Исключительно ради спортивного интереса: выполнить норму мастера, а глядишь — и пробиться в чемпионы.

И роман переполнен репортажами о турнирах и матчах, совершенно стереотипными: первым делом копьё разлетаются в щепу, потом сверкают мечи; трава обрызгана кровью, и все такое, и проходят час и два, пока счастливый победитель не распутает у поверженного противника завязки шлема, чтобы отрубить ему голову.

При этом обнаруживает иной раз — довольно часто — что ни за что ни про что шинковал столько времени родного брата или единственного друга: не узнал под железным намордником, — и начинаются прежалостные сцены.

Ведь в лесу эти герои все безликие — закованы в сталь — ни дать ни взять говорящие примусы в рост человека — и с одинаково глухими голосами.

Такая вот школа военно-патриотического воспитания: с утра до вечера — и не жалея лошадей и женщин. Впрочем, супруга директора, как полагается, изменяет ему с чемпионом; ревность и зависть изо всех сил тянут интригу к роковому финалу.

Все это давно выцвело бы, как лубок (ведь и Бова Королевич некогда прозывался шевалье Бюэве д'Анстон), когда бы не боевая мощь прямой речи:

«—... А что вы изволите говорить, что я долгие годы был возлюбленным госпожи моей, вашей королевы, на это я всегда готов дать ответ и доказать с оружием в руках против любого рыцаря на земле, кроме вас и сэра Гавейна, что госпожа моя королева Гвиневра — верная супруга вашему величеству и нет на свете другой дамы, которая тверже бы хранила верность своему супругу; и это я готов подтвердить с оружием в руках... И потому, мой добрый и милостивый господин, — сказал сэр Ланселот, — примите милостию назад вашу королеву, ибо она верна вам и добродетельна».

Вот какая здесь правда: головой выше бесстыдной лжи, причем это мертвая голова; скорей всего, ваша. Чей обезглавленный труп, за ноги привязав к хвосту кобылы, оттащат после поединка на помойку, — тот и лжец. А Господь Бог почему-то ведет себя, как оруженосец Ланселота.

О, как сбивают они с толку — сочинения про то, чего никогда не бывает в жизни! Они одни способны хоть что-то переменить.

* * *

«Погибоша, аки обре» — означает: исчезли бесследно. Это, как все помнят, из древнерусской летописи, из «Повести временных лет». Дескать, пробежал мимо славян в Западную Европу такой народ, необыкновенно свирепый, и жестоко обращался с местным населением, и за это Бог «потреби я, помроша вси». Строго говоря, геноцидом этих обров, то есть аваров, распорядились Карл Великий и за ним франкские короли, но истребили, году к 822, действительно, всех до единого, так что на земной поверхности осталась только материальная часть: оружие, утварь, конская сбруя.

Одна из этих трофейных вещей понравилась франкам и пригодилась необычайно. Европейский воин держался на коне, как наш Медный Всадник: вздумай он вооружиться длинным мечом, тяжелым копьем — замахнувшись, опрокинулся бы в плоскость змеи. А к аварскому седлу подвешены были на ремнях — азиатская хитрость! — тесные такие, зыбкие ступеньки — стремяна!

Они тут же вошли в употребление, переменив облик конника и ход войн. Отныне — с упором для ног — удар стал гораздо сильнее — соответственно пришлось укрепить защитный доспех, завести крупные лошадиные породы, и так далее. Короче, образовалась такая живая бронетехника — чуть не полтысячи лет ваптывала прочее человечество в грязь.

Неуязвимые посреди беззащитных, опасней тиранозавров, жадные, неумолимые насильники. Одно спасение, что эти железные чучела бесперечь убивали друг дружку.

Да вот еще в Уэльсе, в некотором княжестве Гвент — как раз где при царе Горохе, при короле Артуре стоял Круглый Стол — кельтские туземцы умели делать из ветви дикого вяза огромный лук: тетива растягивалась до уха; и оказалось, что стрела — в гусиных перьях, со стальным наконечником — пробивает насквозь кольчугу, латные штаны и седло, пригвождая рыцаря к лошади. Целиться, стало быть, приходилось из древесных кущ, из высокой листвы, прибегая к мерам камуфляжа.

В XV веке — у сэра Томаса, можно сказать, на глазах — наемные лучники — зеленые куртки — сошли на равнину, став королевской пехотой, — лошадей убивали тысячами — феодальному призыву пришел конец: вот когда и железные — кто за Алую розу, кто за Белую, а кто и без лозунгов, рядовым участником Столетней войны — в свою очередь поголовно погибоша.

Но — нет, не аки обре: литература еще при жизни этого ужасного сословия пересочинила их, рыцарей, оплетя соблазном самообмана. Под музыку льстивых сантиментов — наподобие шестерки, ублажающей главаря блатным романсом (что ни душегуб — то большое сердце), она завлекала их новой, небывалой, выдуманной добродетелью — любезностью, учтивостью, вежеством, одним словом — *courtoisie*. О смешной жалости к слабым или там сирым никто, ясное дело, не заикался; в моду, однако, входила идея, что растерзать добычу сразу же — не священный долг, что хоть иногда, хоть кое с кем — лучше по-хорошему: это по-своему тоже красиво, да и благоразумно.

Провансальские менестрели, немецкие миннезингеры больше налегали на изобретенную ими (в XII еще столетии) куртуазную любовь. Но сэр Томас Мэлори, как философ тюремный, стоял за вежливость: конечно, прежде всего потому, что среди профессиональных убийц она, наподобие спортивного регламента, прививается легче и прочней; но еще, я думаю, и по той причине, что в природе нет ничего похожего на вежливость; согласитесь: помимо привилегии на секс лицом к лицу — только дар деланной улыбки, только мимика доброй воли вроде как приподнимает человека над фауной.

«— ... Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело — прийти на помощь другому рыцарю, которому грозит опасность. Ведь

честный человек не может смотреть спокойно, как оскорбляют другого честного человека, от того же, кто бесчестен и труслив, не увидишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не знает милосердия. А хороший человек всегда поступает с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним».

Вот зачем в романе «Смерть Артура» так прекрасно внятен, так внятно прекрасен диалог: чтобы поступки не затмевали побуждений.

* * *

Сэр Ланселот Озерный — ладья белых, по-старинному — тура; неспешная такая поступь. Слабовольный сэр Тристрам Лионский — типичный офицер: ходит по диагонали. Короли и королевы сверх комплекта, и кони вместо пешек. Из черных фигур особенно активен сэр Брюс Безжалостный, рыцарь-предатель. А самый симпатичный — сэр Ламорак Уэльский, он же рыцарь Красного Щита.

«...вся земля была окровавлена, где они рубились. Но вот наконец сэр Белианс отступил назад и тихонько присел на пригорок, ибо он был совсем обескровлен и обессилел и не мог уже больше стоять на ногах.

Тут закинул сэр Ламорак свой щит за спину, подошел к нему и спрашивает:

— Ну, как дела?

— Хорошо, — отвечает сэр Белианс.

— Так-то, сэр, и все же я окажу вам милосердие в ваш трудный час.

— Ах, рыцарь, — говорит сэр Белианс сэру Ламораку, — ты просто глупец. Будь ты у меня в руках, как я сейчас в руках у тебя, я бы тебя убил. Но благородство твое и доброта столь велики, что мне ничего не остается, как только забыть все то зло, какое я на тебя держал.

И сэр Ламорак опустил перед ним на колени, отстегнул прежде его забрало, а потом свое, и они поцеловались, плача обильными слезами».

В самом деле — абсурдное существо этот сэр Ламорак. Прямо князь Мышкин. Его тема, его навязчивая идея — победить, чтобы сразу же сдаться. Не знает страха, не ищет славы, не умеет ненавидеть. Скучает, наверное, в бессмысленных этих боях.

«— Во всю мою жизнь не встречал я рыцаря, чтобы рубился столь могуче и неумолимо и не терял дыхания. И оттого, — сказал

сэр Тристрам, — сожаления было бы достойно, если бы один из нас потерпел здесь урон.

— Сэр, — отвечал сэр Ламорак, — слава вашего имени столь велика, что я готов признать за вами честь победы, и потому я согласен вам сдаться.

И он взялся за острие своего меча, чтобы вручить его сэру Тристраму.

— Нет, — сказал сэр Тристрам, — этому не бывать. Ведь я отлично знаю, что вы предлагаете мне свой меч не от страха и боязни передо мною, но по рыцарскому своему вежеству.

И с тем сэр Тристрам протянул ему свой меч и сказал так:

— Сэр Ламорак, будучи побежден вами в поединке, я сдаюсь вам как мужу доблестнейшему и благороднейшему, какого я только встречал!

— Нет, — отвечал сэр Ламорак, — я явлю вам великодушие: пусть мы оба дадим клятву отныне никогда больше не биться друг против друга».

Дерется, как Ланселот, любит, как Тристрам, великодушной всех — и всех несчастней: его снимают с доски в седьмой главе пятой книги — с каким позором!

«... а потом прошел во внутренние покои и снял с себя все доспехи. После того взошел он на ложе к королеве, и велика была ее радость, и его тоже, ибо они любили друг друга жестоко...»

А в соседней комнате, только представьте, сын этой дамы, этой королевы Оркнейской — рыцарь, между прочим, вполне половозрелый, — отсчитывает минуты, поскольку чуть ли не сам подстроил это свидание как западню.

«...сэр Гэхерис, выждав нужное время, взошел к ним и приблизился к их ложу во всеоружии, с обнаженным мечом в руке, и, вдруг схвативши свою мать за волоса, отсек ей голову... В одной рубашке выскочил сэр Ламорак, горестный рыцарь, из постели», — вот и кончена его история. Где-то за кулисами погибнет, не отомстив, — зарежут в каких-то кустах вчетвером.

Это самая середина романа. С этой минуты он клонится к упадку: приключений все меньше, привидений все больше, — вежливость все реже торжествует, голоса грустней.

Пожертвовав сэром Ламораком, белые сразу же получили проигранную позицию. То-то они приговаривают на каждом шагу — сэр Ланселот, и сэр Тристрам, и сэр Гарет: желал бы я, милостью

Божией, быть там поблизости в час, когда пал убитым этот благороднейший из рыцарей, сэр Ламорак! Явно сердятся на автора за недосмотр и предчувствуют, чем все это для них обернется.

Похоже, что и автору нехорошо, — изменившимся, коснеющим слогом он здесь же сообщает как бы в скобках, что болезнь — *«величайшее бедствие, какое может только выпасть на долю узнику. Ибо покуда узник сохраняет здоровье в своем теле, он может терпеть заточенье с помощью Божией и в надежде на благополучное вызволение, но когда недуг охватывает тело узника, тут уже может узник сказать, что счастье ему окончательно изменило, тут уже остается ему лишь плакать и стенать»*.

Ламорак — в сущности, анаграмма. Вроде как автограф с нарочитым росчерком. Гвоздем по камню: год 1469, дело дрянь, помолитесь о душе рыцаря и кавалера. Грамерси.

Д. и Т. СВОЕЮ КРОВЬЮ...

Наитончайшие умы разобьяснили, задыхаясь, почему эту книгу должно почитать главной литературной удачей человечества. Нет на свете, — утверждают единогласно шлегели и гегели, — другого романа столь увлекательной глубины. Расходятся всего лишь в одном важном пункте: понимал ли сам автор, *что* сочинил? догадывался ли, к примеру, что заглавный герой — не идиот, а идеал? или сеньор Мигель Сервантес де Сааведра не знал такой печали — ограниченный началом семнадцатого века, не умел, как потомки-романтики, оплакать в Дон Кихоте — себя, Дон Кихота — в себе, и это как раз тот, особенно счастливый для шлегелей, случай, когда текст умней своего творца?

Нам ломать голову над такими вещами, слава Богу, не приходится; в советском издании на последней странице красуется штамп: «Значение «Дон Кихота» заключается в полном и ярком отображении жизни Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох»!

Познавательная ценность

С этой точки видно далеко, причем ландшафт совершенно буколический. Везде следы довольства, кое-где — и труда, и никакая ужасная мысль не омрачает душу. Пронесаются, сбивая с ног неосторожного путника, стада овец, быков, свиней, — стало быть, животноводство на подъеме. Вращаются крылья ветряных мельниц, колеса мельниц водяных, грохочут на сукновальне гидравлические молоты, — похоже, и с техникой все в порядке. Типография

завалена работой; книги повсюду в большом ходу; две-три найдутся на первом попавшемся постоялом дворе; личная библиотека мелкопоместного дворянина включает около сотни томов; разговор о литературных новинках — обычный застольный; присовокупим сельскую художественную самодеятельность: хороводы козопасов и все такое. Культура, одним словом, процветает. Уровень материального достатка — соответственный: что-то незаметно, чтобы крестьяне жили впроголодь или работали до седьмого пота; и прямо-таки невероятно часто встречаются среди них несметные богачи. Люди других сословий тем паче не бедствуют; к тому же кое у кого есть родственники в Америке. Наконец, повсюду торжествует правосудие: каторжники, этаплируемые на галеры, и те в один голос признают, что наказаны по заслугам; араб, и тот одобряет свое изгнание; действительно, говорит, нельзя было не выдворить меня, притом с семьей и без имущества, поскольку некоторые из лиц нашей национальности лелеяли преступные замыслы; доколе, говорит, могло королевство пригревать змею на своей груди... Недобитых евреев и неискренних выкрестов, с ними колдунов и фальшивомонетчиков жгут где-то за горизонтом, а на местах общественный порядок поддерживают народные дружины — Святое Братство... Короче — данная энциклопедия испанской жизни исполнена в соцреалистическом ключе (наподобие, скажем, кинофильма «Кубанские казаки») — то-то и сделалась тотчас по выходе излюбленным чтивом слуг.

Внедренный в такие обстоятельства инопланетный полицейский робот выглядел бы уморительно даже в скафандре суперпрочном: без толку тратит энергию аккумуляторов и словарный запас. *Помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю помощь замужним, сирым и малолетним! Помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных!* (Звучит, как *точить ножи-ножницы!* или *починяю примус!* — но странным, печальным образом напоминает что-то совсем другое). Реклама потешная: помочь замужней, всем известно, средства нет! — и где же в Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох вы заметили сирого? Вот разве что этот подпасок, с которым не расплатился деревенский кулак. И неприятная история во втором томе: тоже кулацкий сынок свалил во Фландрию, дефлорировав дочь дуэньи. На всю эпопею — двое обиженных! И читателю верноподданному приятно сознавать, что в обоих случаях грамотный

юридический совет пособил бы потерпевшим, уж наверное, успешней, чем копьё юродивого.

Стеклянная голова

А он и сам не заиклен, так сказать, на униженных-оскорбленных: не диссидент, не заступник народный, тем более не Гамлет какой-нибудь — далек от предвзятых идей типа что будто бы не то строй прогнил, не то век жестокосерд, или, там, Испания — тюрьма... Боже избави! В современности, благоустроенной Филиппом III и герцогом Лермой, — лишь одно не нравится Дон Кихоту: что она норовит обойтись без него.

Впрочем, он убежден, что это с ее стороны — притворство; что на самом деле все эти чужие люди, снующие мимо по каким-то якобы своим делам, — да и лодка у берега — и мельница на пригорке — существуют не сами по себе, а только чтобы подманить его и подать условный знак, — и всякий раз что-то мешает угадать, какого ответа ждут, какого жеста или поступка, — всякий раз не на того заносишь меч — призрак приключения, кривляясь, исчезает, — и опять барахтаешься в дорожной пыли, весь избитый, плюясь зубами.

Злой волшебник из глубины пространства с ним играет, словно бумажкой на веревочке: бумажка шуршит — Дон Кихот бросается в атаку — зрителям весело.

А читателю — еще веселей, причем его забава утонченней: для него черепная коробка героя прозрачна, словно стеклянная; отчетливо видно, как ум заходит за разум, реальность втесняется в другую реальность, — и вот под давлением воли очередная ошибка превращается в очередную глупость.

Скажем, проезжает ночью по дороге катафалк — пылают факелы, попы поют. Что везут покойника — безумец понимает, а ритуала не узнает — словно впервые видит эти одеяния, впервые слышит этот речитатив, — не приветствует, короче говоря, пресвятую католическую нашу мать, а, наоборот, ошетиливается.

«Он вообразил, что похоронные дроги — это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, не долго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги...»

Смотрите, смотрите: вообразил, решился, уже действует, — но какой-то предохранитель в поврежденном мозгу еще не вышел из строя; запрашивает — в чем долг и кто враг!

«— По всем признакам вы являетесь обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость».

Но у кого же хватит терпения вежливо сносить нелепые распросы. Дон Кихоту, как обычно, хамят, — и он больше ни о чем не думает, а знай наносит удары.

Рекорд мира

Признаюсь: эта его черта — щекотливость, или раздражительность, меня трогает: тут он непредсказуемо живой — сумасшедший неподдельный, простодушный, опасный: осмелитесь выказать ему хоть малейшее пренебрежение — или, хуже того, проговориться, что он смешон, или — от чего Боже вас сохрани — намекнуть, что у него не все дома, — какая мощь вдруг является у него в руках и голосе! какой он делается быстрый! разобьет вам голову на четыре части, как тому погонщику мулов — помните, на первом постоялом дворе? — и отвернется равнодушно.

Храбрость есть храбрость — пускай назойливо неуместная, — ничего, что исключительно рукопашная: с панической ненавистью ко всему огнестрельному... Восхищаться не обязательно, — а не уважать невозможно. (И не сострадать — связанному, в клетке).

Но что в хорошем настроении он угощает собеседников замечательными речами о таких предметах, как военное искусство или, допустим, супружеское счастье, — это типичный авторский произвол. Это з\к Сервантес, обогатив свою память и так далее, почитает нужным при случае увековечить несколько общих мест — слогом, по-видимому, абсолютным.

Насколько в силах судить иностранец, и весь-то текст «Дон Кихота» — назло мадридской, севильской, вальядолидской какой-нибудь литературной элите 1600-ых — рекорд мира в прозе: вот вам! удостоверьтесь — всё, что угодно, можно сказать так, что лучше нельзя!

Но какой нос он им всем натянул! Под видом революции лубочного жанра — под видом пародии, затмившей все оригиналы, — написал про что хотел, — про самое смешное из самого главного — про то, что самое главное — оно-то и есть самое смешное.

Катехизис

«— Все, сколько вас ни есть, — ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинья Тобосская!»

В рыцарском романе вздорный этот вызов читался бы как тривиальный (наподобие хода королевской пешки e2—e4) зачин боевого столкновения, включающий заодно идейную мотивировку: чтобы не было похоже, например, на вооруженный грабеж. Вызов — он и есть вызов: сила задирает силу; не тезис, а ультиматум; но мы не в рыцарском романе, и так называемый здравый смысл чувствует себя в безопасности:

«— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.»

За подобное контрпредложение какой-нибудь сэра Ланцелот или, допустим, Амадис Галльский залил бы кровью — чужой, своей — несколько ближайших страниц. Дон Кихот слышит издевку, но едва ли не сильнее раздосадован уверткой: какой интерес в игре, правила которой знаешь один? — вынужден напомнить — вернее, разъяснить:

«— Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту...» —

— чуть ли не уговаривает; чуть не плача; спохватившись, приосанивается:

«...а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд.»

Ах, до чего умен был тот, кто заставил его проговориться в первый же рыцарский день! Поистине, сеньор Сервантес был чемпионом и пребудет королем литературной техники. *«Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и*

стать на защиту»! Это ведь не что иное, как программа Дон-Кихотовой судьбы. И отсылка к сочинениям отнюдь не куртуазным.

Вот, например, в Евангелии от Иоанна — упрек Иисуса Фоме: «ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие».

Или Павел учит в Послании к евреям: «Вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

И, конечно, в любом катехизисе какого угодно века (мне, впрочем, попал под руку православный, столетней давности, богословский словарь) изъяснено, что вера не нуждается в доказательствах и несравненно выше умозаключений:

«Познание (само по себе) не имеет характера добродетели, так как оно невольно навязывается человеку при ознакомлении его со внешним миром; вера же есть добродетель (а вместе и обязанность)...»

Именно это самое и втолковывает Дон Кихот гогочущей толпе (шестеро шелкоторговцев, семеро слуг) на проселочной дороге.

Выходит, дело не в том, кто первая в мире красавица; даже и не в том, кто первый боец; безумие Дон Кихота куда глубже таких глупостей. Он требует соучастия, причем не понарошке, а по-настоящему: как в первосортном рыцарском романе, — и пусть каждый исполнит свою роль добросовестно. Веру ему подавай. То есть даже не просто примите на веру, а именно уверуйте — явно и несомненно подразумевается переживание, подобное религиозному, — не то изрублю в капусту. Прямо какое-то крещение Руси. Не так давно — в 1492 году — Испания примерно такую же альтернативу предложила своим иудеям.

И в дальнейшем, если разобраться, Дон Кихот только и делает, что воюет за веру — точнее, обращает неверных. Кого приглашает, кого понуждает (а ему — в лучшем случае — подыгрывают) разделить с ним почитание каких-то страшно важных для него ценностей — либо истин.

Спрашивается: каких? Вот он, угрожая мечом, приказывает этим самым шелкопрядам уверовать — во что? или: в кого? Неужто в императрицу Ламанчскую, лично им придуманную не далее как позавчера, притом исключительно как аксессуар (у положительного героя наиболее завлекательных книг непременно имеются конь и дама)? Лет двенадцать назад был влюблен в крестьянскую девочку — при встрече не узнал бы в обветренной тетке, —

отчего ему до смерти (чужой, своей) хочется, чтобы как можно больше посторонних искренне — искренне! — считали, что она и теперь всех румяней и белее? или чтобы, по крайности, верили — но тоже без тени сомнения, — что в этот ослепительный факт всем сердцем верует он...

Про это и про то

Тут на плечи шлегелей вскакивают гейне-блоки, запальчиво лепеча: это любовь! Причем настоящая, то есть вечная и без пошлости, а не в сантиметровом диапазоне. Хорошему (в смысле — гениальному) мальчику странно и стыдно любить девочку (не имеет значения — какую) иначе как мечтательным проникновением в ее небесную сущность сквозь несказанно прекрасный образ. Да, взаимной такая любовь не бывает, счастливой тоже не назовешь, поскольку и эта сущность, и этот образ, открывшись внутреннему взору на миг, случайно: допустим, среди шумного бала (как если бы некто, посплюнув палец, стер мутный слой с переводной картинки), — тут же пропадают из виду. Но пусть вокруг по-прежнему дискотека, — мальчик-то изменился навсегда: теперь память о той минуте — источник его вдохновения; тщетные попытки пережить ее вновь — содержание участи; в споре с самим собой: померещилось или на самом деле случилось — решается смысл его жизни. Дон Кихот, поскольку не гений, ведет этот спор холодным оружием. Смейтесь над ним: тоже нашелся великий любовник — под пятьдесят, хронический почечник, закрашивает зелеными чернилами заплаты на чулках. Но дайте срок — именно он, побитый шут, научит европейских поэтов новому культу Прекрасной Дамы.

С каким наслаждением выписывает Генрих Гейне слова, произнесенные Дон Кихотом в роковой момент, когда копьё врага уже приставлено к картонному забралу: «— *Дульсинья Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копьё свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял*». Это ли, дескать, не бессмертный пример идеализма чувств.

Русский поэт зашел дальше — сам того не зная, приблизился к Дон Кихоту почти вплотную: в своей Прекрасной Даме сразу (правда, не без подсказки — не без влияния модных в его время

философем) опознал Душу Мира и понял свою влюбленность как мистический контакт. По-нашему сказать — как Откровение. Получилась (помимо неизбежной человеческой драмы) трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами. Например: «Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое»...

Вы, наверное, удивитесь: Дон Кихот, посвящая окружающих в свои отношения с Дульсинеей, позволяет себе кощунства не менее дерзкие. *«Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием»*, — говорит он Санчо Пансе, которому откуда же знать, что это переиначенная цитата из речи апостола Павла в афинском ареопаге: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем...»

Но духовные-то лица — в курсе. То-то они и вьются за Дон Кихотом на протяжении всего пути — бесчисленные каноники, священники, лиценциаты: экзаменуют, увещевают, обличают, противодействуют — и в конце добиваются своего. То-то и он питает к ним безотчетную ненависть и при каждом удобном случае — почему-то принимая людей в балахонах за бесов, — наускаивает с копьём, как рассказано выше.

Однако даже и Санчо, при всей своей якобы простоте, чуёт: с этой пресловутой страстью Дон Кихота к Дульсинее что-то не так. Предмет (верней, прототип, толстяку известный) чересчур превознесен и приукрашен, — это как раз понятно: любящие все страдают куриной слепотой. Но тут и загвоздка: что за любовь, которой не нужно совсем ничего, — блаженствующая в безличности, — подобная поздравительной открытке без подписи, как бы от неизвестного? И не хочешь, а призадуматься: на самом-то деле — кто адресат?

«— Подобного рода любовью должно любить Господа Бога, — такую я слышал проповедь, — сказал Санчо, — любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я лично предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь».

— *Ах ты, черт тебя возьми!* — воскликнул Дон Кихот. — *Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием»*.

Опять он выдал себя. Верней, опять — и в который уж раз — взглянул читателю прямо в глаза наш господин и учитель, Дон Мигель.

Похищение Мадонны

Крайне неосторожный. Буквально играл с огнем. По правде говоря, уму непостижимо, как это его не сожгли за последнюю сцену (тома первого, — но второй не планировался) — за последний, решительный, стало быть, бой Дон Кихота.

Разберем пару страничек, и я оставлю вас, дорогой читатель, в покое. Не злитесь: почти все трудности позади. Очень скоро вы будете приятно поражены, увидав, на каком крохотном блюдечке (с каемочкой, все как следует) уместится наше резюме.

А пока возвратимся в роман Сервантеса. Испания, конец июля, сельская местность, пикник на обочине. В сотне шагов от дороги, спустившейся тут в долину. В десятке шагов от ручья. В тени деревьев на шелковистой траве. Расстелен ковер. Конвоиры Дон Кихота — священник и цирюльник, а также примкнувший к ним каноник поглощают холодного кролика, запивая пироги вином. И Дон Кихот с ними: его выпустили из клетки под честное слово. Животные, стражники и слуги разбрелись по лугу. Солнце в зените. Часовня на ближнем холме.

Камера наезжает на пирующих, погружая нас в последний — не знаю, который по счету — диспут о рыцарских романах.

Каноник: *«— О себе могу сказать, что пока я их читаю, не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое удовольствие, но как скоро я себе представлю, что это такое, то мне ничего не стоит хватить лучший из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответствует природе вещей; ибо они создают новые секты и правила жизни...»*

Дон Кихот: *«— Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это все равно что пытаться доказать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит... О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство...»*

Комическая перебивка: в кадр, откуда ни возьмись, вбегает коза, за нею пастух. Ария пастуха: что-то вроде назидательной новеллы о непостоянстве женского пола. Легковерная Леандра

бежала с солдатом — франтом и хвастуном; солдат обобрал ее и бросил, обесчестив. Теперь она заточена в монастыре, а ее поклонники — множество молодых зажиточных односельчан, в их числе и Эухенью (так зовут нашего солиста), — не в силах забыть красоту неосмотрительной, с горя подались в козопасы. Отошли, так сказать, без возврата в поля. Развязка этой трагедии «еще неизвестна, но, по всей вероятности, будет печальной».

Слушатели растроганы. Аплодируют. Утешают беднягу. Выделяется баритон Дон Кихота. Мол, будь моя воля, увез бы я Леандру из монастыря *«и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с нею по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, законы рыцарства, воспрещающие чинить девицам какие бы то ни было обиды»*. Пауза. Козопас разглядывает новоявленного друга. Потом спрашивает у окружающих: кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит? *«— Кто же еще, как не достославный Дон Кихот Ламанчский»*, — с невозмутимым лицом отвечает цирюльник, — *«искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле...»*

Козопас дает понять, что на досуге читывал и он романы про шевальеров эррантов, — *«но только мне думается, что или ваша милость шутить изволит, или у этого господина в голове пусто»*.

Реакция любезного, благовоспитанного, учливого, кроткого, терпеливого, покорного шевальера, как всегда, безупречна:

«— Ты изрядный негодяй, — сказал на это Дон Кихот, — и это ты пустоголовый и безмозглый болван, а у меня голова набита так, как она никогда не была набита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, которая произвела тебя на свет».

Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и, в бешенстве швырнув его прямо в лицо пастуху, разбил ему до крови нос...»

Потасовка. Зрители подпрыгивают от восторга и, хохоча, науськивают дерущихся.

Извините, я увлекся. Никак не доберусь до главного. Но каков темп событий!

И вот — внимание! — в самый разгар безобразия раздается звук трубы, *«столь унылый, что все невольно повернули головы»*.

Средний план. С косогора спускается, направляясь к часовне, процессия в стиле не то Бергмана, не то Феллини. Люди в белых балахонах, завывая, хлещут себя бичами по плечам. Над толпой

плывут носилки, на носилках стоит окутанная траурным покрывалом женская фигура. Латынь песнопений, шаги, стенания и прочие шумы.

Крупный план. Дон Кихот устремляется к Росинанту, надевает на него уздечку, отбирает у Санчо меч, вскакивает в седло, бьет пятками коню под бока.

Средний план: переполох среди спутников Дон Кихота.

Крупный план. Всадник мчится. Санчо в спину ему вопит:

«— Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и научают идти против нашей католической веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на подставке, это священный образ Пренепорочной Девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете...»

И, наконец, самая последняя речь Дон Кихота к толпе:

«— Нимало не медля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы какое-то глубокое нанесли ей оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодеяния, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной свободы».

Общий хохот, само собой. *«Все пришли к заключению, что это сумасшедший, и покатались со смеху, каковой смех только подлил масла в огонь Дон-Кихотова гнева»...* (Дальнейшее не занято: Дон Кихот — мечом, Дон Кихота — палкой, он падает с коня — через шесть дней в бессознательном состоянии прибывает в родное село на повозке, влекомой волами, — прочие сведения гадательны, зато сохранилось несколько эпитафий.)

Ключи

Не знаю, на что рассчитывал автор «Дон Кихота», обдумывая эту попытку вызволения Мадонны, да еще приберегая для финала. Должно быть, подбадривал себя излюбленной латинской поговоркой: *stultorum infinitus est numerus* — количество глупцов неисчислимо. Авось не вникнут. А кто инстинктом дойдет — пусть соизволит изложить святейшей инквизиции внятно: чем, собственно, должен встревожить доброго католика такой эпизод, в котором осмеиваемое лицо скатывается до святотатства, тем самым полностью разоблачая свое безумие и социальную непригодность?

Внятно — вряд ли кто сумеет: закон перехода католичества — в качество ума. Риск, положим, остается, зато лет через триста — самое большее четыреста — понимающий человек получит удовольствие.

В самом деле, мы-то с вами умеем оценить эффект: над безумным потешаются безумные!

Причем с Дон Кихота взятки гладки, у него диагноз: позабыл код окружающей реальности, пытается воспользоваться ключом от совсем другой — не тут-то было. Принимает условности архаичного, примитивного жанра как законы истории либо природы или, во всяком случае, как руководство к действию, вот и не может взять в толк: существа в странных одеяниях, бормоча тарбарщину и зачем-то терзая себя до крови, тащат куда-то неподвижную женщину в трауре, — что это, если не похищение, причем с применением колдовства? Как же не воспрепятствовать? Вперед, Росинант!

А все остальные, видите ли, нормальны и благонадежны; происходящее толкуют адекватно: рутинное, но полезное мероприятие, направленное на повышение урожайности путем преодоления засухи. Кто же не знает: чтобы вызвать атмосферные осадки (говоря, как все — «дабы Господь отверз двери милосердия своего и послал дождь»), единственно верное средство — толпой выволочь из церкви на солнцепек статую Его Матери, да и доставить в другую церковь, по пути коллективно истязая свой кожный покров.

Такой, значит, у этих людей — один на всех — ключ к реальности. По-другому вскрывает невидимую взаимосвязь фактов. В данное время и в данной стране употребляется как универсальный. Однако не подлежит сомнению, что в глазах М. С. де Сааведры процессия бичующихся паломников — стадо Дон Кихотов, столь же нелепых, как и заглавный герой.

Как же так? Эти — верующие, а тот — сумасшедший... Не впадаем ли мы в научный, прости Господи, атеизм?

Я — нет, за М. С. не отвечу, а что касается Дон Кихота — он верует беззаветней всех, но в текст, для всех прочих не священный (любая вера есть вера в какой-то текст). И пребывает в нем, тщетно порываясь включить в него другой — так называемую действительность. Страдает цельностью сознания. Собственной жизнью отменяет литературу — копьём пишет лучший в мире роман. Про Дульсинею, разумеется.

Между прочим: современная фантастика произошла от рыцарского романа, унаследовав милитаризм, демонские чудеса и ревнивую неприязнь к религиозной вере. Она и погибнет, вероятно, такой же смертью: от гениальной пародии. Но это случится не прежде, чем фантастика выдумает читателя, способного погибнуть ради любви к ней.

ПРЕДМЕТ ЗАВИСТИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Нам исключительно жалко Сервантеса. И Дефо тоже бедняга. Воображаем его бешенство, когда в него плевали. Ой, я бы не знаю что сделал!

Зощенко

Все несчастья Робинзона Крузо пошли, как мы знаем, оттого, что он пренебрег наставлениями папеньки.

Лучший в мире удел, — внушал отец восемнадцатилетнему Робинзону, — золотая середина, *«то есть то, что можно назвать высшей ступенью скромного существования»*.

Действительно, почему бы сыну зажиточного торговца не сделаться, скажем, юристом? Средств на образование хватит, только учись, а профессия почтенная, и благополучие гарантировано, если, конечно, знать свой шесток. *«Одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие — ради славы»*; но подобные цели для рядового честного горожанина — *«или недоступны, или недостойны»*...

Так увещевал сумасбродного сына Крузо-старший. И автор этого романа, человек тоже пожилой, не преминул добавить к столь веским соображениям настоящий гимн в честь умеренности и аккуратности. Какая тоска слышна в этом красноречии!

«Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают телу сна, а душу — покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнем честолюбия...»

Чей угрюмый облик мелькнул между строк? Чьей это участью пугает Робинзона отец? Но зато до чего же чудесно живет тому, кто довольствуется скромным, но верным доходом: *«Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия, не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днем постигая это все яснее и глубже».*

Звучит так заманчиво. Отчего же Робинзон не послушался и сбежал из дому? Почему, полумертвый от страха и морской болезни, он не вернулся, едва закончилось его первое, такое неудачное плавание? И потом, через семь лет, уже после алжирского плена, даже не подумал о возвращении на родину. Ну, а что препятствовало ему осесть в Бразилии, мирно богатея, почему он и там затосковал? Какая, спрашивается, была необходимость бросать налаженное хозяйство, чтобы возглавить разбойничью экспедицию к берегам Гвинеи, тайную охоту на негров?

«Все оттого, что меня одолевало жгучее желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства», — сокрушенно отвечает Робинзон.

«Все мои неудачи вызывались исключительно моей страстью к скитаниям», — роняет он страницей раньше.

А родителям что-то такое бормотал о любви к морю.

И превыше всех этих мотивов, гораздо громче и чаще повторяется один: *«Несомненно, что только моя злосчастная судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа...»*

Так и в любом романе Дефо: человек рыскает по свету наудачу, словно пиратский корабль, то нападаая, то удирая, и, даже захватив богатую добычу, не спешит пристать к берегу.

Развратная ханжа, подвизавшаяся в гостиных полусвета под именем Роксаны; благоразумная потаскушка по прозвищу Молль Флендерс; богобоязненный жулик Джек по кличке Полковник, даже пират без страха и совести Боб Сингльтон — все они простодушно оправдывают свои зловещие проделки притяжением золота, мечтой разбогатеть. Дайте только, дескать, округлить капитал — и все, конец похождениям, грабежам и плутням, и на покое мы заплачем об утраченной чистоте. Но стоит кому-нибудь из них случайно приблизиться к цели, как он сворачивает с курса, погнавшись за первым же призраком. Видно, дело не в деньгах, не только в них, а вот позвольте-ка, джентльмены, вытянуть еще один биле-

тец на счастье, самый последний (Дефо, между прочим, одно время служил устройтелем лотереи)! Герои Дефо — игроки. Робинзон — самый симпатичный из них, по крайней мере в той части романа, которую мы все читали. Безбедное, безвестное прозябание (папашин идеал) страшит его сильнее, чем рабство в плену. Он сам не знает, чего хочет, и жажду действия, кипящую в нем, принимает за страсть к наживе.

И вот такого человека подхватывает огромная волна и бросает на необитаемый остров в той части Атлантики, куда не заходят торговые суда! Какой урок судьбы! Каков авторский замысел!

Разбогатеть как можно скорей — вот цель, ради которой рисковал и трудился молодой Даниэль Фо, галантерейщик из Сити, сын мясника. Направо и налево занимая деньги, он вкладывал их в различные предприятия: торговал вином, табаком, трикотажем, выделывал черепицу, разводил мускусных кошек, спекулировал на бирже и снаряжал корабли за океан. Заключал сомнительные сделки и пускался в аферы, не брезгуя ни одним из способов, какими наживались другие лондонские купцы в конце семнадцатого века. Пустил в оборот и отцовское наследство, и солидное приданое, полученное за некоей Мэри Тафли, дочерью состоятельного вино торговца. И шансы на успех были неплохие, но Фо не мог сосредоточить все силы ума на финансовых операциях. Ему казалось скучно годами играть одну и ту же роль, да еще такую незначительную. Он увлекся политикой — не из честолюбия или там тщеславия (хотя вообще-то сын мясника любил наряжаться в дворянский камзол с золочеными пуговицами, прицепить шпагу и подъехать к бирже верхом на породистой лошади), — а потому что он много читал и бывал по делам за границей и успел обдумать множество идей насчет того, как бы навести порядок на неблагоустроенном острове, которому еще только предстояло при его деятельном участии сделаться Великобританией. Пока что страна звалась Англией, ее раздирала свара религиозных сект и политических партий, национальная и сословная вражда, и, как на дрожжах, поднималось богатство богатых, но бедность бедных росла еще быстрее.

Даниэль Фо знал, как все изменить, как устроить к лучшему финансы, просвещение, здравоохранение, промышленность. Для этого надо было только, чтобы его, Даниэля Фо, назначили министром или, на худой конец, лорд-мэром Лондона. Король-папист

ни за что не сделал бы этого: все Фо были пуритане, отец даже прочил Даниэля в проповедники. Следовало возвести на престол протестанта. И молодой (тридцати не было) купец ввязался сперва в один переворот (бесславный, еле удалось спастись), затем в другой (успешный, «достославный»), и затесался-таки в окружение нового короля, Вильгельма Третьего, и заинтересовал его своими проектами...

А корабли тонули, кошки дохли, вино портилось, но что хуже всего — кредиторы не хотели ждать, пока расширится производство черепицы. И в один печальный день 1692 года конфидендент короля оказался перед выбором — заплатить долги (семнадцать тысяч фунтов!) или отправиться в тюрьму. Он предпочел скрыться из столицы и, пока влиятельные, «очень влиятельные» друзья урезонивали кредиторов, написал, живя на нелегальном положении, свою первую книгу — «О проектах». Она теперь забыта, хотя другого автора прославил бы: чуть ли не все идеи, высказанные в ней, осуществлены: подоходный налог, пенсионное обеспечение, система страхования, сберегательные кассы, женское образование — словом, все, кроме разве налога на авторов (пять фунтов с книжки, два шиллинга с брошюры) в пользу умалишенных.

«Это сочинение, — говорил Бенджамин Франклин, — полное светлых мыслей и новых справедливых взглядов, сильно повлияло на мой ум; вся моя система философии и морали изменилась. Главные события моей жизни и участие, которое я принял в революции моей страны, были в очень значительной степени результатами этого чтения».

А кредиторов удалось склонить к уступкам, и вчерашний банкрот, выплатив часть долга, опять объявился на лондонской бирже. Пошло самое суматошное и привольное десятилетие его жизни. Правда, его доброе имя в деловых кругах считалось обесчещенным и неоплаченные векселя ждали своего часа в сундуках недругов. Но это не помешало ему приобрести доходный дом в Вестминстере, и выстроить дачу на берегу Темзы, и кататься по реке на собственной увеселительной барке, и стать завсегдатаем Нью-Маркетских скачек, где собиралась вся знать. Он прибавил к своей фамилии аристократическую частичку «де» (1695 год), сочинил себе герб — три грифона на красно-золотом поле — и латинский девиз «Laudatur et alget», что в переводе означало: «Достоин похвалы и этим горд». И королева совещалась с ним относительно

планировки дворцовых садов, король подумывал о том, чтобы исполнить его мысль об экспедиции к устью Ориноко, и любой член парламента почитал за честь накормить Дефо обедом в харчевне у Понтака (обед — пять шиллингов, бутылка старого вина — семь); а черепичный завод благодаря правительственным заказам процветал (больше ста рабочих, и каждый получал около трех шиллингов в день), и к тому же доходные должности сами плыли в руки. Смотрите, говорили зеваки, разглядывая какую-нибудь праздничную процессию, вон идет Даниэль Дефо, тот самый, сборщик налога на стекло, контролер королевских лотерей, доверенное лицо монарха, придворный, богач, поэт.

Да, и поэт — ведь кроме политических брошюр и газетных статей он писал теперь и стихотворные сатиры, и стихи эти, низкого качества, но очень едкие, были замечены в мутном море бесцензурной и анонимной уличной литературы и создали автору уйму врагов и одного-единственного друга. Потому что самая знаменитая из них — «Чистопородный англичанин» — была написана в защиту короля: в ней осмеивалось чванство истых, так сказать, бриттов, а Вильгельм Третий был голландец, как и предки Дефо.

Но лошадь короля на прогулке споткнулась (1702 год), и через три дня после этого началось правление королевы Анны, а она не любила пуритан. И возобновились религиозные распри, а Дефо, на свою беду, ввязался: сочинил и напечатал (без подписи) нечто вроде проекта о введении единомыслия.

Надо признать, это была неудачная выходка. Сам по себе проект выглядел неуязвимо благонадежным и намечал к заветной цели путь кратчайший: перебить всех этих диссидентов — диссентеров, разных там квакеров — и Англия спасена. Идея казалась почти осуществимой, пылкая логика автора — безупречной. Что это памфлет, пародия — поначалу никто не догадался; наоборот, приверженцы так называемой Высокой церкви пришли в злобный восторг, а раскольники всех толков праздновали трусу — те и другие приняли программу погрома за документ едва ли не официальный. Дефо так глубоко вошел в образ мышления своих противников, что позабыл обозначить собственный. Короче говоря, шутка не получилась. Пришлось ее растолковать — то есть сбросить маску и публично сознаться в поступке нелояльном и дерзком. Многочисленные ненавистники Дефо только и ждали такого случая. Был издан приказ о его аресте. В июле 1703 года он по приговору суда был

трижды выставлен у позорного столба (в Корнхилле перед Королевской биржей, в Чипсайде, у трубы, и у ворот Тэмплбара). Ему предстояло выплатить значительный штраф, а затем оставаться в тюрьме, «доколе будет угодно королеве».

Это было крушение.

Мы ни одной минуты не трепещем за жизнь Робинзона: раз человек сам рассказывает о своем приключении — значит, обошлось, выпутался, остался цел. (Погибшие не пишут мемуаров, их история — молчание.) Но сам Робинзон очень боится — то бури, то диких зверей, то людоедов, дрожит, как ребенок (и поэтому детям так мил). Даже не разведав толком окрестность, он принимается сооружать укрепление для защиты от неведомого пока неприятеля и тратит годы на то, чтобы превратить свое жилище в непреступную крепость и замаскировать ее. Не сразу, не сразу этот бывалый путешественник решает обойти свои владения. Он обследует остров в несколько приемов, вооруженный до зубов, и вздрагивает при каждом шорохе, и думает лишь о возвращении домой, в пещеру, под защиту частоколов и стен. Четырнадцать с лишним лет он предчувствовал опасность, не видя ее. Но вот на песке перед ним — след человеческой ступни. Помните, что случилось с Робинзоном? *«В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой, в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом: через каждые два-три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека»*. Теперь еще четырнадцать лет он проживет *«под вечным гнетом страха»*. И хотя даже дети уверены, что он выберется из этой переделки, а взрослые догадываются, что Дефо нарочно, для занимательности включает внезапные устрашающие эффекты, — все-таки жуть берет и сердце послушно замирает, едва лишь наткнется Робинзон на следы людоедского пира, или завидит чей-то труп на пустынном берегу, или сверкнут ему во мраке подземелья огромные зеленые глаза, или разбудит его в ночном лесу чей-то мучительно знакомый, пронзительный голос: *«Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Куда ты попал?»*

Дефо провел в тюрьме полгода. Он вышел из нее тайным агентом правительства. За жалованье, время от времени выдаваемое из

специальных сумм, он обязался: постоянно поддерживать в печати политику министерства (с этой целью основал на казенный счет независимую газету); составлять сводки о политических убеждениях различных лиц, пользующихся влиянием в том или ином кругу; разыскивать и предавать в руки правосудия анонимных памфлетистов (каким еще недавно был он сам). Впоследствии, по инициативе самого Дефо, о котором хозяева отзывались как о «гениальном шпионе», обязанности его разрослись. Он разъезжал по стране под различными именами, сколачивая осведомительную службу. Он годами жил в Шотландии, обрабатывая общественное мнение в пользу соединения королевств и выявляя одного за другим деятелей неблагонадежных. *«У меня есть верные люди во всяком кругу, — докладывал он начальству. — И вообще с каждым я говорю на подобающем языке. С бунтовщиками из Глазго я рыботорговец, с абердинцами — шерстящик...»*

Кто читал роман Вальтера Скотта «Роб Рой» или роман Стивенсона «Владелец Баллантрэ», — знает, как презирали и ненавидели тогдашние шотландцы правительственных агентов. Но Дефо втянулся в эту опасную игру с бесконечными переодеваниями, тем более что сидел по уши в долгах, и ни хитроумные спекуляции, ни бесчисленные сочинения (путешествия, биографии, очерки, поэмы, даже литературные обработки воспоминаний осужденных преступников) — ничто не могло вернуть ему состояния. *«Семеро детей, сэр, и что уж тут говорить...»*

Англия и Шотландия стали Соединенным королевством (1707 год). Правительство тори сменилось правительством вигов, потом обе партии опять поменялись местами. Умерла королева Анна, и на престол вступил немецкий принц Георг Первый (1715 год). А Дефо все не мог оставить свою непохвальную и неважно оплачиваемую службу, пока наконец некий господин Мист, издатель одной из газет, в которых Дефо сотрудничал, чтобы их «обезвредить», не обезвредил его самого. Проведав откуда-то о секретной должности Дефо, издатель взялся за шпагу. Дефо отбил удар, но его бесславная карьера была разоблачена и, стало быть, прекратилась.

Тогда, зимой 1719 года, укрывшись в своем каменном доме, за высоченным забором, этот прожженный и замаранный человек решил на шестидесятом году жизни сочинять романы, чтобы заработать денег на приданое дочерям.

Первый том первого из этих романов мы для краткости называем «Робинзон Крузо».

Редко кто перечитывает «Робинзона» — к чему? Те несколько часов (или дней), что мы когда-то провели на уединенном острове неподалеку от устья великой реки Ориноко, разделяя труды и тревоги неуклюжего человека, облаченного в странный меховой наряд, помнятся смутно и прочно, как детство.

Это ведь скорее игра, чем книга (оттого ей почти не вредят переделки и пересказы), игра вроде «конструктора»: имеется корабль, набитый необходимыми деталями и заготовками, а также целый остров материалов. Требуется самостоятельно собрать жизнь. И Робинзон мастерит, а мы следим завороченно (и время летит, и ни морщинки не прибавляется на лице Робинзона).

Первый в мире производственный, хозяйственный, трудовой роман. И создан в эпоху, когда образованные люди смотрели на личный труд как на несчастье и позор. Вообразите какого-нибудь виконта де Бражелона (если бы, конечно, Дюма позволил ему дожить до старости) читающим записки своего ровесника, некоего Крузо. Господин виконт (впрочем, ему, вероятно, достался бы титул графа де ля Фер) с изумлением узнал бы из этой книги, что *«определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них толковое суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом»*; впервые представил бы себе, как обжигают посуду, шьют одежду, выращивают и выпекают хлеб... И как все это увлекательно. Кто бы мог подумать!

И еще одну важную вещь мог узнать от Робинзона умный виконт. И тоже, вероятно, впервые (хотя в некоторых древних текстах нечто подобное уже было высказано). Оказалось, что если посмотреть на так называемый цивилизованный мир с необитаемого острова (а ведь *«очутиться на острове — это не значит уйти из жизни»*), то многие ценности представляются мнимыми. Титулы и деньги, например, — смешные пустяки, и только. Это в Европе-то, наполовину феодальной, где костюм заменял удостоверение личности!

Возможно, мистер Крузо, что вы правы, — мог возразить на это де Бражелон (или, допустим, кавалер де Грие из романа аббата Прево). Но существуют и такие ценности, — несомненно подлинные, — о которых вам не дано ни малейшего понятия. Такова лю-

бовь. Никто не осуждает вас за этот холод сердца, боже упаси, драгоценный сэр. Нельзя без ужаса и помыслить, сколь нестерпимо страдали бы вы на острове Отчаяния, умей вы кого-нибудь любить сильнее, чем самого себя, и тосковать по дорогому существу, а не по людям вообще.

Современники полагали, видите ли, что перед нами подлинные записки «моряка из Йорка». Мы-то знаем, что этот упрек следовало адресовать автору — Даниэлю Дефо. Не зря Диккенс называл его бесчувственным писателем. В романах Дефо никто никого и ничего не любит, их пружина — корысть, азарт, инстинкт самосохранения.

Престарелый Лев Толстой, задумавшись как-то о Робинзоне, вывел в дневнике два слова: «цель жизни». В самом деле, где она, цель? Не есть ли благоденствие, достигнутое Робинзоном на острове, — все та же бессмысленно-себялюбивая золотая середина, от которой он в юности бежал?

Не этим ли объясняется и странный жребий романов Дефо? Мировая литература переписывает его сюжеты наново. «Путешествия Гулливера» были придуманы отчасти из презрения к Робинзону. Манон Леско — это Молль Флендерс, увиденная влюбленными глазами. Оливер Твист сворачивает с пути, пройденного полковником Джеком. Миледи в «Трех мушкетерах» заступила место Роксаны. И «Робинзон Крузо» (опять-таки переделанный) стал чтением для малышей, а подросткам подавай «Таинственный остров»...

Но все-таки Дефо был первый! Именно он, с его неблагоприятным, но таким разнообразным жизненным опытом — делец, журналист, секретный агент, — первый сумел вообразить свое поведение в чужой судьбе, в ином обличье и отдать вымышленному персонажу свои собственные воспоминания и горести, и перемешать все это так, чтобы получилось повествование непрерываемо достоверное (с подробностями одна мельче и точнее другой), то есть изобрести прием, на котором основано искусство современного романа — искусство «правдоподобной выдумки».

И, может быть, только человек, которому, как Дефо, случалось разориться дотла, и отведать тюремного заключения, и стоять на эшафоте, продев голову и руки в деревянную колодку, и многократно рисковать жизнью, и продавать честь, — может стать, только такой человек в силах был задумать «Робинзона Крузо», книгу

великую, потому что в ней впервые исследована задача о необходимых и достаточных условиях человеческого существования (и доказано, что человек вправе надеяться на самого себя).

Сам Дефо говорил, что этот роман — всего лишь аллегорическое изложение его биографии.

Догадывался ли он, что напроорочил себе одинокую, отравленную манией преследования кончину?

Если на то пошло, писатель не обязан выситься в памяти потомков столпом добродетели.

Впрочем, Дефо думал иначе, и, когда один критик обругал его в печати «наемным орудием» и даже еще похлеще, будущий автор «Робинзона Крузо» отвечал так: *«М-р Даниэль Де Фо прославился своими писаниями, ибо в них находят превосходство таланта, смирение духа, изящество стиля, солидность, возвышенность воображения, глубину суждения, ясность восприятия, силу рассудка и пылкое рвение к истине... Высмеивать или осуждать этого феникса нашей эпохи, этого джентльмена столь редкой и счастливой одаренности, славу своего пола и предмет зависти всех людей — значит совершать некоторую неловкость (чтобы не сказать больше)...»*

СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ МИССИСИПИ

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.

И. Б.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хотел всего лишь растолковать, наконец, самому себе странную притягательность этой старинной книжки: брать ли ее на необитаемый остров? Любить ее нелегко; жить, как будто ее не было, — не получается; перечитывать с каждым разом всё грустней: всё темней в ее пространстве, и глуше звучат голоса; от ярких цветных фигурок тянутся угрожающие тени; мрачные значения проступают в легкомысленно-высокопарных речах.

Во всяком случае, на пишущего данный текст «История кавалера де Грие и Манон Леско» действует именно так: словно один из так называемых чудесных предметов — волшебное зеркало, или кольцо, или там золотое яблочко, кружащее по серебряному блюду... Короче, переносит в другой мир. Причем каждый раз в новый. Но вот ведь незадача: как почти никогда не бывает в сказках, каждый из этих новых миров безотрадной предыдущего.

И — как бы это сказать — всё реальней.

Эту историю вспоминаешь, как сон, в котором отчего-то догадался, что разные серьезные слова: *страсть, свобода, верность, ревность, мужчина, женщина, честь* — вроде игрушечных корабликов, непотопляемо легких; от каждого идет на неизвестную глубину

леска с крючком, вцепившимся в чудовище; хищные призраки скользят в подводной холодной ночи; кораблики на волне пляшут.

Аббат Прево не считается гением; просто умный беллетрист; наверное, немало претерпел от тех европейнок нежных; полагаю, что каким-то случаем — вряд ли счастливым — заглянул в лицо настоящей правде.

И эта изменчивость смысла, его ступенчатость — неокончателность, похожая на бесконечность, — надо думать, приз, поднятый с самого дна.

Развязка: триллер

«Я рассказываю вам о несчастье, подобного которому не было и не будет; всю свою жизнь обречен я плакать об утрате. Но, хотя мое горе никогда не изгладится из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нем».

Не правда ли, такое предисловие — как бы сверхмощная лупа: теперь мы не пропустим ни буквы, ни заусеницы шрифта.

«Часть ночи провели мы спокойно; я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула, и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они холодные и дрожат; я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала мое движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку, сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час ее близится».

Женщина не ранена; молода: нет и двадцати; вечером была здорова; и никогда ничем, насколько известно, не болела. С чего взяла она, что умирает? Вздор какой! Просто расклеилась, расхныкалась.

Де Грие говорит: он сперва так и подумал.

«Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастии, и отвечал только нежными утешениями любви. Но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий недалек».

Согласитесь: не всякий распознал бы тут агонию. Всякий другой скорей решил бы: припадок; ну, или обморок, раз не отвечает — где болит. Всякий другой потянулся бы за фляжкой с алкоголем, благо их несколько под рукой. Но вы же видите — не можете не увидеть — подчеркнуто трижды: заняты у де Грие руки.

Поистине, такие фразы оттачиваются бессонными ночами.

Про «подкрепительные напитки, что захватил с собою», он вспомнит перед тем как рыть могилу.

И что Манон умерла не молча — вдруг выяснится в абзаце между мнимым, стало быть, обмороком — и могилой; но это уж такой абзац, что прямо запрещает любые расспросы:

«Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее; она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии».

Немного же вы сумели сообщить, молодой человек.

И немного найдется в мировой литературе — не говоря о житейской практике — таких необъяснимых смертей.

Удивительно, что я это заметил только теперь, перечитывая как бы напоследок. Несравненно удивительней, что я это заметил, похоже, первый.

Но как же так? Должна же быть какая-то причина смерти. Возможно ли, чтобы сам де Грие даже не попытался понять, отчего случилось «несчастье, подобного которому нет и не будет» (кстати: это, по меньшей мере, чересчур наивно — если только не многозначительно)?

Переутомление (впервые в жизни Манон прошла пешком около двух миль)? Переохлаждение (впервые в жизни провела ночь под открытым небом; однако Новый Орлеан расположен на тридцатой параллели)? Невозможно, потому что смешно.

Скоротечная чахотка? Тропическая лихорадка? Разрыв сердца (по-нашему, инфаркт)? Вот разве что разрыв сердца. Или змеиный укус.

В любом случае, показания де Грие не совсем правдоподобны. И он даже не скрывает, что умалчивает о чем-то несказуемом, невыносимом. То есть от нас не скрывает; в смысле — от маркиза, как его там, — Ренонкура, в смысле — от автора «Записок знатного человека», от г-на аббата Прево. В суде все эти умолчания пополам с обмолвками ему не прошли бы даром. Да как будто и не прошли:

«Было наряжено следствие... меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол ее. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло горестное событие. Синнеле, несмотря на неистовое горе, в какое поверг его мой рассказ, имел великодушные ходатайствовать о моем помиловании и добился его».

Вроде бы получается, что приговор суда был не в пользу де Грие.

(За недостатком времени, а главное — места, выскажу вкратце и наспех наиболее, по-моему, вероятное. Де Грие не заколол Манон Леско, — хотя намеревался именно заколоть, и этому найдется подтверждение в собственных его словах. Упомянутые им предсмертные симптомы наводят на мысль об отравлении. Про фляжки с крепкими напитками сказано дважды — ровно вдвое больше, чем требовал ход событий. Я почти совершенно уверен, что Манон скончалась от яда; надеюсь, что она приняла его по собственной воле; подозреваю, что с ведома де Грие; не говорю — по предложению, тем более — по настоянию; но убежден, что и задним числом — через год, на добровольной этой исповеди — он полагает, что в ту фатальную ночь в долине Миссисипи его беспутная возлюбленная исполнила — или даже заплатила — свой долг.)

Но позвольте напомнить, в чем там дело.

Завязка: водевиль

Начинается эта история во дворе главной гостиницы города Амьена. Французское королевство, год предположительно 1712. Наверное, сентябрь. Почему-то двадцать седьмое.

Он — дворянин, принадлежит «к одной из лучших фамилий П...». Она — происхождения заурядного, то есть спасибо не крепостная; дочь arrasского какого-нибудь горожанина.

Он, стало быть, в первом ряду, со шпагой, подбоченясь, — она в хороводе на горизонте, — однако же не так: оба вытолкнуты за край рамы, выбракованы, охолощены.

Он — потому что младший сын, то есть не наследник, то есть нахлебник. Закон не позволяет расчленять дворянские имена; все достанется старшему, а младший брат — лишний рот. Его долг перед сословием — не оставить потомства. Вот его и записали в Мальтийский орден (что-то вроде погранохраны Средиземного моря) кавалером, точнее — рыцарем, по-французски — шевалье; в одиннадцатилетнем возрасте под псевдонимом де Грие он дал обет безбрачия.

А родители m-lle Манон попросту сдают ее в монастырь — *«против воли, несомненно с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась»*. Надо полагать, приличное замужество ей уже не светит; стало быть, и она — лишний рот и вдобавок позорит фамилию Леско.

Короче говоря, они оба — жертвы общественного контроля над рождаемостью. Он исключен из мужчин, она — из женщин: дабы не плодить нищих (конечно, и порочных), будьте любезны официально, добровольно, навсегда выйти из Игры.

Сейчас де Грие — семнадцать; он невинен, как-то даже слишком невинен и застенчив; Манон младше и *«гораздо опытнее»*.

Эпизод предсказуемо прост, наподобие водевильного куплета. Сколько бы де Грие ни пытался нам втолковать, будто с ним уже тогда произошло нечто невероятное, — мы сострадаем не без улыбки. Он потерял голову — это бывает; его красавица воспользовалась шансом (вроде как незапертой дверью или приставной лестницей) бежать с этапа — тоже понятно.

И что на одиннадцатый, не то на двенадцатый день побега и блаженства — когда еще солнце идилии, так сказать, стояло в зените, — Манон обзавелась покровителем постарше и гораздо побогаче, а на тридцатый при его содействии спланировала юного любовника обратно под родительский кров, — никому, кроме де Грие, не представляется изменой коварной, тем более — вероломным предательством.

Тут не просто арифметика — хотя ста пятидесяти экю на двоих при определенном образе жизни в Париже хватает, как выяснится позже, как раз на месяц. Важней, что с приставной лестницей далеко не убежишь. Кавалера будут искать, и обязательно найдут, — а Манон не для того уклонилась от монастыря, чтобы прямиком проследовать в так называемый Приют, или Убежище, где публичных женщин перевоспитывают розгами. Оставить бедняжку де Грие одного в столице, без гроша и расстроенных чувствах — вот это действительно был бы поступок бессердечный.

Все обошлось, хотя еще с полгода юноша был не в себе: рыдал, топал ногами, пробовал уморить себя голодом, помышлял о побеге, о мщении... Достоин упоминания воображаемый им образ мести: шевалье мечтает не о дуэли.

«Отец пожелал узнать мои намерения. — «Я направлюсь в Париж, — сказал я, — подожгу дом Б... и спланирую его живьем вместе с коварной Манон». Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении».

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе — глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

И. Б.

О добровольном рабстве

Все начинается сызнова, и по-настоящему, при второй встрече кавалера — вообще-то теперь уже аббата — де Грие с его *«дорогой возлюбленной»* (буквально — *«chère maîtresse»*; русская метресса восемнадцатого века — наложница, фаворитка; французская, должно быть, звучала отчасти с ударкой).

Приемная духовной семинарии Сен-Сюльпис. Шесть часов вечера. Де Грие только что вернулся из Сорбонны, где выдержал многочасовой богословский диспут — вроде как диссертацию блестяще защитил. Не сегодня-завтра он примет духовный сан — и одет соответственно: в чем-то черном, длинном. Он не виделся с Манон около двух лет — узнаёт ее, конечно, сразу, — описать не в силах. Мы вправе уверенно предположить, что на ней богатое, модное платье, вообразить шляпу и вуаль, — но никаких телесных примет: брюнетка ли, блондинка, и какого роста; ни фигуры, ни походки, ни лица; без очертаний, как источник света:

«Ей шел осьмнадцатый год; пленительность ее превосходила всякое описание: столь была она изящна, нежна, привлекательна; сама любовь! Весь облик ее мне показался волшебным».

Происходит роковой разговор — совершенно бессмысленный; верней, обмен слишком отчетливыми фразами, не имеющими смысла именно как фразы: пожалуй, значение каждой может быть передано частицей «да» с вопросительным знаком — либо с восклицательным; но пропадут все эти словесные подножки:

«Робким голосом сказала она, что я вправе был возненавидеть ее за неверность, но если я питал к ней когда-то некоторую нежность, то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи, а тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова.

...Несколько раз я начинал было говорить и не имел сил окончить свою речь».

Вообще-то, раз уж не решился повернуться и уйти, следовало бы принять тон ледяного недоумения. Что-нибудь вроде: чем могу быть полезен, сударыня? Или: разве мы знакомы? не припоминаю, при каких обстоятельствах был удостоен этой чести.

«...Сделав усилие над собой, я воскликнул горестно: “Коварная Манон! О коварная, коварная!” Она повторила, заливаясь слезами, что и не хочет оправдываться в своем вероломстве. “Чего же вы хотите?” — вскричал я тогда. — “Я хочу умереть, — отвечала она, — если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно”».

Разное можно сказать в ответ. Какой-нибудь персонаж «Опасных связей» или «Трех мушкетеров» ухитрился бы даже с улыбкой, любезной донельзя, спросить адресок: дескать, при случае непременно загляну, и вы останетесь довольны гонораром. Но эти романы еще не написаны; кстати, все действующие в них кавалеры только тем и заняты, в сущности, что мстят за де Грие; а он безоружен и беспомощен:

« — “Проси же тогда мою жизнь, неверная! — воскликнул я, проливая слезы, которые тщетно старался удержать, — возьми мою жизнь, единственное, что остается мне принести тебе в жертву, ибо сердце мое никогда не переставало принадлежать тебе”».

Трижды не отбил подачу; Манон выиграла.

«Едва я успел произнести последние слова, как она бросилась с восторгом в мои объятия».

Закон судеб

В этой сцене (пока — только в этой; через двадцать лет автор присочинит и другую в таком же духе) Манон тратит слова (и слезы) не то что бескорыстно — безрассудно. Не нуждается она ни в кошельке де Грие, ни в его защите: процветает щедротами любовника-откупщика. Дело идет всего лишь о власти; точнее — о рабовладении.

Но какая, однако же, демонская самонадеянность! Дворянину, духовному лицу — словом, человеку из общества, и притом человеку с будущим — предложить этак без затей («Я спросил ее, что же нам теперь делать?»): а переходи на нелегальное положение; поступай на содержание ко мне, соержанке!

И дворянин, духовное лицо, и прочая, и прочая — во мрак и позор бросается стремглав, и еще с какой-то *«неизъяснимой отрадой»*, — и на следующей же странице сделался бы смешон, — не вздумай вдруг Манон Леско смягчить его участь:

«Дабы я еще более оценил жертву, которую она мне приносила (что это — наглость Манон или издевка де Грие?), она решила по-рвать всякие сношения с Б...»

Таким образом, честь в некотором роде не погибла: де Грие не будет делиться с г-ном Б... ласками Манон; а станет вместе с нею проживать капитал, который она у этого Б... «вытянула»; денег должно хватить лет на десять; а за это время отец кавалера, скорей всего, умрет и что-нибудь ему оставит.

Проект не особенно возвышенный (к тому же непредвиденные случайности — пожар и кража — почти сразу его разрушают), но все-таки тут не обрыв, а лестница к обрыву: приживалом — ничего не попишешь, карточным шулером — извольте, мошенником — так и быть; очень не хотелось бы торговать собственным телом (*«ибо мне претило быть неверным Манон»*), — но как последний шанс — куда ни шло; лишь одно-единственное положение представляется кавалеру невозможным, потому что нестерпимым, — и вот наши любовники пробираются по самому краю, и Манон все время соскальзывает, а де Грие опять и опять ловит ее уже на лету и отчаянным рывком выхватывает — выхватывает из чужих рук.

В ее судьбе это как бы привычный вывих: падает благосостояние — в ту же минуту подворачивается очарованный богач. По словам де Грие (хотя откуда ему знать?), другие мужчины ей, в общем-то, ни к чему (*«я даже был единственным человеком, по ее собственному признанию, с которым она могла вкушать полную сладость любви»*; однако же не ясно, что сказал бы по этому поводу г-н Б... или кто другой), — но развлечения необходимы — *«столь необходимы, что без них положительно нельзя было быть уверенным в ее настроении и рассчитывать на ее привязанность»!*

Если вдуматься, это страшные слова — и описывают существо, одержимое истерической скукой — онегинской, так сказать. Манон заглушает гложущую изнутри пустоту — суетой, и больше всего на свете боится, что когда-нибудь на этот наркотик не хватит денег. Вроде как игральный автомат в режиме non-stop и с тревожным реле: ресурс партнера на исходе, кто следующий?

Каждый раз этот сигнал застаёт злополучного де Грие врасплох. Заклиная про себя: полежи, кукла, полежи с закрытыми глазами, пока я где-нибудь стащу аккумулятор, — он поспешно удаляется. Кукла тут же открывает глаза и бежит в другую сторону.

Как во сне, она идет по вращающейся сцене: из декорации в декорацию, из пьесы в другую пьесу, из роли в другую роль (кто, например, даст голову на отсечение, что неприятный гвардеец Леско — действительно ее брат?); но все одно и то же, драматургия сплошь бездарная, бесконфликтные живые картины — галантные празднества, завтраки на траве.

А де Грие застрял за кулисой, потом запутался в занавесе. Потому что он двигается по прямой; потому что, уступая героине в блеске ума, он безмерно превосходит ее — и всех нас — величием души. Каковое заключается, по-видимому, в страстном и деятельном постоянстве. Как цитирует Монтень из Плутарха: «если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это всегда желать и всегда не желать одной и той же вещи». Людей такой прямы, говорит Монтень, во всей древней истории наберется едва ли с десятков; а мы, нынешние (он писал за полтора столетия до Прево), все скроены из отдельных клочков, из случайных связей; поэтому «в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других».

Только де Грие равен самому себе; всегда желает одного: не разлучаться с Манон; а измена Манон для него несовместима с жизнью. Всего лишь два побуждения — для поступков каких угодно: солгать, украсть, убить, пожертвовать собой.

Отплытие на остров Любви

Обсуждая сюжет, все — и де Грие первый — сводят главный мотив к навязчивой сексуальной идее; он даже приплетает сюда мечту о каком-то счастье — представляя его как нескончаемый медовый месяц на загородной вилле.

Но аббат Прево не зря обмолвился о своем сочинении: *этот маленький трактат*, — и не зря первое издание сожжено рукою палача.

Это история самой настоящей, весьма дерзкой ереси — личной религии кавалера де Грие. Это история о том, как муравей нашел

себе богиню — в прямом смысле, без метафор. Так и сказано: Манон могла бы возродить на земле язычество, — и де Грие неоднократно и не шутя намекает, что она — не человек. А его страсть исчерпывающим образом освещена в Новом Завете:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится,

*Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
...Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.*

Любовь никогда не перестает...»

Вычтем из этой веры надежду: останется любовь как ревность в последней степени; как страдание от непобедимой реальности чужого Я; какая уж тут свобода воли; но и рабство не спасает; разве чья-нибудь смерть.

И вот они вдвоем на краю света; почти все унижения позади, кроме последнего: завтра Манон отдадут какому-нибудь каторжнику; лучше бы досталась племяннику губернатора, но вчера вечером де Грие племянника этого убил (думает, что убил), теперь де Грие повесят. А до индейских вигвамов не добежать, ни до английского форта, и вообще это из другого романа, из Фенимора Купера. Манон понимает верность на манер Изольды с Тристаном — исключительно как «верность сердца»; губернаторский племянник вряд ли был ей страшен. Но всё поздно. И даже совестно не подарить кавалеру напоследок единственного неопровержимого доказательства взаимности. Он, бедный, грозился *«в случае если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, какое когда-либо творила любовь»*.

Он закопает ее в песке обломком шпаги.

PS. В «Игроке», в «Идиоте», сильнее всего в «Кроткой» — как больной зуб, ноет эта музыка. Достоевский-то знал, отчего умерла Манон Леско.

PPS. Второй эпитафия — без ответа, навсегда.

ГУЛЛИВЕР И ЛАСТОЧКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КОФЕЙНЫЙ РОМАН

Джонатан Свифт думал — и о нем думали, — что он говорит и пишет по-английски лучше всех.

Понимающие люди подтверждают: мол, так оно и было, насчет этого Черный Парик был прав.

С оговорочкой, понятно, с оговорочкой, а то и с двумя-тремя. Но Шекспира он, кажется, не читал (велекосноречивого, всеми забытого драмодела), мистера Дефо презирал (продажного лубочного моралиста), к полудюжине пишущих современников был снисходителен (Поуп, Гей, Шеридан, Арбетнот, Аддисон, Стил — кто еще? и кто из них все еще способен кого-нибудь растрогать, рассмешить, рассердить?), — а в разных там будущих Филдингов, Джойсов не верил, конечно.

А верил в свой гений: «... автор, что пишет лишь в расчете на свой город, провинцию, королевство или даже в расчете лишь на свой век, заслуживает быть переведенным на иностранный язык ничуть не больше, чем быть прочитанным на языке своем собственном».

Не знаю, не знаю. По-моему, немногого стоит и тот, кто ставит на славу в чужих веках и странах, — доктор Свифт довольно часто бросался парадоксами, ничуть не похожими на его настоящие мысли.

Дело не в этом. Смысл его жизни сожгла, наоборот, внезапная вспышка надежды на успех житейский, немедленный: здесь — то есть в Англии, точнее — в Лондоне; сейчас — в первой четверти восемнадцатого века.

Ни о чем таком особенном он не мечтал, в архиепископы Кен-терберийские не метил, а всего только полагал, подобно впослед-

ствии Пушкину, что обрел бы волю и покой, взамен доставив родине большую пользу, если бы только назначили его королевским историографом.

И нашлись чрезвычайно высокопоставленные покровители, которые не считали подобное назначение невозможным; вообще ничего не пожалели бы для умнейшего человека страны.

Такой был в свое время у Свифта негласный титул — тоже как у Пушкина. Царю Николаю I, помните, как импонировал пушкинский интеллект?

Да только царь лицемерил, — и граф Оксфорд, и виконт Болинброк тоже, разумеется, прекраснодушничают, а про себя-то каждый знал, кто на самом деле всех умней; совсем не обязательно тот, кто лучше излагает; пусть школьные наставники не различают ум и слог; а кому суждено, рано или поздно догадается: соподчинять слова — это одно, а людей — совсем другое дело.

Соподчинять людей Свифт не умел — только восхищать или раздражать. И, поскольку был не игрок, а мыслящая пешка, то, в общем, и не проиграл партию: королева, по имени Анна, совсем, говорят, не умная, двумя пальцами взяла его с доски, взмахнула рукой... 1714-й, Свифту было сорок семь. И еще прежде чем он со стуком упал в дальнем углу королевства, началась его старость. Он провел ее «в слепой ярости, точно отравленная крыса под полом». Вот письмо 1729 года:

«Тяжелее всего вспоминать сцену пятидесятилетней давности, которая то и дело встает у меня перед глазами. Помню, что однажды, еще мальчишкой, я вдруг увидел, что удочка, с которой я стоял у реки, прогнулась под весом огромной рыбыны; я изо всех сил потянул ее на себя, но рыба сорвалась, и горе, которое я тогда испытал, преследует меня по сей день, мне почему-то кажется, что все мои последующие несчастья того же рода...»

Ничегошеньки, выходит, не понимал в своих несчастьях умнейший в целой Великобритании человек.

Надо же, как неудачно сложилась жизнь, подумать только: вместо придворной синекуры — церковная! Вместо Лондона — Дублин! Вместо двух или даже трех тысяч фунтов стерлингов — какие-то жалкие семьсот, только-только на быт без бед! Ах, скажите, до чего бессмысленная участь: не досталось написать историю царствования — с горя, со скуки сочинил «Путешествия Гулливера»!

Допускаю, впрочем, что все эти якобы нестерпимые угрызения оскорбленного честолюбия он расписывал для отвода глаз: не в силах скрыть, как ему скверно, скармливал общественности аппетитную, легко усвояемую причину. Назло, и почти не играя: действительно ведь — как с ним обошлись государство и время — рассказать лет через триста — никто не поверит: просто-напросто обошлись без него. Тем хуже для них — это само собой, и пусть о своей глупости помнят вечно. И что это она, их глупость, чужая глупость его затерзала, не собственная — как ее ни переименуй: скажем, жалость. (Единственная страсть, которой не страшен ум: она высасывает из мыслей яд, тем и питается). Затерзала, имейте в виду, треволнениями не сплошь смешными, заботами, поверьте, поважней, чем прятать от одной женщины — другую (и свою связь с обеими — от всех) в городке, где вместо стен — глаза... Проклятое захолустье! Стекланный террариум на медленном огне, на вечном (о, нет! всего лишь пожизненном — как доход провинциального протопопы)... В любой другой декорации подвернулась бы хоть какая кулиса, и за нею сюжет как-нибудь распутался бы, развязался, разорвался...

Двадцати двух лет (1689) Свифт подружился с восьмилетней черноволосой девочкой, при опекуне которой состоял домашним секретарем.

Иные, впрочем, подозревают, будто этот самый опекун — сэр Уильям Темпл — был отцом Стеллы, то есть Эстер Джонсон, — и отцом Джонатана Свифта тоже.

Стелла выросла, сэр Уильям скончался (1699), Свифт уехал в Ирландию. Разлука тяготила, — и через два года решили так: отчего бы и Стелле не перебраться в Дублин? не все ли равно, где дожидаться достойного замужества, особенно — если некуда спешить? а в Дублине, кстати, жить не в пример дешевле, тем более — вдвоем (в смысле — с компаньонкой; без компаньонки никак). А доктор Свифт обязуется приходить в гости так часто, как только позволят приличия, читать Стелле (и компаньонке, милой миссис Дингли) вслух, и рассказывать разные истории, — короче говоря, будет счастье.

Надо заметить, что именно доктор Свифт был автором этого практичного проекта, — и добавить, что все свои обещания он исполнил — вплоть до того, что и счастье, наверное, было.

Только он все еще чего-то ждал от фортуны для карьеры — и не упускал ни одного случая побывать в столице по делам церкви.

В одной такой поездке (1707 или 1708) познакомился с приятным семейством: вдова с двумя молодыми дочерьми, с двумя подростками-сыновьями. В гостинице Данстэбла (миль за тридцать до Лондона) пил с ними кофе — напиток модный, экзотический, дорогой — впервые, кажется, в жизни попробовал. Он был в ударе, каламбурил, все смеялись. Одна из барышень — Хэсси, то есть мисс Эстер Ваномри, брюнетка — пролила свой кофе. Почему-то запомнилась.

В 1710 опять оказался в Лондоне — и застрял там, чуть не ежедневно выпивая с первыми лицами королевства: так понравился, прямо покорило; вот не сегодня-завтра эти люди под его влиянием повернут ход истории к лучшему, а его вознаградят, как сказано выше.

Из экономии ходил больше пешком, а парадную сутану и придворный парик, чтобы не изнашивались раньше времени, надевал на полпути к дворцу, в доме вдовы Ваномри; пристрастился пить там кофе.

И через два с половиною года, устремляясь в почетную ссылку, писал ей с дороги:

«Признаюсь, мне частенько хотелось выпить хоть немного вашего крысиного яда, поскольку то, чем меня потчевали в пути, не заслуживает даже такого названия».

Есть в этом письме и прощальный жест в сторону ее дочерей:

«В Данстэбле мне не удалось обнаружить никаких следов кофе, пролитого Хэсси у камина, и у меня не оказалось под рукой бриллиантового кольца, чтобы написать на тамошних окнах имя кого-нибудь из вас».

Упомянутая Хэсси, или Миссэсси (а наедине со Свифтом — Ванесса), попыталась ответить так же легко:

«Мистер Льюис дал мне «*Les dialogues des mortes*» <«Разговоры мертвых» Фонтенеля>, и я настолько ими очарована, что решила расстаться со своим бранным телом, и пусть будет, что будет, разве только вы пожелаете беседовать со мной, ведь разговор с кем бы то ни было на свете несравним с беседой с вами. Так что, стоит вам захотеть — и я останусь, только говорите со мной, — и я буду счастлива остаться в этом мире».

Без памяти, видать, любила разумную английскую речь — и сама управлялась с нею в высшей степени толково — страшно вымолвить, а не хуже самого Свифта, на его беду — и на свою!

Положим, в молчании он был несравненно сильнее — только его молчания она и боялась — из всех бедствий жизни, — но всякий раз (кроме самого последнего, лет через девять) этой женщине удавалось каким-нибудь стилистическим ухищрением отчаяния вымолить, вынудить, заслужить пощаду, то есть отсрочку.

«Если я, по вашему мнению, пишу слишком часто, то единственный для вас выход — сказать об этом прямо или же, по крайней мере, снова написать мне, я буду тогда знать, что не совсем вами забыта; ведь у меня есть все основания опасаться, что я теперь несколько не занимаю ваших мыслей, кроме тех минут, когда вы читаете мои письма; это и побуждает меня одолевать вас ими. <...> Если вы очень счастливы — то сколь жестокосердно с вашей стороны не сказать мне об этом, разве что ваше счастье несовместимо с моим. <...> Помните, вы не раз говорили, что готовы сносить небольшие неудобства, если только это может доставить другому огромное удовольствие. Умоляю вас, не забывайте этого правила, потому что оно имеет прямое отношение ко мне».

Декан собора святого Патрика — старый, больной, занятой человек — он ли не пытался поставить ее на место:

«Покидая Англию, я ведь сказал вам, что постараюсь забыть все, с ней связанное, и буду писать как можно реже. У меня и в самом деле было намерение написать всем моим друзьям, но по нездоровью я не смог его пока выполнить...»

Тщетно! В следующем году миссис Ваномри умерла, оставив старшей — двадцатисемилетней — дочери порядочный капитал, но и долги (в частности — солидный счет из Сент-Джеймской кофейни). Наследством и независимостью Ванесса распорядилась в духе присущего ей благоразумия: в августе 1714 переселилась вместе с сестрой в Ирландию, куда, видит Бог, никто ее не звал! Наоборот — ее предупреждали:

«Если даже вы окажетесь в Ирландии тогда же, когда и я, то мы будем видеться с вами крайне редко. Это не такая страна, где можно позволить себе какую-нибудь вольность: там через неделю все становится известно и преувеличивается во сто крат...»

Предупреждали же, черт побери! А теперь приходится выписывать подряд целых три послания этой горестной зимы — первой дублинской *второе*.

I. «И вот теперь, когда мои беды усугубляются тем, что я живу в неприятном месте, среди чужих мне и непомерно любопытных и

лживых людей, чье общество не только не способно развлечь, но, напротив, служит ужасным наказанием, вы бежите меня и не приводите никаких иных объяснений, кроме того, что нас окружают глупцы и мы должны покоряться обстоятельствам. Я вполне согласна с тем, что мы живем среди таковых, однако не вижу причины жертвовать своим счастьем в угоду их прихотям. Некогда вы почитали за правило поступать так, как находишь справедливым, и не обращать внимания на то, что скажет свет. Почему бы вам не придерживаться этого правила и сейчас? Помилуйте, навещать несчастную молодую женщину и помогать ей советами, что же предосудительного? Ума не приложу. Вы же знаете, стоит вам нахмуриться, и моя жизнь уже невыносима для меня. Сначала вы научили меня чувству собственного достоинства, а теперь бросаете на произвол судьбы...»

Стоп. Вот именно этот момент — суббота 25 декабря 1714 года — роковой. Тут бы — скомкав конверт — пройти сотню шагов, позвонить у дверей, сказать Ванессе про Стеллу, — и пусть уезжает или остается — как захочет; а ну как для нее прятки лучше жмуток. Или пойти в другую сторону и рассказать Стелле про Ванессу — тоже и в тридцать четыре жизнь прожита еще не вся — и пусть не уважает, если дура.

Свифт же совершенно потерялся. Пресловутый, хваленый ум оставил его. С мужчинами это случается. Верней, так случается с умом — Буриданова болезнь: пойти направо — пошлость, налево — такая же... Соподчинить? Оставьте человека в покое! Вот уж доктор Фрейд когда-нибудь вам растолкует: любовью называется ложная идея, будто мадам такая-то предпочтительней прочих особ того же пола.

Ответ — в понедельник с утра:

II. «Я получил ваше письмо в субботу вечером, когда у меня были гости, и оно повергло меня в такое замешательство, что я не знал, как и быть. <...> Нынче утром моя домоправительница сказала мне, что до нее дошли слухи, будто я — — — — в некую особу, и назвала при этом вас, присовокупив еще двадцать подробностей <...> и что вы особа необычайно острого ума и прочее. Я всегда страшился сплетен этого гнусного города, о чем не раз говорил вам, и именно по этой самой причине еще задолго до всего предупредил, что во время вашего пребывания в Ирландии буду редко с вами видеться. Прошу вас не тревожиться, если какое-то

время я буду посещать вас реже и не буду оставаться с вами наедине. Если представится возможность, я повидаю вас в самом конце недели. Все это житейские условности, которые неизбежны и которым должно подчиняться, и тогда при благоразумном поведении всякие кривотолки постепенно утихнут».

Вот где он сподличал: оставил ей надежду — а сам хотел всего лишь тишины. Или не только — кто его знает: все-таки очень скучал.

Ванесса, разумеется, не успокоилась и, разумеется, сдалась — приняла тюремный распорядок свиданий: ради якобы будущего.

III. «Что ж, теперь я ясно вижу, сколь большое уважение вы ко мне питаете. Вы просите меня не тревожиться и обещаете видиться со мной настолько часто, насколько это будет для вас возможно. Вам следовало бы лучше сказать — настолько часто, насколько вы сумеете побороть свое нерасположение; или настолько часто, насколько вы будете вспоминать, что я вообще существую на этом свете. Если вы и дальше будете обращаться со мной подобным же образом, то, право, я недолго еще буду доставлять вам беспокойство. Невозможно описать, что я пережила с тех пор, как виделась с вами в последний раз. Пытка была бы для меня намного легче этих ваших убийственных, убийственных слов. По временам меня охватывала решимость умереть, не повидав вас, но, к несчастью для вас, эта решимость быстро меня покидала. Так уж, видно, создан человек: нечто в его природе побуждает нас приискивать себе утешение в сем мире, и я уступаю этому побуждению и потому умоляю вас, приходите ко мне и говорите со мною ласково. Ведь я уверена, что вы никого не обрели бы на такие страдания, если бы только знали о них...»

Впоследствии Свифт еще ужесточил режим: ограничил свободу переписки.

«Было бы неплохо, если бы и ваши письма были такими же малопонятными, как мои, потому что, если бы их по небрежности потеряли посыльные, это не имело бы никаких последствий. Вот такой, например, чертой — — — — — можно обозначить все, что может быть сказано Кэду — — — — — в начале или в конце письма».

Кэд был один из его псевдонимов; несколько прозваний присвоил и ей; подписи не полагалось; обмениваться же мыслями — лишь о таких предметах, чтобы текст не мог заинтересовать решительно никого.

Возможно, вам покажется забавным, что у него это получалось еще хуже, чем у нее:

«...Кому, как не вам, знать, что кофей настраивает нас на хмурых, степенный и философический лад».

«Из-за отсутствия моциона я наживаю себе в этом проклятом городишке головную боль. Я охотно прошелся бы с вами раз пять—десять по вашему саду, а потом выпил с вами кофей».

«С тех пор, как я расстался с вами, я еще ни разу не пил кофей и не собираюсь этого делать, пока снова не увижусь с вами: никакой кофей, кроме вашего, не стоит того, чтобы его пили, если только я могу быть в этом деле судьей. — — — Adieu».

«Кэд — — — уверяет меня, что по-прежнему чтит, любит и ценит вас больше всех на свете и сохранит эти чувства до конца своих дней, но вместе с тем он умоляет вас не делать ни себя, ни его несчастным из-за ваших фантазий. — — — Без здоровья вы утратите всякое желание пить кофей и так ослабеете, что совсем падете духом. — — —».

«Скверная погода держалась с таким постоянством, что я еще несколько не ощутил благотворных преимуществ жизни в деревне, и похоже, что она и дальше будет такой же. Было бы бесконечно приятнее встречаться раз в неделю с Кендалом и прочее, иметь возможность проводить по утрам часа три — четыре за кофеем или обедать tête-à-tête, а потом до семи опять попивать кофей».

«И помните, что богатство составляет девять десятых всего, что есть хорошего в жизни, а одна десятая — здоровье; а уж кофей занимает в ней куда меньшее место, но если все же посчитать его за одиннадцатую долю, то без двух предыдущих его как следует и не попьешь».

«Лучшее из всех известных мне жизненных правил — это пить кофей, когда представляется такая возможность, и спокойно обходиться без него, когда это невозможно».

«У нас с вами такое родство душ, что я чувствую себя сейчас недостаточно расположенным к писанию писем, поскольку для этого, я полагаю, необходимо хоть раз в неделю пить кофей».

Но довольно. Развязку оставим слепой судьбе, глухой сплетне.

Эстер Ваномри, Эстер Джонсон и Джонатан Свифт еще какое-то время были несчастливы, а потом умерли. Среди рукописей мистера Свифта нашелся запечатанный конверт с надписью:

«Волосы женщины, только и всего». И точно — в конверте лежала прядь волос. Черная, как и следовало ожидать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НЕ ЦАРЯМ, ЛЕМУИЛ

Из жизни, какой бы ни оказалась, есть выход. Он мерцает ужасающе, и мы стараемся в ту сторону не смотреть, — но вообразите, что — заперто; скажем, замок заело — из вашего личного кода выпал некий знак. Вот удача хуже любого несчастья: телесное бессмертие — вдумайтесь — просто-напросто вечная старость.

«...Они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадает под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начала фразы, когда они доходят до ее конца; таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения.

... Струльдбругов все ненавидят и презирают...»

В 1726, когда появилось первое издание «Путешествий», мистеру Гулливеру стукнуло шестьдесят пять (он, между прочим — вот совпадение! — погодок небезызвестного мистера Дефо; зато почти на тридцать лет моложе пресловутого Робинзона Крузо). В Лаггнегге, где встречаются эти самые струльдбруги, Гулливер побывал в 1708, сравнительно молодым. Он был тогда государственным и даже монархист, еще не влюбился в лошадиное вече. С отвращением разглядывая несчастных бессмертных, думал не о собственной когда-нибудь старости, а, как обычно, про политическую власть: счастье, что короли недолговечны, не то, пожалуй — *finis historiae*, как раз ухнет в Застой.

«... Благодаря алчности, являющейся необходимым следствием старости, эти бессмертные захватили бы в собственность всю страну и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что, вследствие их полной неспособности к управлению, привело бы к гибели государства».

Доктору Свифту — пятьдесят восемь. Он замолчит в шестьдесят четыре, умрет — шестидесяти семи.

Старость желательна краткая, опрятная, безмолвная. Но на счет продолжительности — вас не спрашивают, а что касается опрятности — все зависит от обслуживающего персонала, то есть, в конечном счете, — от вашего материального положения. Если в свое время хватило ума подлизнуться к вышестоящим дуракам ради мало-мальски приличного пожизненного дохода — нижестоящие будут обращаться с вами, как с лордом, до последнего дня.

Бреют голову и щеки (подбородок выстригают), напяливают парик, облачают в сутану, натягивают туфли, трижды в день повязывают салфетку, кормят овсяной кашей, жареной говядиной, наливают красного вина.

Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям — сикеру...

Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею;

Пусть он выьет, и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании.

Трижды есть, дважды спать — восемнадцати часов как не бывало. В сутках, к несчастью, — больше; но есть кресло — смотреть в разожженный камин; в биографиях упоминаются еще какие-то лестницы — «внутренние лестницы дома» — вверх и вниз по деревянным ступеням, вверх и вниз, все так же молча.

Как раб жаждет тени,
и как наемник ждет окончания работы своей,
Так я получил в удел месяцы суетные,
и ночи горестные отчислены мне.

Бездарность монархии ограниченной, неограниченной, вообще склонность государственной машины к человеческим порокам, равно и влияние глупости на развитие наук... Через три столетия читатель пожимает плечами: общие места против неизбежных зол; не все ли равно теперь, кто первый догадался. Например, Монтескье в «Персидских письмах» высмеял коварство политиканов, придворную низость, мишуру этикета — несколько раньше, чем Свифт, и даже острей.

Ну, и остался писателем для горстки взрослых: здравый смысл да блестящий слог — наслаждайся кто может.

А Гулливер соскользнул вниз, вглубь ума — и там застрял.

И не с чем сравнить воздействие этих незабываемых словесных картинок (устроенных скорей как чертежи), опровергающих

нашу реальность, столь невинно несомненную — точно такой же реальностью, но взятой в другом масштабе. Декан собора святого Патрика лучше всех знал цену своему изобретению; эффекты смаковал:

«Гулливера везут в столицу; он тушит пожар; придворные дамы в каретах кружат по столу, за которым он сидит; Гулливер стоит прикованный за ногу к своему дому; он тянет за собою вражеский флот; войска расположились на его носовом платке; армия проходит маршем у него между ног; восемь лошадей впряглись в его шляпу...

...Лучше всего было бы изобразить его засунутым по пояс в мозговую кость, или на крыше, в объятиях обезьяны, или стоящим на супружеском ложе фермера и отражающим нападение крыс...»

Занимательная стереометрия как пособие для мизантропа; какая все-таки отрада и свобода — глянуть на человечество свысока.

Глазами Гулливера.

Трусливого раба.

Ну, хорошо: руки и ноги привязаны бечевками к каким-то колышкам, вбитым в землю. И волосы прищиплены к земле, и туловище опутано как бы сетью. Но вот удалось высвободить левую руку, а рванувшись изо всех сил — повернуть голову. Стало быть, ничего страшного: еще несколько энергичных движений — бечевки лопнут, и свобода — и так далее. Подумаешь — осыпают стрелами: каждая не длиннее иголки; лицо прикрыть свободной рукой, а кожаную куртку не пробьют. Вставайте же, мистер Лемюзль Гулливер!

Пленник медлит. *«Я рассудил, что самое благоразумное — пролежать спокойно до наступления ночи, когда мне нетрудно будет освободиться при помощи уже отвязанной левой руки; что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь с какими угодно армиями... если только они будут состоять из существ такого же роста, как то, которое я видел. Однако судьба распорядилась мною иначе.»*

Что же случилось? Накормили, а также дозволили помочиться, только и всего. Но убоготворенный Лемюзль тут же прекращает сопротивление. *«Признаюсь, меня не раз искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человек, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу, и*

швырнуть их оземь. Но сознание (слушайте! слушайте!), что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, а равно торжественное обещание, данное мною им, — ибо так толковал я свое покорное поведение (!!!), — скоро прогнали эти мысли. С другой стороны, я считал себя связанным законом гостеприимства с этим народцем, который не пожалел для меня издержек на великолепное угощение».

Ладно. Гулливер теперь гигант — добродушие гиганту приличествует. Торопиться ему некуда, приключение занятное, неудобства терпимы, и хотелось бы выпутаться, никого не калеча. Растоптать лилипута — не пожелаешь и врагу.

Однако ситуация осложняется. Опоиلى снотворным, перевезли в столицу, посадили на цепь — верней, на девяносто одну цепочку; правда, кормят прилично, и обучают местному языку — *«и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество соизволил даровать мне свободу; слова эти я ежедневно на коленях повторял императору!»*

Вам не кажется, что это уже слишком? Ни малейшего поползновения разбить эти часовые цепочки (а сабля на что? а пистолеты, пули? порох, заметьте, не отсырел) или разрушить конуру — или хоть пригрозить лилипутскому императору (не говоря уже — взять его заложником) — на худой конец, попробовать откупиться (золото в кошельке!)... Нет, наш гордый бритт предпочитает на коленях вымолить свободу; предположим, это военная хитрость. Или снисходительность, а то и деликатность: так и быть, малыши, доиграю по вашим правилам, как будто принимаю вас всерьез.

Вот его, наконец, расковыывают: взяв письменное обязательство не покидать пределов Лилипутии, а также служить подъемным краном, курьером и прочее. *«Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал...»*

Да уж. Но зато теперь — пошутили, и довольно! — эта игрушечная страна вся в его руках — недурно бы, например, мобилизовать ее экономику на строительство лодки; настоящая-то, собственная-то жизнь — далеко за горизонтом; не для того пошел в рейс, чтобы до конца своих дней валяться в собачьей конуре, созерцая действующую модель британского госаппарата... И тут выясняется поразительная вещь: Гулливер за месяцы неволи успел превратиться в лилипута — стесняется своих габаритов, забыл о родине и семье —

и свобода ему ни к чему. Роль подъемного крана — и пожарного брандспойта — его совершенно устраивает: *«В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества...»*

Ну, и так далее. Лилипуты, вконец обнаглев, предлагают Гулливеру, чтобы он дал себя ослепить, — что же он? *«Меня очень соблазнила была мысль оказать сопротивление; я отлично понимал, что, покуда я пользовался свободой, все силы этой империи не могли бы одолеть меня и я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу; но...»*

Удивительное, надо сказать, это но: *«...но, вспомнив присягу, данную мной императору, все его милости ко мне и высокий титул **нардака**, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением отверг этот проект»*.

Неземная наивность? Нет, наоборот: местная, цвета времени, сословная мораль. Это, видите ли, одно и то же. Скажем, в романах сэра Вальтера Скотта положительные исторические персонажи будут разглагольствовать именно так и поступать соответственно. Толкуют, что цель Свифта на этой странице — обелить репутацию некоего Болинброка: дескать, мой благородный друг и бывший покровитель, ныне опальный, в государственной измене обвинен облыжно; настоящий патриот, в смысле — верный вассал, не князь Курбский какой-нибудь; да, лет десять тому назад сбежал в Блефуску (в смысле — во Францию), — а на переворот не покусился — хотя шансы на успех были неплохие, между нами говоря. И как это славно и справедливо, что в позапрошлом году король Георг его простил.

Совершенно не важно, что думал доктор Свифт о виконте Болинброке на самом деле. Но Гулливер тут выглядит слабоумным ничтожеством.

И по прибытии в Блефуску сразу *«лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы»*.

И так на всем протяжении романа: Гулливер повсюду лилипут.

Ученый домашний зверь, безобидное чудовище, покорный слуга. В какой бы новый мир его ни занесло — первым делом отыскивает себе хозяина и моментально усваивает его кругозор, его масштаб. Совсем не чувствует собственного достоинства; приемыш и приживал, примерный пасынок хоть у непарнокопытных; весь — умеренность и аккуратность: смотрите, как хорошо я себя веду! опрятный! скромный!

Презирает свою породу: тупых ньютонов Летающего острова — наравне с грязными йэху в Стране лошадей,

Зато к великану (с особенной охотой — к малолетней великанше) просится на ручки.

Редет облако, и уходит;
так нисшедший в преисподнюю не выйдет.
Не возвратится более в дом свой,
и место его не будет уже знать его.

Не вспоминая о Дон Кихоте (хотя давно ли доктор Свифт зачитывался Сервантесом?) — вообразим на минуту, что Робинзон остров Отчаяния оказался бы владением королевства Бробдингег. География, понятно, протестует: океаны разные — там Тихий, тут Атлантический — то есть наоборот, — но и это не важно: представим, что в один ужасный день над головой мистера Крузо раздаются голоса, подобные шуму водяной мельницы, и вроде как человеческое лицо склоняется к нему с двадцатиметровой высоты.

Самый вероятный исход — летальный; но если Робинзон не умрет на месте (скажем, от разрыва сердца) или не помешается — он не останется у великанов. Скроется при первой возможности, не сомневайтесь; затаится в какой-нибудь щели; отроет окоп, возведет подземный бункер и продрожит в нем до конца — наподобие мелкого грызуна — лесного, ночного, непреклонного. Лишь бы остаться самим собой — Робинзоном Крузо, английским моряком и бразильским плантатором, тысяча шестьсот тридцать третьего года рождения, среднего ума, обыкновенного роста. Лишь бы остаться в своей вселенной — отвечающей его взгляду на вещи. В эту вселенную могут, конечно, вторгнуться какие угодно чудовища, в том числе и великаны (мало ли чего не снилось нашим мудрецам) — но на правах уродливых призраков — пусть хоть многотонных. Признать их действительность, их человечность — все равно что отменить самого себя; ведь существовать — означает чувствовать себя настоящим; *таким, какой я есть*; если это я, моряк из Йорка, разгуливаю по столу меж тарелок и рюмок и отвешиваю поклоны, и падаю, споткнувшись о хлебную корку, — значит, я не моряк из Йорка и сам себе снюсь.

А вот Гулливеру — хоть бы хны:

«Я тотчас же поднялся и, увидя, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, взял шляпу (которую, как подобает благовоспитанному человеку, держал под мышкой), помахал ею над головой и трижды прокричал «ура» в знак того, что все обошлось благополучно».

Недостало бы у бедняги Робинзона ни хладнокровия, ни сметки для столь стремительного метемпсихоза: с утра был джентльмен, учившийся в Кембридже, и жертва кораблекрушения, к полудню — говорящий хомячок, да какой веселый! да какой ласковый: *«... не желая оставлять в ребенке злобное к себе чувство и вспомнив, как обыкновенно бывают жестоки наши дети к воробьям, кроликам, котяткам и щенкам, я упал на колени и, указывая пальцем на мальчика, всеми силами старался дать понять моему хозяину, что прошу простить сына. Отец смягчился, и мальчишка снова занял свое место. Тогда я подошел к нему и поцеловал его руку, которую хозяин мой взял и нежно погладил ею меня».*

Поистине, господин Гулливер — существо без самомнения (после Шекспира, после Сервантеса — кто поверил бы, что Homo sapiens так жалок?); зато как мило справляет естественные потребности: *«Отойдя ярдов на двести, я сделал знак, чтобы она не смотрела на меня, спрятался между двумя листками щавеля и совершил свои нужды».* Как дотошна эта мнимая стыдливость! Помните — задралась выше пояса рубашка, и гнедой лошак подглядел, что *«некоторые части моего тела совершенно белые, другие — желтые или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые — совсем темные»?*

Сильней, чем Гулливера, доктор Свифт презирал только читателя, поэтому не опасался доверить ему свою тайну: что в этой безотказной, безразмерной заводной кукле спрятал маленького мальчика, каким, по-видимому, прожил всю жизнь — обижаясь на судьбу, на королей, на женщин: за то, что не умеют ценить его по достоинству, то есть любить не заимообразно — к дьяволу расчеты и страсти! — а просто за гениальность.

Так отчаянно одиноки, как этот клоун Гулливер, мы бываем в рабских состояниях: в детстве, да еще в старости. Поэтому книга получилась бессмертная.

И зачем бы не простить мне греха
и не снять с меня беззакония моего?
ибо, вот, я лягу в прахе;

завтра поищешь меня,
и меня нет.

Онемел он, я думаю, не оттого, что оглох: наверное, заблудился в одном из кварталов собственного мозга и не сумел — не захотел? — выбраться наружу. Заперся в клетке (как они там называются? нейроны?) и сочинял роман, давным-давно кое-кому обещанный:

«Это должна быть точная хроника двенадцати лет, начиная с — — — — , с того самого момента, когда был пролит кофе, и до времени, когда им часто угощались, то есть от Данстэбла до Дублина, со всеми происшествиями, которые имели место за все эти годы.

Там, конечно же, будет глава о поездке мадам в Кенсингтон; глава, посвященная волдырю; глава о поездке полковника во Францию; глава о свадьбе, с приключениями, связанными с потерей ключа; о подделке; о счастливом возвращении; двести глав о безумии; глава о продолжительных прогулках; и о нечаянности, имевшей место в Беркшире; пятьдесят глав о кратких мгновеньях; глава о Челси; глава о ласточке и кусте; добрая сотня глав о моей собственной персоне и прочем; глава о прятках и шепоте; глава о том, кто это натворил; и о деньгах моей сестры...»

Как вам это нравится, мистер Лоренс Стерн? Что до меня, то не знаю, чего бы я не дал, только чтобы заглянуть в главу о ласточке и кусте.

Между прочим, *swift* — звукоподражательное слово: в староанглийском означало ласточку.

Однажды, увидев себя в зеркале, пробормотал что-то вроде: «Бедный старик!»

А в воскресенье 17 марта 1744, «когда домоправительница забрала со стола нож, к которому декан потянулся, он пожал плечами и, покачиваясь на стуле, произнес: “Я такой, какой есть. Я такой, какой есть”, — после чего спустя шесть минут повторил эту фразу еще два или три раза».

КАКОВА ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

Не приходится сомневаться, что Эмануэль Сведенборг был человек необъятных познаний, к тому же необыкновенно умный. Ведь это он первый установил, что наше Солнце — одна из звезд Млечного Пути, а мысли вспыхивают в коре больших полушарий мозга — в сером веществе. И он предсказал день своей смерти — пусть незадолго до нее, но точно: 29 марта 1772.

Исключительно толковый, правдивый, серьезный, добросовестный представитель шведской знати; почетный член, между прочим, Петербургской АН.

Вот что с ним случилось в Лондоне на пятьдесят восьмом году жизни (1745). Он сидел в таверне за обедом, как вдруг туман заполнил комнату, а на полу обнаружились разные пресмыкающиеся. Тут стало совсем темно среди бела дня. Когда мрак рассеялся — гадов как не бывало, а в углу комнаты стоял человек, излучавший сияние. Он сказал Сведенборгу грозно: «Не ешь так много!» — и Сведенборг вроде как ослеп на несколько минут, а придя в себя, поспешил домой.

Он не спал в эту ночь — сутки не притрагивался к еде, — а следующей ночью опять увидел того человека. Теперь незнакомец был в красной мантии; он произнес: «Я Бог, Господь, Творец и Искупитель. Я избрал тебя, чтобы растолковать людям внутренний и духовный смысл Писаний. Я буду диктовать тебе то, что ты должен писать».

Диктант растянулся на много лет и томов: это было непосредственное Откровение — *«то самое, которое разумеется под пришествием Господа»*, как понял вскоре Сведенборг. При его посредстве

Создатель в последний раз объяснял человечеству смысл Библии, смысл жизни, а также раскрыл тайну нашей посмертной судьбы. Чтобы текст получился как можно более отчетливым — высоконаучным, Сведенборг получил допуск в загробный мир — побывал в раю, осмотрел ад, интервьюировал ангелов и духов; не довольствуясь признаниями умерших, сам отведал клинической смерти.

В результате оказалось, что *«по отрешении тела от духа, что называется смертью, человек остается тем же человеком и живет!»*

«Человек, обратясь в духа, не замечает никакой перемены, не знает, что он скончался, и считает себя все в том же теле, в каком был на земле... Он видит, как прежде, слышит и говорит, как прежде, познает обонянием, вкусом и осязанием, как прежде. У него такие же наклонности, желанья, страсти, он думает, размышляет, бывает чем-то затронут или поражен, он любит и хочет, как прежде; кто любил заниматься ученостью, читает и пишет по-прежнему... При нем остается даже природная память его, он помнит все, что, живя на земле, слышал, видел, читал, чему учился, что думал с первого детства своего до конца земной жизни...»

Чрезвычайно отрадное известие, не правда ли? Даже и слишком: вечной собственной памятью не отравится разве компьютер — и мало кому нужен тамошний самиздат... Но это мы еще посмотрим — а главное, главное: никто не исчезнет. По Сведенборгу выходит, будто исчезаем мы — просто из виду: не из пространства, но за горизонтом — всего лишь с точки зрения других; и теряем не себя — даже и не тело — а только сыгранную роль; расстаемся, правда, навсегда — слово ужасное! — но с кем? с чем? — с декорацией пьесы; ну, и с трупной, разумеется: прощайте, прощайте, действующие лица и исполнители!

При таких условиях смерть не страшней развода — или какого-нибудь железного занавеса: эмиграция в новую действительность, и больше ничего. Если никого не любить — — —

Но в том-то и дело, и погодите ликовать. Сведенборг утверждает, что все остается «как прежде» только на первых порах — обычно не дольше года. За это время умерший человек уясняет — из бесед с другими духами, а также в уединенных размышлениях: что или кого любил он при жизни — и весь преобразуется в ту любовь, которая над ним господствовала. И вот, те, кто любил благо и истину — то есть Бога и ближнего, — те потихоньку становятся

ангелами, плавно погружаются в небеса и там ведут увлекательную жизнь, здесь непересказуемую. А кто любил и продолжает любить больше всего на свете зло и ложь — а именно материальный мир и самого себя, — такие без чьего-либо принуждения, по собственному горячему желанию летят вверх тормашками в ад, чтобы жить среди своих и наслаждаться на свой собственный лад: это дьяволы.

«...Когда дух по доброй воле своей или с полной свободой прибывает в свой ад или входит туда, он сначала принят как друг и потому уверен, что находится между друзьями, но это продолжается всего несколько часов: меж тем рассматривают, в какой степени он хитер и силен. После того начинают нападать на него, что совершается различным образом, и постепенно с большей силой и жестокостью. Для этого его заводят внутрь и вглубь ада, ибо чем далее внутрь и вглубь, тем духи злее. После нападений начинают мучить его жестокими наказаниями и не оставляют до тех пор, покуда несчастный не станет рабом. Но так как там попытки к восстанию беспрестанны, вследствие того что каждый хочет быть больше других и пылает к ним ненавистью, то возникают новые возмущения. Таким образом, одно зрелище сменяется другим: обращенные в рабство освобождаются и помогают какому-нибудь новому дьяволу завладеть другими, а те, которые не поддаются и не слушаются приказаний победителя, снова подвергаются разным мучениям, — и так далее постоянно...»

Странно знакомая картинка, вы не находите? Необходимо добавить, что Сведенборг раньше Канта понял, насколько условны обычные представления о времени, пространстве и причинах. Он уверен — и уверяет, — будто небеса находятся внутри каждого из нас — и притом изрыты множеством адов.

Таким образом, и Сведенборг не особенно утешает. А как хотелось бы, кончаясь на койке — или на мостовой под обувью, например, патриотической молодежи, — успеть подумать, что рано или поздно еще увидишься с кем-нибудь, с кем невыносимо разлучиться. По учению христианской церкви, как известно, такая встреча может состояться лишь в конце времен, после глобальной катастрофы — да еще найдем ли, узнаем ли друг друга в многомиллиардной толпе?

Но если верна гениальная формула Сведенборга: человек есть олицетворение своей любви, — то даже если неверна другая его

догадка: будто человек после смерти навеки пребывает таким, каков он есть по воле своей и по господствующей в нем любви, — жизнь все-таки бессмысленна не вполне.

Как заметил один из внимательнейших читателей Сведенборга: «Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!»

Не знаю, корректно ли другой читатель — Клайв Стейплз Льюис — выводит из проблемы личного бессмертия моральный выбор между тоталитаризмом и демократией: «Если человек живет только семьдесят лет, тогда государство, или нация, или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу лет, безусловно, представляют бóльшую ценность. Но если право христианство, то индивидуум не только важнее, а несравненно важнее, потому что он вечен и жизнь государства или цивилизации — лишь миг по сравнению с его жизнью».

Лично я все-таки подозреваю, что Вселенная — тоталитарная система. Но из этого не следует, по-моему, что убивая нас, она права. Просто она больше ничего не способна сделать с теми, кто стал олицетворением своей любви.

В ПУСТЫНЕ, НА БЕРЕГУ ТЬМЫ

Начали! Строки Пятая и Шестая:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила...

Один ли я вижу — и не галлюцинация ли: что его породила природа в день гнева степей? В день гнева жаждущих степей — гнева жажды, гнева от жажды. Изнемогая, негодуя на судьбу, то есть на свое местоположение — под самым Солнцем, — обезвоженная почва, прежде чем обмякнуть, превратиться в море бесплодного праха, каменеет и раздражается, как проклятием, — исчадием. Извергает, изрыгает, исторгает из последних глубин вещество своей смерти — что-нибудь вроде мертвой воды, вязкой Аш-два-О из антимира — и рисует в раскаленном воздухе огромный восклицательный знак, одетый корой, покрытый листьями, истекающий влагой.

Бывают у Пушкина такие глубокие инверсии — вроде зеркального шифра — с обращенной симметрией. Помните?

Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Или:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует...

По-моему, он так наверстывает опоздание мысли. Когда волнение слишком сильней слов. Ну, что это — можно скрыть высокий ум под легким покрывалом безумной шалости? Старомодная, между нами говоря, сентенция, и с иностранным акцентом. Душа, палящая огнем, — вообще скучает по прохладительным напиткам. Вращая строку на вертикальной оси, Пушкин переходит как бы в ультразвук: таких интонаций голосу не взять (проверь, проверь), нас пронзает не текст, а восторг, пробежавший по тексту.

Так, по-моему, и тут: нить фразы сложена вдвое, а концы перекручены.

Это получилось не сразу. Сперва он написал:

Природа Африки моей
Его в день гнева породила...

И, конечно, проговорился о важном, но без пользы для хода темы. Кто же не знает, что африканская природа своенравна? Смотри лицейскую тетрадь по географии. Анчар, стало быть, сотворен в одну из пятниц на неделе, как случайная гримаса первобытного зла: ботаническая химера. Примерно так, полагаю, и было напечатано в английском журнале: в лесах Малайзии встречается удивительное создание природы; туземцы приписывают *Упасу* дьявольские свойства, и проч. Журнал — чего-то там «Magazine» — читали в Малинниках барышни. А стихи получались — для детей, вроде того, что Африка ужасна — да, да, да! Не в Корнеи ли податься Чуковские?

«На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу, и думала тихонько от них убраться. — Но Петр. Марк. их взбуторажил, он к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обманывает — не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку — дети разревелись; Не хотим черносливу, хотим Пушкина — Нечего делать — их повезли, и они сбежались ко мне облизываясь — но увидев что я не сахарный а кожаный совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок (или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович) я с ними вожусь платонически, и

от того толстею и поправляюсь в моем здаровьи — прощай, поцелуй себя в пупок если можешь».

Он переменял:

Природа пламенных степей
Его в день гнева породила...

Эпитет оказался бесцветным и неосязаемым. Окружающие слова сквозь него потянулись друг к дружке, — и цепочка смыслов (наподобие молекулярной, надо полагать) распалась на природу степей и день гнева.

Это было хорошо, потому что бедняга глагол стушевался — как Станционный Смотритель (еще не написанный), — окончательно вжался в угол, — авось не оконфузит героиню явным фамильным сходством. (Вовсе бы его убрать, да вот беда — незаменим).

Это было еще потому хорошо, что День Гнева — словосочетание величавое и роскошное. Моцарт в нем гремит (тоже не написанный пока), соборный орган у святой Екатерины на Невском:

Dies irae, dies illa
Solvat saeculum in favilla
Teste David cum Sibylla.

Тот день, день гнева, развеет земное в золе, клянусь Давидом и Сивиллой. И так далее по тексту Фомы из Челано, тринадцатый век. Пушкин, однако, латинским гимнам не учился.

Зато читал Ветхий Завет — в частности, пророков, — и у девятого из так называемых малых пророков, у Софонии (ах! нет у меня под рукой Библии на церковнославянском! Обойдемся синодальным переводом):

Близок великий день Господа, близок — и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый!

День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,

День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.

И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их — как помет.

... Ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.

Замечу к слову — незаурядная личность был этот Софония (жил и работал при царе Осии, между 642 и 611 до нашей, естественно, эры). Проницательный геополитик: предсказал крушение нескольких держав, — и его пророчества исполнились. А стихи — в манере Иосифа Бродского, меланхолически-отчетливой:

И прострет Он руку Свою на север — и уничтожит Ассура и обратит Ниневию в развалины, в место сухое как пустыня.

И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки.

Вот, чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «я — и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, пошвыщет и махнет рукою.

Конфликт Создателя с цивилизацией — а природа, соблюдая строгий нейтралитет, остается в некотором даже выигрыше. Хотя не исключено, что производит мутантов (типа ежа голосистого), и Анчар, подобный атомному грибу, — действительно вечный памятник Дню Гнева. Что же, летим прямо в эпилог человеческой истории — полюбоваться, как потомки случайно уцелевших, — вот этих самых вышеозначенных свистунов — одичав, добивают друг друга?

Сомнительно, чтобы Пушкин тратил время в Малинниках, Тверской губернии, Старицкого уезда, на подобные пустышки.

«Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина и стращают мною ребят, как букую. А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт [далее густо зачеркнуто — не Пушкиным — два-три слова] — и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока — скажи это нашим дамам; я приеду к ним [здесь тоже несколько слов густо вымарано — не Пушкиным] — — полно. Я что то сегодня с тобою разоврался».

Нет, пророков оставим пока в покое: нас интересует не чем все кончится, — но с чего все началось.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».

До центра оранжереи прародители человечества, как мы знаем, не доплелись. Кое-кто позаботился об этом специально: для того и лишил допуска (взамен выдав кожаную одежду и лицензию на размножение) — якобы за нарушение правил внутреннего распорядка, а на самом деле — дабы вселенная не превратилась в коммуналку. Ужасная приблизилась вдруг перспектива: Творцу препираться с тварью из-за мест общего пользования — причем без малейшей надежды на окончание времен!

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».

Стало быть, игрушка задумана была как заводная — или на батарейках — в общем, с ограниченным сроком годности. Выходит, предусмотрен был и акт смерти — то есть, конечно же, самоубийства, — разумеется, с применением оружия биологического (какого же еще?): действующего, например, как интеграл уже испытанных идей — дерева и змея.

Рай находился в Эдеме, на востоке. Сад Гесперид — на западе, в Ливии. Адам и его самка побрели к экватору.

Но все-таки не Бог сотворил Анчара! Или, во всяком случае, не вместе с прочей растительностью, не во Вторник, не сразу после неба и земли. Анчар проник в программу не ранее третьего дня — когда решалась проблема освещения:

*«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды...
... И увидел Бог, что это хорошо».*

А впоследствии оказалось, что большее светило нагревает планету неравномерно. Астрофизика прижала биологию. Природа в борьбе с климатом водрузила над пустыней древо яда — как бы из воспламененного солнцем песка...

Не желчью ли рвет собаку, издыхающую от бешенства — от водобоязни?

Пушкин переменял «пламенных» на «жаждущих»:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила

— и вся фраза перестроилась под тяжестью неустойчивого причастия, точно только и ждала: отозваться на внятное ей содроганье подлежащего.

Тень Апокалипсиса исчезла, связь роковых феноменов установилась, — и проступил рисунок инверсии: гнев степей.

Пушкин, без сомнения, заметил — и рассердился, — что стих двойится в глазах. Вымарал было *гнев*. Переменил на *зной*:

... Его в день зноя породила...

Ведь в сущности-то сочинял про жару. Про жарищу в Африке — точно какой-нибудь в конце века Дядя Ваня.

Кошмар сосны о пальме (Гейне только что написал, да кто же читает по-немецки, — а Лермонтов переведет лет через тринадцать). Кому какая пустыня выпала. На версты и версты кругом — безжизненный прах: рыхлая вода. И пальма — или баобаб? — в общем, древо яда наведено морозом на оконном стекле. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева юная свежа в пыли снегов!

Дом стоял на берегу Тьмы, замерзшей реки: одноэтажный, с колоннами из корабельных сосен. Комнаты глубокие, потолки низкие. Днем превесело: три барышни, да еще мамаша. Но по ночам не до них, знаете ли:

«Тысяча благодарностей, сударыня, за внимание, которым Вы удостоиваете Вашего преданного слугу. Я бы непременно пришел к Вам — но ночь внезапно застала меня среди моих мечтаний. Здоровье мое удовлетворительно, насколько это возможно. Итак, до завтра, сударыня, и благоволите еще раз принять мою нежную благодарность».

На записке дата — 3 ноября. (Год, понятно, 1828). Под «Анчаром» — 9 ноября.

Диктатура якобы пролетариата распорядилась включить эти стихи в детскую диету исключительно ради Двадцать первой строки:

Но человека человек

— ну, и Двадцать второй.

За поразительное сходство с обрывком пропагандистского клише. Это же политическая формула несправедливости: «эксплуатация человека человеком». Знайте, милые крошки, что до 1917 года весь мир жил по этой формуле, на нашем лишь Архипелаге отмененной, — вот и Пушкин подтверждает.

Действительно — на Двадцать первой строке история Смерти переходит в историю Глупости. Но замечаешь это позже — в Двадцать третьей:

И раб послушно в путь потек...

Мы еще не понимаем, что в этой-то самой строке один из двоих и становится рабом (и этот новый статус подчеркнут аллитерацией), — но кого хоть однажды не царапнул вопрос: а чего это он такой послушный? трус или, наоборот, герой? Туда и тигр нейдет, — а он без колебаний — только потому что взглянули как-то особенно; подумаешь, взгляд...

Хотя это, наверное, так только сказано, для эффектной сестры таланта: властным взглядом. Что они, телепаты глухонемые? Наверняка маршрут экспедиции был заранее оговорен. А пресловутый взгляд сработал вроде стартового пистолета.

И «человека человек» — игра слов, риторический оборот, упрощенное уравнение. За спиной у типа, умеющего так убедительно смотреть, всегда маячит кто-нибудь еще. Как в «Сказке о рыбке и рыбке»: на плечах топорики держат. Кремневые, не кремневые, — главное, чисто конкретные. Тут попробуй не потеки.

Но все эти наши предположения рассыпаются в предпоследней строфе:

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Чувствуете ли вы, какую насмешку, донельзя презрительную, подсказывает рифма? Нет? Скажите тогда: что позабыл этот царь или там князь под сводом шалаша? Зашел проведать умирающего раба, как демократ и гуманист? Или такое нетерпение любопытства: недоспал, не позавтракал, прибежал за образцами самолично, не доверяя никому, на властный взгляд больше не полагаясь?

Что ж, допустим. Ну, а путешественник-то наш отважно-послушный — как посмел отнести секретные материалы по месту жительства? Ведь несомненно, что властным взглядом однозначно было предписано: доставить в собственные руки. Не явился тотчас по прибытии в резиденцию вождя? Это же бунт и преступная

халатность, никаким плохим самочувствием не оправдать. Чаадаев за подобное промедление поплатился отставкой.

То есть в задаче спрашивается: чей шалаш — и где дворец?

Ответ: речь идет об одном и том же архитектурном сооружении. Дворец представляет собою хижину.

(В «Капитанской дочке», начатой лет через пять: *«Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. “Вот и дворец” сказал один из мужиков; “сейчас об вас доложим”. Он вошел в избу».*)

Каменный век, лыковая лачуга.

Такой, представьте, ад в шалаше.

Два несчастных дикаря. Один возомнил себя Робинзоном — и послал добровольного Пятницу за смертью. Став единственным обладателем боевого отравляющего вещества, сделался — на наших глазах, при нас, в этом самом шалаше, в этой самой строке — непобедимым владыкой. На полет стрелы вокруг — никого, а дальше — чуждые пределы. Этот пассионарный дебил — царь или там князь шести соток раскаленного песка на краю света, от Анчара верстах в двадцати: день туда, ночь — обратно.

Владыка — лыка.

Мы расстаемся навсегда после предпринятой им биологической атаки: успешно распространил смертоносную инфекцию. Неизбежно умрет, скажем, к вечеру: из прутьев Анчара веников не вяжут.

Так что жанр этого стихотворения — басня. О любви к рабству. О любви к гибели. Быть может, и просто — о любви. О жаре. О механизме распространения самиздата и вируса.

Пушкин в этом году все недомогал. Жаловался приятелям на *«нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то-же, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намерение благое, да исполнение плохое»*. Винил некую Софью Остафьевну: за скверный, надо думать, санитарный контроль в столичном центре холостого досуга.

Ну, а в Третьем отделении стихи поняли, как всегда: как в советской школе. Почуяли клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Извольте доказать, милостивый государь, что вы не антикрепостник, не правозащитник презренный! Пушкин возразил:

«... обвинения в применениях <sic> и подрозумениях не имеют ни границ ни оправданий, [ибо] если под [именем] слов. дерево будут разуметь конституцию, а под [именем] словом стрела <свободу> Самодержавие — — —».

Удивительней другое.

Как известно, неандертальцы, подобно динозаврам, вымерли без объяснения причин. Череп последнего найден в Замбии, в пещере, на уступе. Этот человек, по старинке именуемый родезийским, умер 30 000 лет назад, совсем один. И властный ли был у него взгляд — попробуй теперь узнай.

С тех пор в ход пошли кроманьонцы.

И то сказать: Адам был неудачная модель: лицо без подбородка, покатый лоб, выступающие надбровные дуги. Правда, объем мозга не уступал современному, и на закате палеолита неандертальский ВПК пришел к удачным разработкам: изобретение лука сильно способствовало прогрессу. Но в смысле внешности — кроманьонцы не в пример симпатичней: почти как мы.

Так вот: Пушкин, конечно же, про человека из этой пещеры Брокен-Хилл не знал и знать ни в коем случае не мог. Как же примерещилась ему ни с того ни с сего подобная история?

И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, — верней, как бы трубный глас?

ТЮТЧЕВ: ПОСЛАНИЕ К N. N.

Из ранних, не волшебное — но самое страстное сочинение Тютчева:

Когда в толпе, украдкой от людей,
Моя нога касается твоей,
Ты мне ответ даешь — и не краснеешь!

Ученый комментатор подсказывает: стихи обращены, вполне возможно, к одной из будущих жен поэта — к m-me пока еще Петерсон, урожденной графине Ботмер. Как бы ни было, дама великосветская, и странно, что претендент (предположим наугад — subtilный, маленького роста, высоколобый, в очках) заигрывает с нею столь незатейливо. Ее ответные поощрительные телодвижения тоже нелегко вообразить при данных обстоятельствах — не «под длинной скатертью столов», как в романе «Евгений Онегин», а в толпе — стало быть, в гостиной, в бальной зале, в каком-нибудь мюнхенском Королевском саду... Кругом сплошь люди с предрассудками, невольники чести. Мизансцена хуже чем рискованная — тривиальная, во вкусе Дантеса, так сказать.

Все тот же вид рассеянный, бездушный,
Движенья персей, взор, улыбка та ж...
Меж тем твой муж, сей ненавистный страж,
Любуется твоей красой послушной!..

Похоже на эпиграмму в манере Пушкина или, скорее, Баратынского, — только что-то слишком долго летит отравленная стрела, и непонятно, кому несдобровать — кокетке? рогагоноцу? Самое время пошутить презрительно: дескать, скажи теперь, мой друг Аглая, — и так далее. Но ничего подобного не происходит. Наоборот: перебой ямба на перегибе голоса — и стихотворение будто начинается сызнова. Улыбки как не бывало — потому что и не было:

Благодаря и людям и судьбе,
Ты тайным радостям узнала цену,
Узнала свет... Он ставит нам в измену
Все радости. Измена льстит тебе.

Формула выведена (тоже не без памяти о пушкинской строчке: «И богиням льстит измена») — отчетливей некуда. Испытуемая душа истолкована: сладострастная и одержимая демонским задором — измена для измены и всем назло, — такая душа или, верней, такая женщина в прошедшем веке именовалась погибшей.

Стыдливости румянец невозвратный,
Он улетел с младых твоих ланит —
Так с юных роз Авроры луч бежит
С их чистою душою ароматной.

Опять строфа просится в эпиграмму — а звучит горестно. Язвительнейший упрек пояснен примером из ботаники, украшен аллегорической виньеткой — кажется, нельзя оскорбить нежней, учтивей, участливей. Легкомысленный популярный мотив — «Увяла роза, дитя зари» — тут омрачен разочарованием.

Тем не менее высказано все: развращена, и лицемерка, и презирает мораль, и забыла стыд.

Следствие закончено, обвиняемая изобличена — и вместо того, чтобы произнести ей приговор, непрошенный судья, глядя в пространство, решает свою собственную участь:

Но так и быть... В палящий летний зной
Лестней для чувств, приманчивей для взгляда
Смотреть в тени, как в кисти винограда
Сверкает кровь сквозь зелени густой.

Картинка, и верно, приятная, в духе Брюллова. Виноградная гроздь при определенных обстоятельствах предпочтительней розы — даже если речь идет о женщине, причем одной и той же. Но стоило ли тратить столько безжалостных слов, чтобы погрузиться — почему-то с тяжким вздохом, как бы скрепя сердце — в эту идиллию?

Какой-нибудь Жюльен Сорель приходит к подобному решению почти не задумываясь:

«Неужели эти парижанки способны притворяться до такой степени? А впрочем, не все ли равно? Видимость в мою пользу! Ну, так и будем наслаждаться этой видимостью. Бог мой, до чего же она хороша!»

А тютчевское «Но так и быть...» — словно капитуляция после ожесточенного сопротивления.

Жаль, что нет ни малейшего шанса прочесть правильно первую строку.

Почти всегда печатают:

Ты любишь, ты притворствовать умеешь...

Инверсия роскошная, незабываемая, — но, быть может, мнимая. Потому что в рукописях Тютчева на месте запятой — восклицательный знак! И в последних научных изданиях:

Ты любишь! Ты притворствовать умеешь...

Разумеется, Тютчев был не в ладах с нынешней пунктуацией (как Пушкин — с орфографией); вполне вероятно, что его знаки препинания следует иногда читать вроде как нотные.

Доказать неоспоримо, какой знак верней передает устройство фразы, — нельзя. И у автора не спросишь. Но фальшивая запятая несносна.

Получается, что стихотворение «К N. N.» — двояковыпуклое.

Твои моральные устои расшатаны, но так и быть, продолжим игру, — это одно высказывание. Ты любишь, а я вижу тебя насквозь и ничего не замечаю в тебе хорошего — но так и быть, — совсем другое.

В первом случае «Но так и быть...» — означает, в сущности: будь что будет. Коллизия старая, как мир: движенье персей, мла-

дые ланиты затмевают любой категорический императив. Тут уступка соблазну.

Во втором случае роковые эти слова ничем не отличаются от: будь по-твоему. Тут уступка чужой страсти. Надо признать, что это существенный аргумент в пользу восклицательного знака.

В лирике Тютчева наделена силой только женская любовь. Исполнитель мужской роли переживает упомянутое чувство преимущественно в страдательном залоге:

Перед любовью твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюсь тебе...

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!..

В «денисьевском» цикле дело доходит до зависти, до ревливой досады: тебе-то есть кого любить, счастливица, у тебя есть я — или тот, кого ты, по простоте сердечной, за меня принимаешь, а я мало того что не умею чувствовать искренно и пламенно — еще и вынужден стыдиться своей тоски, как вины:

И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

Грамматика Тютчева упорно, ценою тончайших ухищрений уклоняется от употребления глагола «любить» в первом лице единственного числа. Этот зарок нарушается крайне редко — и только если дополнением выступает существительное неодушевленное: гроза в начале мая, например.

А в значении «чувствовать сердечную привязанность к лицу противоположного пола» — как формулирует академический словарь — данный глагол словно и не знает первого лица. Ты любишь — сказано не раз (хотя оборот «твоя любовь» встречается еще чаще); множественное число — мы любим, как бы от лица всех смертных — применяется охотно; и однажды приходится воспользоваться вычурной конструкцией — третье лицо в прямой речи второго:

Не говори: меня он, как и прежде, любит...

Все, что угодно, — только бы не сказать никому «люблю». Неизвестно, с кем заключен такой договор. В двух случаях он вроде бы обойден:

Люблю глаза твои, мой друг...

И еще раз, через пятнадцать лет:

Я очи знал, — о, эти очи!
Как я любил их — знает Бог!..

Но нет — в обоих стихотворениях рассказана чужая любовь — изображена с точки зрения объекта: нельзя без слез любоваться взором, обнажающим такую глубину страсти; сильнее красоты — вспыхивающий в этих глазах угрюмый, тусклый огонь желанья...*

Тютчев помнил, конечно же, что у Пушкина «огонь желанья» подразумевает иное распределение ролей. Тютчев не забывал о Пушкине ни на минуту — и пользовался его стихами так, словно обитал в другой половине мироздания. Как это там, у вас? Душе настало пробужденье? И жизнь, и слезы, и любовь? И нет необходимости уточнять, кто кого любит? И у нас почти точно так же:

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует...

.....
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..

Направление чувства — противоположное. Пушкин любил женщин и не любил весну, — но, правда, надо иметь в виду, что женщины любили его мало, и все не те, и весну он нигде не встречал, кроме России...

А Тютчев ненавидел снеговые равнины, где человек лишь снится сам себе. Что же касается женщин — — —

* — Так вы утверждаете, что Т. не умел любить?

— Отнюдь: что спрягал этот глагол не без некоторой запинки; а значение существительного понимал вполне: *Умерших образ тем страшней, чем в жизни был милей для нас!* — это ведь не о женщине, а о чувстве.

«...Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня. Я могу сказать, уверившись в этом на опыте, что за одиннадцать лет не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня...»

Это пишет Тютчев родителям о первой своей жене.

Им же — о второй — через три года:

«...Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом. Это только дань справедливости. Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы ее чрезмерной...»

«... Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя...»

Это уже о Е. А. Денисьевой — одному знакомому, еще через четверть века.

Любим — следовательно, существую. Быть — значит оставаться в луче влюбленного взгляда («Твой взор, твой страстный взор...», «Твой милый взор, невинной страсти полный...»). Быть — пытка, но ты любишь — и ничто не заставит меня отвернуться.

Любовь женщин заглушала терзавшую Тютчева неусыпно неприязнь к самому себе — настолько тягостную, что нестерпимо хотелось потерять сознание, лишь бы избавиться от чередующихся припадков отчаяния и страха.

«...Только с одним существом на свете, при всем моем желании, я ни разу не расставался, и это существо — я сам... Ах, до чего же наскучил мне и утомил меня этот унылый спутник!..»

«...Я нахожусь в печальной невозможности быть разлученным с самим собой когда бы то ни было. Ах, великий Боже, как охотно перенес бы я эту разлуку!»

«Существование, которое я веду здесь, отличается утомительнейшей беспорядочностью. Единственная побудительная причина и единственная цель, которой оно определяется в течение восемнадцати часов из двадцати четырех, заключается в том, чтобы любой ценою избежать сколько-нибудь продолжительного свидания с самим собою...»

Разрываемый тревогой, Тютчев жил вращаясь и жужжа, словно игрушечный волчок. Больше всего на свете боялся покоя и воли. Цеплялся за любой предлог хоть на минуту отделаться от своего «я».

Судьба его была — бегство: из страны в страну, из семьи в семью, из дома в дом.

Стихи сочинялись чаще всего в дороге, как бы сквозь сон. Тютчев заговаривал ими тоску:

Смотри, как запад разгорелся...

Смотри, как на речном просторе...

Смотри, как облаком живым...

Смотри, как роща зеленеет...

Это стихи о власти зрелищ, о блаженстве расстаться с собою, отказаться от себя.

Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.

Это лирика самоотрицания. Мир ценностей, не известных ни Байрону, ни Пушкину, ни Гейне.

Остается тайной, какими катастрофами этот мир создан.

Каждый найдет в этих стихах себя — но сочинителя не разглядит, а значит — не полюбит.

Автопортрет невидимки.

«Он мне представляется, — пишет Анна Тютчева Дарье Тютчевой, — одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души».

ФОКУС ГАУФА

Вильгельм Гауф родился в ноябре и в ноябре же — ровно через четверть столетия — умер. То и другое с ним случилось в Штутгарте, стоящем на берегах Неккара, каковая речушка и поныне, конечно, протекает себе потихоньку по холмистым равнинам наподобие дрожащей, блескучей биссектрисы между буковым Швабским Альбом и еловым Шварцвальдом. С вершины угла — да со стены почти любого из уцелевших замков! — бывшее королевство Вюртемберг как на ладони: не более чем треть Ленобласти — максимум три Чечни. «Взоры достигают до самой нижней части страны совершенно свободно. Особенно восхитительна картина Вюртемберга при утреннем солнечном освещении. Разноцветные поля напоминают роскошный ковер...» и проч.

Гауф обладал — и то, как видите, недолго — литературным даром вот именно вюртембергского значения. Не всякий обзор немецкой словесности о нем упоминает. Даже и по случаю круглой даты итог бедняге подводят в дробях: дескать, спи спокойно, «кладезь скромных, но полезных изобретений в тени большой литературы»!

И то сказать: какие тузы подвизались на поприще, где он внезапно произрос! Над этой невзрачной травкой — какие шумели дубы! Гауф щеголял в детском платьице — грянул гетевский «Фауст», первая часть. Гауф надел школьную курточку — Германию потряс «Михаэль Кольхаас», новелла Клейста. Гауф завернулся в черный плащ тюбингенского студента теологии — Э. Т. А. Гофман сводил с ума тогдашних умников — «Крошка Цахес» да «Повелитель блох». Гауф облекся в сюртук домашнего учителя — просвещенные немцы смаковали последний роман Жан Поля и «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Вот уже Гауф и сам — удачливый сочинитель, на нем

нарядный фрак, — а что у него в руке? не последняя ли новинка? так точно: «Книга песен» Генриха Гейне, только что из типографии, представьте себе...

Никто из великих людей не удостоил Гауфа ни единым словом. Они же были титаны, сообщая приподнимали над Европой небо, а он — пряткий эпигон, и в литературу ввертелся, как в сферу обслуживания: чего изволите? вот, не угодно ли, роман в манере Вальтера Скотта, а вот ироническая фантазия в духе Гофмана, а вот криминальная повесть о роковых страстях... А это — это просто сказки, тоже для безобидного препровождения времени — сувенирный набор.

За два года, как с цепи сорвавшись, тридцать шесть, что ли, томиков настрочил на все вкусы — сжег мозг и сгинул, как не был, эфемерида захохотала.

Кто поверил бы в те поры, что и через двести лет найдутся на него читатели, что его слабый тенор донесется до весьма отдаленных стран и сердец, а титаны так и застрянут, застынут в родном языке, ими самими же расплавленным?

Вы скажете — на счастливую карту поставил юноша — на товар нескончаемого спроса; попал в жанр, улаживающий первичные потребности ума. Но это вряд ли вся правда.

Разве не замечали вы: нам читать сказки Гауфа вслух — интересней, чем детям — слушать? И, что характерно, лучшие страницы приходится иногда пропускать. Потому что лучшие — как раз те, где Гауф — литератор, прозаик, мастер: то есть нарочито и томительно тормозит, тормозит...

Пожалуй, только «Калиф-аист» устраивает ребенка вполне — поскольку, едва превратившись в аистов, калиф и визирь практически сразу отыскивают сову, а та, в свою очередь, только их и поджидает и сходу предлагает план спасения; дело стало только за тем, что надо пообещать на ней жениться, — минута на размышление — так и быть: раз-два-три! — все снова счастливы.

А, скажем, «Карлик Нос» устроен куда искусней: говорящая гусыня хоть и дочь волшебника, но довольно долгое время пользы от нее никакой, лишь моральная поддержка, убогая чувствительная дружба; сколько случайностей (занятных, конечно, и забавных, реалистических таких) надо связать, чтобы Мими в поисках приправы для паштета, наткнулась на ту самую травку, которая расправит карлика. Потом еще плыть с этой гусыней на остров Готланд (не ближний свет)...

Но вот, наконец, и она расколдована — теперь куда ж нам плыть? А — восвояси, к папеньке с маменькой, чтобы все стало как раньше, как если бы ничего никогда не случилось, как если бы славному мальчику Якобу привиделось во сне, что он сделался вдруг противным уродом и родители его разлюбили. Мнимопроисшедшее стерто, словно гуммиэластиком — карандашный арабеск. Дочь волшебника — прочь, и кулинарное мастерство — побоку — несравненное, столь дорого доставшееся, столь заманчиво расписанное; бывшему Носу и в голову не взойдет им воспользоваться; нет, наш красавчик поддастся в лавочки, — чего еще нужно человеку, какого счастья? Лишь бы все оставалось в точности как было.

Вот и Маленький Мук — спрашивается, куда задевал семимильные туфли, кладоискательную тросточку? Как ребенку понять, отчего владелец таких прелестных предметов не знает и не ищет других радостей, кроме вечерних прогулок — под насмешливые выкрики соседской детворы — по крыше родного дома — того самого, кстати, где проживал когда-то с отцом, который его «недолюбливал, стыдясь его маленького роста»?

Где это видано — у Перро, у братьев Grimm, у Андерсена? — чтобы сказка изо всех сил устремлялась к своему началу, к исходному положению, к тому, чтобы все стало, как было?

Это, по-моему, фирменный фокус Гауфа: он работает с мнимым временем; подделывает мнимое время и продает. Поддельное мнимое время — оно ведь и есть вещество повествования. Разгоняемое мнимой скоростью, создает мнимое пространство...

В русской литературе был автор, чрезвычайно похожий на Вильгельма Гауфа. Его современник, ровесник, тоже графоман из дилетантов, тоже написал подряд несколько повестей и тотчас умер (тоже осенью). Повести его тоже трактовали о тщете попыток ускорения, и, например, знаменитый Белинский одобрял их презрительно: дескать, «от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет — после них можно задать лихую высыпку»!

Разумеется, вы угадали: двойник Гауфа звался Белкин И. П. (1798—1828).

«Но готов побиться об заклад, — говорит Карлик Нос гусыне, — вы не всегда изволили носить это оперенье. В свое время я тоже был жалкой белкой».

УЖАСНАЯ ПОРА

Петербургская повесть в цитатах

I. Накануне вечером

Четверг, 6-е по старому стилю ноября 1824 года, был в рассуждении погоды — даже петербургской! — совсем скверный день. Крайне неприятный.

«Дождь и пронизательный холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью. К вечеру ветер усилился, и вода значительно возвысилась в Неве...»

«Дул сильный ветер от Финляндского залива при великом дожде, вода в Неве стала сильно возвышаться, в 7 часов вечера на Адмиралтейской башне выставлены были сигнальные огни...»

В то время

— часов, думаю, в 10, в 11 —

...из гостей домой

Пришел Евгений молодой,

герой поэмы Пушкина.

Скорей припелся, притащился, — но стих легук — скок-поскок, — словно ливень и ветер нипочем. Из каких таких гостей? Там же, в МВ, сказано, что знатных этот Евгений дичился. А вечеринка насекомых сослуживцев — чаек с картишками — потомуку фамилии, блеснувшей под пером Карамзина, — как-то не личит.

То-то и нет у него фамилии. А также лиц: не получалось у Пушкина его разглядеть. Просто не было таких знакомых: старинный дворянин — коллежский регистратор? Коломна, пятый этаж? Сотрудник «Соревнователя» с идеей теплого местечка в департаменте? Не пушкинского опыта человек. Скорей уж — Поприщин, —

которого Гоголь сочинит через год после МВ. А впрочем, все это вымарано. Проставим единицу, как будто извлечем из множества:

Собою бледный, рябоватый,
Без роду, племени, связей,
Без денег, то есть без друзей,
А впрочем, гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму,
От вас нимало не отличный
Ни по лицу, ни по уму.
Как все, он вел себя нестрого,
Как вы, о деньгах думал много,
Как вы, сгрустнув, курил табак,
Как вы, носил мундирный фрак.

Вот и анахронизм, крохотный такой: мундирные фраки — know-how Николая Павловича, месяцев через тринадцать.

Это все тоже будет вычеркнуто, как только пройдет октябрь 33-го, и с ним — хандра и головная боль. *«Начал многое, но ни к чему нет охоты; Бог знает, что со мною делается. Старам стала и умом плохам».*

Останется только вот это:

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель,

как обошелся бы сам Пушкин с плащом или шубой. Но нашему бедняку, за неимением слуги (в черновиках предполагался, звался Андрей), при таком состоянии атмосферы разумней было бы — сгрустнув — шинель отряхнуть, а еще лучше встряхнуть как следует: промокла, наверное, насквозь.

Почему и спрашивал я: из каких гостей? Он одинок и (через минуту будет намек) сильно влюблен, — где, как не у *нее*, проводить вечера? Оно бы правдоподобно, если она, как замышлялось, лифляндочка по соседству, в Коломне, — а если на правом берегу? — тогда пропадает прекрасное «пришед», и от плавания через обезумевшую Неву не отделаться отсыревшей шинелью; и он увидал бы огни на башне Адмиралтейства, и не думал бы,

...что едва ли
С Невы мостов уже не сняли

И что с Парашей будет он —

— решилось! это будет опять Параша — стало быть, не лифляндочка, — но в домике на Острове! —

Дни на два, на три разлучен.

И наплевать, у кого был в гостях, а важно, что, засыпая, воображает счастье: штатную должность с окладом жалованья, Парашу и детей от нее за сытным семейным обедом, а там, далеко впоследствии — скромный памятник с надписью типа: дедушке Евгению и бабушке Прасковье — благодарные внуки.

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

II. Ночью

Действительно — «в ночь настала ужасная буря: сильные порывы юго-восточного ветра потрясали кровли и окна; стекла звучали от плесков крупных дождевых капель».

Но также и от канонады: из Петропавловской крепости беспрерывно палила пушка; число выстрелов обозначало уровень воды.

Такой порядок был заведен после наводнения 11 декабря 1772 года. Пушкин о нем запомнил — или не знал. Он ведь описывал катастрофу по сообщениям газет — пересказывал, главным образом, отчет Булгарина; у Булгарина про стрельбу — ничего.

Ночка была, короче, еще та. Пока наш Евгений строил свои пасторальные планы, «ужасные бури свирепствовали как в Немецком, так и Балтийском морях, от которых прибрежные города и порты много претерпели».

Далеко на западе, в Гельсингфорсе, другой Евгений — унтер-офицер Баратынский — описывал метеорологическую обстановку как результат активизации дьявола:

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука

Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной рузил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонила огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим...

III. Утро пятницы

Мощная волна, какие, вообще-то, бывают от подводных землетрясений, втеснилась в Финский залив. И слизнула первую сотню жизней, не достигнув еще Петербурга.

«На четвертой версте, по Петергофской дороге, находился казенный литейный чугунный завод; оный стоял на самом взморье; деревянные казармы были построены для жительства рабочих людей, принадлежащих заводу. В 9 часов утра 7-го ноября ветер стал подниматься, вода прибывать, ударили в колокол, чтобы распустить с работы людей: все бросились к своим жилищам, но было уже поздно, вода с такой скоростью прибыла, что сим несчастным невозможно уже было достигнуть казарм, где находились их жены и дети; и вдруг большую часть сих жилищ понесло в море».

— Я бывал в кровопролитных сражениях, — сказал Александр Павлович, император, посетив через день деревню Афтову, — видел места после баталий, покрытые бездушными трупами, слышал стоны раненых, но это неизбежный жребий войны; а тут увидел людей, вдруг, так сказать, осиротевших, лишившихся в одну минуту всего, что для них было любезнее в жизни; сие ни с чем не может сравниться.

Надо полагать, что все одноэтажные деревянные строения на взморье Васильевского острова погибли так же мгновенно и тогда же — около десяти утра.

Только караульня Финляндского полка в Галерной гавани держалась, раскачиваясь на сваях, до самой темноты; рухнула, когда вода — плескавшаяся всклянь с крышей (на которой спасались солдаты и с ними П. И. Греч, брат писателя), стала уже сбывать.

Так что если Параша с маменькой проживали «почти у самого залива» — добежать по берегу до устья и сразу направо — на Кожевенной примерно линии, — они, более чем вероятно, умерли впопыхах, еще прежде, чем Евгений проснулся. Черт их догадал поселиться в таком опасном, почти безлюдном месте — фактически на болотистом пустыре, кое-где вскопанном под огороды! Про угрозу затопления не говорю — хотя, с другой стороны, декабрь 1772-го, а тем более сентябрь 77-го на Васильевском должны были помнить... В общем, косточки жены и дочери на дне Маркизовой лужи — укор покойному главе семьи, нечего все валить на Петра Великого. Кстати, сам-то Евгений, обожатель добродетельный, без году зять, куда смотрел, если на то пошло?

Пушкин — другое дело: он прописал Парашу по такому безнадежному адресу для топографической наглядности сюжета.

III а. Тем же утром, позже

К 10 часам взморье было уже на 16 футов под водой, а в городе ничего еще не знали.

Даже на Васильевском — с Первой линии до Тринадцатой включительно — шла жизнь, как в обычный ненастный день. Скажем, г-н Иордан, ректор Академии художеств, отправился, как ни в чем не бывало, в Академию наук: было одно дело к тамошнему печатнику. Нева поднялась уже к самому основанию деревянной балюстрады, ограждавшей набережную, но почтенный академик старался в ту сторону (правую) не смотреть, тем более что дождь заливал лицо. Однако — *«дойдя до кадетского корпуса при сильном бурном ветре, увидел я, что из водосточных труб (из-под земли) бьют фонтаны, и по Первой линии образовался длинный ручей, который я не решился переступить и воротился домой».*

В других линиях ВО тоже потекли ручьи, по ним плыли *«дрова, ящики, шляпы и разная мелочь»*, развлекая зевак, толпившихся на тротуарах, приблизительно до четверти двенадцатого.

На Адмиралтейской стороне тоже было спокойно, разве что *«вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волнова-*

лась». Плюс панорама странно искажена как бы тревогой. И темный такой — петербуржцы знают — ветер, из-под самых ваших ног бросающий в лицо прах и мертвые листья.

Толпы любопытных — среди них, должно быть, и пушкинский герой (трудовая дисциплина в то царствование была — совсем никуда) — сгрудились у Невы, *«которая высоко вздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега...»*

Фигурки обывателей у гранитного парапета, через который вот-вот перехлестнет вода, — зловещая черно-белая карикатура на известный пассаж из «Онегина» про волны и ножки m-lle Раевской — гравюра пером Булгарина. Эти строфы МВ — чистый, неразбавленный, хорошо зарифмованный Фаддей Венедиктович. А вот и приближение роковой минуты:

«Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиною, над которою распростерт был туман от брызгов волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег...»

III в. Днем

На часы никто не посмотрел, но все сходится, что это случилось — вот что Нева, *«как зверь остервенясь, на город кинулась»* — где-то между четвертью и половиной двенадцатого. И что всё происходило с огромной скоростью и очень страшно.

«Ничего страшнее я никогда не видывал. Это был какой-то серый хаос, за которым туманно очерчивалась крепость. Дождь косо разносился порывами бешено завывающего ветра. В гранитную набережную били черные валы с брызгами белой пены — и все били сильнее и сильнее, и все вздымались выше и выше. Нельзя было различить, где была река, где было небо... И вдруг в глазах наших набережная исчезла. От крепости до нашего дома забурило, заклокотало одно сплошное судорожное море и хлынуло потоком в переулок» (в Мошков, на углу которого с Дворцовой набережной проживал одиннадцатилетний автор мемуара, граф Соллогуб).

Люди с набережной бросились кто куда. Евгений, по-видимому, забежал за Адмиралтейство (Нева гналась за ним) и направо бульваром — сперва по колено, затем — по пояс, пока не взобрался

на знаменитого каменного льва. О том, чтобы вернуться домой, в Коломну, нечего было и думать.

«Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невой составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединилась, подобно всем каналам, с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебель...»

В Торговую улицу, как раз Грибоедову под окно, занесло из устья Невы корабль, ходивший между Петербургом и Кронштадтом.

Суда, барки с сеном и углем, сорванные с якорей и точно по воздуху перенесенные в улицы и дворы, поражали взгляд сильнее всего.

На Петроградской стороне две барки налетели было на ограду Троицкой церкви. Они были такие огромные, что в церкви сделалось темно, как ночью. *«Между тем вода начала уже входить в церковь; священник предложил всем находившимся в оной, чтобы их исповедать и причастить, полагая, что сии барки, ударясь об церковь, разрушат оную, и что их смерть неизбежна; но, к счастью, в ограде было несколько больших берез, которые, вероятно, остановили стремление барок...»*

III с. После полудня

Около 12 часов показалась царская скорая помощь: восемнадцативесельный вельбот и двенадцативесельный. На корме одного сидел генерал-губернатор Милорадович, на корме другого — генерал-адъютант Бенкендорф. Это вошло в миф и в анекдоты. Миф — Пушкин записал:

Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным,
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы...

Но что значит — царь молвил? По факсу, что ли, передал? Надо так понимать, в гвардейском морском экипаже с вечера объявлена была боевая готовность на случай эвакуации августейшей семьи. Но уже к часу пополудни стало ясно: дворец устоит. Разлившись на обширном пространстве, вода прибывала медленно. Вельботы

курсировали вокруг Зимнего, кое-кого спасая: то с разбитой барки, то из тонущего деревянного этажа. Не забыть и часового, унесенного прямо в караульной будке от Летнего сада: будто бы течение швырнуло солдата под дворцовые окна, и будто бы он ружьем отдал монарху честь!

Про часового Пушкин начал, да бросил. Другой анекдот зарифмовал было, но тоже убрал. А слышал его от Вяземского. А у Вяземского он записан так. Граф Варфоломей Васильевич Толстой имел привычку просыпаться всегда очень поздно. «Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он в Большой Морской), смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. “Граф Милорадович изволит разъезжать на 12-весельном катере”, — отвечает слуга. — “Как на катере?” — “Так-с, ваше сиятельство: в городе страшное наводнение”. Тут Толстой перекрестился и сказал: “Ну слава Богу, что так; а то я думал, что на меня дурь нашла”».

Как видим, в центре города никакой паники. Страх скоро улегся. Кто утонул, те утонули на окраинах и сразу же. Трупы найдутся под завалами завтра. Сосчитают: погребло 480 человек (правительство поначалу полагало — тысяч пятнадцать), домашнего скота 3609 голов, разрушено и снесено домов и строений 462, повреждено снаружи 2039 и внутри 1642.

Вообще суббота, Михайлов день, будет самая угрюмая. Нынче же, 7-го, в пятницу, из этажей выше второго — зрелище увлекательное, прямо библейское, 7-я глава Бытия.

С балкона Зимнего — а еще лучше с крыши Академии художеств, куда, пообедав, взобрался наш знакомец Иордан: *«ужас представлялся глазам: барки с сеном и другие суда не плыли, а летели против течения, ни дорог, ни набережен не было видно, и только дома торчали из серой бушующей стихии»*.

Грибоедов на чердаке в Коломне, растворив слуховые окна, перебежал от одного к другому:

«С правой стороны (стоя задом к Торговой) поперечный рукав на место улицы между Офицерской и Торговой; далее часть площади в виде широкого залива, прямо и слева Офицерская и Английский проспект и множество перекрестков, где водоворот сносил громады мостовых развалин; они плотно спирались, их с тротуаров вскорее отбивало; в самой отдаленности хаос, океан, смутное смешение

хлябей, которые повсюду обтекали видимую часть города, а в соседних дворах примечал я, как вода приступала к дровяным запасам, разбирала по частям, по кускам и их, и бочки, ушаты, повозки и уносила в общую пучину, где ветры не давали им запружать каналы; все изломанное в щепки несло, влеклось неудержимым, неотразимым стремлением...»

По бульвару мимо Евгения проплывали заборы, «плоты, мосты, двух этажные даже дома», кареты, сундуки, туши лошадей и собак, «мебель, гробы и простые надгробные кресты, смытые со Смоленского кладбища...» Но он смотрел, мы помним, в одну точку.

И сам сделался за эти часы достопримечательностью. Многие видели его и рассказывали о нем, прибавляя подробности по вкусу:

«Другой случай в день наводнения был с каким-то Яковлевым: он прогуливался по городу, и когда вода начала уже прибывать, спешил домой; но, подойдя к дому князя Лобанова (теперешнему военному министерству), он с ужасом увидел, что вода препятствует ему идти далее. Для спасения жизни Яковлев решился влезть на одного из львов, стоявших у этого дома, и там просидел все время наводнения»

После трех, говорит Иордан, — а Булгарин говорит — еще раньше, в третьем часу пополудни, — нет, ровно в три, говорит Венецианов, — пробило четыре, стоит на своем Соллогуб, — вода начала убывать. И одновременно смерклось.

IV. В сумерках

Природа живет по новому стилю. То есть петербургское солнце 7-го ноября в XIX столетии заходило, как 20-го ноября в нашем, — в 16.14.

Но условного, т. н. поясного нынешнего времени еще не существовало. Как и советского декретного. Наш циферблат не годится. Только ясно, что когда Евгений слез со своего льва и похлюпал через Сенатскую площадь, — смеркалось. А когда, обогнув Медного, вышел к Неве, — тьма наступила кругом, как выражается граф Соллогуб, — гробовая. Фонари были все опрокинуты и разбиты, вместо неба — черные эшелоны тяжелых стремительных туч.

Тут единственная в МВ недостоверность, по-современному сказать — лажа. Разумею встречу с беззаботным перевозчиком. Неот-

куда было ему взяться, — нелепо было и звать, — и лодок целых не осталось. И чрезмерная все-таки беззаботность (если только это не был Харон): такие волны, такой ветер, и хоть глаз выколи, ни единого ориентира. Как бы ни был нужен гривенник.

Но Пушкину еще нужнее был эффект: как бродит несчастный по взморью в абсолютной темноте, в леденеющей грязи, среди развалин и обломков, и громко разговаривает сам с собой,

И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

А вот как было на самом деле.

«Капитан Луковкин, имевший домик на Канонерском острове, 7-го числа отправился в Адмиралтейскую сторону за покупками к мясникам (он — Михайло), оставя дома жену, сына-офицера, накануне из полка приехавшего, трех дочерей и человек трех людей; был там остановлен водою до утра 8-го числа, потому что перевоз не учредился; дома своего не нашел и места не узнал, а отыскал дом на Гутуевом острове и в нем жену в объятиях детей мертвыми, людей также — бедной доброй Луковкин потерял разум».

V. Потом

Низы еще долго — до самого, полагаю, Рождества — судачили, умиляясь и завидуя, про неслыханные денежные компенсации родственникам утопленников, малому и среднему бизнесу.

«Государь учредил комиссию: 1-е, дать приют лишенным своих кровов; 2-е, снабдить пропитанием; 3-е, пожаловал миллион рублей более потерпевшим, в соразмерности каждого состояния. Вся Россия приняла участие, и каждый класс людей по силе возможности делал приношения, в городах открыты подписки и собраны великие суммы. Между прочими пожертвованиями в Москве благородные обоего пола любители музыки дали концерт, в числе отличившихся своими дарованиями были: пением княгиня Зинаида Александровна Волконская, граф и графиня Ричи; на фортепьяно сенаторша Рахманова и дочь сенатора девица Катерина Петровна Озерова. Сим концертом собрано 22 000 рублей».

Чайльд-Гарольды подсвистывали насмешливо, как Пушкин из Михайловского по молодости лет: ничто проклятому Петербургу! вот прекрасный случай вашим дамам de faire bidet!

Верхи обдумывали бедствие: возможно ли было предусмотреть, предотвратить? Божья воля или градостроительный просчет?

Государь был так огорчен, что, по-видимому, позволил себе вслух — конечно, с присущей ему деликатностью, — слегка усомниться в непогрешимости пращура: не действовала ли в нем по временам — вздохнул — недальновидная гордыня? Что бы кто ни говорил, а мы должны ждать милости от природы, поскольку

С Божией стихией
Царям не совладеть.

Соответственно, в высшем обществе так и установилось: Александр — ангел (*«душа нашего Александра, кажется, имеет что-то нечеловеческое, в нее сам Бог преселился; никакой отец не может более иметь попечения о детях, как он; он в бурю хотел сам броситься на катер спасать плывущих в домах по Неве, для которых отправил Бенкендорха. Никаких не оставил развалин, не осмотря, и трупов, не орося слезами. Народ говорит: “У него, у батюшки, слезы замирали, уста запекались, глядя на беды наши”»*), а Пьер Легран, *entre nous soit dit*, не всегда имел достаточно масла в своем фонаре.

И очень даже верноподданные, номенклатурные люди баловались этой дозволенной фрондой:

«Страшно подумать об участи Петербурга; если уже было два наводнения, а последнее сильнее, то кто может ричаться, что не будет последующих. Кажется, Петр Великий лучше бы сделал, если бы основал свою столицу на Пулковской горе, десять верст от Петербурга по дороге к Царскому Селу, и будто один тамошний старожил сказывал ему, что вода нередко потопляла в прежние времена все до самой сказанной горы; но сие сказание есть только одно предание, думать надобно, что столь прозорливый и осторожный монарх, быв предупрежден, не решился бы свою столицу подвергнуть таковым угрожающим бедствиям».

При Александре это был хороший тон, при Николае сделался плохим, отчего и МВ напечатан лишь после смерти автора, да и то испорченный Жуковским в полную силу трусливой дружбы.

А тогда, в первые по наводнению дни, даже какая-нибудь графиня Толстая, Анна Петровна, супруга вышеупомянутого графа Варфоломея с Большой Морской, могла безбоязненно наградить Медного неприличным жестом. Наводнение, пишет Вяземский,

«произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что еще задолго до славянофильства дала она себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть перед ним язык!»

Эту вздорную выходку неумной барыни Пушкин преобразил в бред безумного бомжа. Сам же, по-видимому, остался при догадке, разбившей тому рассудок: что, быть может, и вся-то человеческая жизнь не что иное,

как сон пустой,
Насмешка неба над землей.

Царь и герой не сошлись мечтами, — кто же виноват? И насчет Бога никак не споешь диаконским басом: благ и человеколюбец — иначе как в шутку. Читайте Вольтера — «Поэму о Лиссабонском землетрясении» (которое, между прочим, поглотило 30 000 человек в 1775 году, по новому стилю 1 ноября.) Не стоит, значит, грозить ни воображаемому шведу, ни металлической кукле, — и ссориться с мертвыми, и строить города *назло*, и вообще сходить с ума. Все и так слишком грустно, слишком таинственно, слишком красиво. Счастья, разумеется, жаль.

«Если царь позволит мне Записки, то у нас будет тысяча 30 чистых денег. Заплотим половину долгов и заживем припеваючи».

Согласив судьбу с геополитикой на ничью — не ради них, в конце-то концов, страдал и наслаждался, — заглушил, как мог, траурную флейту гвардейским маршем и возле последней строчки Вступления («Печален будет мой рассказ») приписал точное болдинское время: 1 ноября 1833 года, 5 часов, 15 минут.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. МУЗЫКА ДЕЛЬВИГА

Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас.

А. С. Пушкин — Е. М. Хитрово

Антон Дельвиг, забытый сочинитель, погребен в январе 1831 года на Волковом кладбище. Над костями, ушедшими в толщу болота, — ни плиты, ни креста.

Одноименный персонаж из мифологии, заменяющей нам историю литературы, — вялый увалень, ленивец сонный, лицейский Винни Пух — числится за Некрополем Александро-Невской лавры; там надгробия Дельвига, Данзаса, чье-то еще составлены рядком согласно строфе гениального соученика покойных: коллектив курса неразделим и вечен, как душа.

Детский мундирчик присвоен Дельвигу навсегда — и простодушный взгляд сквозь очки. Даже есть такой портрет, якобы с натуры, хранится в Пушкинском Доме, — но:

— В Лицее мне запрещали носить очки, — жаловался Дельвиг одному приятелю, — зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался в них после выпуска!

Неизвестный художник приврал — с наилучшими намерениями, конечно; сходство соблюдено, а притом осталось напоминание, чем данная личность интересна: однокашник Пушкина, младший парнасский брат, верный оруженосец.

Дельвиг, действительно, сразу, намного раньше всех, догадался, в чьем времени живет, и свою роль в толпе исполнял без страха и упрека.

Жизнь Дельвига сосредоточена была на литературе. Литература состояла из Пушкина и его современников. Подобный подход упрощает существование писателю, как Дельвиг, не подверженному зависти: будь современником полезным, надежным, а сам хоть не пиши.

Даже в ранней молодости он о собственной литературной славе помышлял с улыбкой: не забавно ли вообразить, как через сколько-то столетий лапландские какие-нибудь археологи откопают в руинах Петербурга чудом сохранившийся ларец со стихами бедного Дельвига:

Пышный город опустеет,
Где я был забвен,
И река зазеленеет
Меж упавших стен.

Суеверие духами
Башни населит,
И с упавшими дворцами
Ветр заговорит...

Красиво, не правда ли? Что, если эти — и остальные — стихи по случайности уцелеют?

Сколько прений появится:
Где, когда я жил,
Был ли слеп, иль мне родиться
Зрячим Бог судил?

Кто был Лидий, где Темира
С Дафною цвела,
Из чего моя и лира
Сделана была?..

Неуверенные, надо думать, получатся ответы.

Уже и сейчас нелегко дознаться, например, какого роста был барон Дельвиг. Вероятней, что высокого — и тучен (на Пьера

Безухова похож? на князя N — мужа Татьяны Дмитриевны, урожденной Лариной?). Некто — отнюдь не друг — роняет вскользь, что барон был человек благородной наружности. В мемуарах родственника сказано: аристо-кратическая фигура, — но это скорей об осанке и выдержке.

Тут изображение двоится. С одной стороны: «всегда отменно хладнокровный», «чрезвычайно обходительный со всеми»; «хотя и любил покутить с близкими, но держал себя очень чинно»... Неприятеля же печатно — и прозрачно — намекали: сильно попивает. Как ни странно, старший парнасский брат в энциклопедии русской жизни дал этим толкам свежую пищу: Ленский накануне дуэли, ночью, один, сам себе декламирует только что сочиненные стихи,

Как Дельвиг пьяный на пиру.

Очевидно, что это шутка, и самая что ни на есть дружелюбная, — но, согласитесь, почему-то не смешная; автор слишком сердится на Ленского за «любовную чепуху», которую сам же вместо него зарифмовал, — а она предсмертная (и чем хуже «стрелой пронзенный» — «мрака заточенья» из классического шедевра? — такой же алгебраический оборот), — словом, Ленского жаль, да и Дельвиг, если вдуматься, выглядит очень уж одиноким.

Собрание невеселых анекдотов и недобрых острот — почти вся биография Дельвига.

Ведь это он в день знаменитого лицейского экзамена спозаранку дождался на лестнице приезда Державина, чтобы поцеловать руку, написавшую «Водопад», — и дождался озабоченного вопроса:

— Где, братец, здесь нужник?

Это он вызвал Булгарина на дуэль, а наглый Фаддей через Рылеева, своего секунданта, отказался стреляться, передав, что видел на своем веку, дескать, больше крови, чем барон Дельвиг — чернил.

И ему подарил Пушкин человеческий череп — уверяя, будто это череп одного из баронов Дельвигов, средневековых рыцарей, и выкраден из церковного склепа в Риге:

«Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нем табак. Он рассказывал мне его историю, и, зная, сколько я тебя люб-

лю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием...»

А какой славной эпитафией проводила Дельвига на тот свет А. П. Керн, гений чистой красоты:

«Вчера получил я письмо от Анны Петровны, — записал в дневнике вышеупомянутой Вульф, любовник и двоюродный брат этой дамы, — в конце которого она прибавляет: “Забыла тебе сказать новость: барон Дельвиг переселился туда, где нет «ревности и воздыханий»”».

Даже Вульфа покорило, и он добавляет с укоризной: «Вот как сообщают о смерти тех людей, которых за год перед сим мы называли своими лучшими друзьями».

Самая смерть Дельвига обратилась в скверный анекдот, удивительно распространенный. Строго говоря, советский аттестат зрелости обязывает иметь о Дельвиге такие сведения: друг детства (ясно — чей) — сочинил популярный текст «Соловей мой, соловей, Голосистый соловей» (далее неразборчиво) для колоратурного сопрано — и загублен самодержавием.

Отличники вспомнят и подробности: по доносу Булгарина распечен Бенкендорфом, вследствие чего умер от простуды, — но эти подробности только вредят эффекту правдоподобия.

Чтобы генерал Бенкендорф — хоть и правнук бургомистра Риги, то есть дворянин всего лишь в четвертом поколении, но все же человек светский, — топал ногами на барона Дельвига, потомка крестоносцев, и орал благим матом: в Сибирь тебя упеку! и Пушкина твоего! и с Вяземским вместе! — само по себе сомнительно; вероятно грубо и, сверх того, совершенно наперекор явному — пусть показному — благоволению, знаками коего царь приручал как раз в это время и Вяземского, и особенно Пушкина (кстати — неужели Дельвиг не известил бы Пушкина о новой угрозе?).

Но допустим, что Бенкендорф позволил себе забыться до последней степени (недаром же ему пришлось через несколько дней принести извинения), — возможно ли, чтобы Дельвиг — серьезный, храбрый, невозмутимый Дельвиг — пал смертью Акакия Башмачкина?*

Допустим и это. Но каков же диагноз? Башмачкин — тот, судя по всему, подхватил дифтерию. Выбежал от Значительного Лица

* Имел ли в виду Гоголь эту историю? Или, наоборот, благодаря повести «Шинель» сплетня сделалась убедительной?

потный, потерянный («В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим») — шел по выюге разинув рот — «вмиг надуло ему в горло жабу» — на другой день обнаружилась у него сильная горячка — на третий наступила смерть.

Дельви́г простудился через два месяца после визита к Бенкендорфу — 5 января, в понедельник (в первый же день, как вышел из дому; все это время боролся с приступом всегдашней своей ипохондрии; так что шефу жандармов на Страшном Суде придется все-таки вспомнить и Дельвига).

«Но эта болезнь, простуда, очень казалась обыкновенною, — пишет Плетнев Пушкину. — 9-го числа он говорил со мною обо всем, нисколько не подозревая себя опасным. В Воскресенье показались на нем пятна. Его успокоили, уверив, что это лихорадочная сыпь, и потому то он принял меня так весело, сказав, что теперь он спокоен...»

Позвольте, позвольте. Что за пятна? И что это значит — «его успокоили»? Отговорили звать врача?

В воспоминаниях двоюродного брата написано, что в роковое это воскресенье — 11 января — Дельви́г *«почувствовал себя нехорошо»*. Но перемогся — видно, успокоили, — сел за фортепьяно, сыграл и спел сам себе (см. выше, о Ленском) несколько песен собственного сочинения. Потом заехал Плетнев, и, как мы уже знаем, Дельви́г рассказал ему о пятнах на теле, и что это — ему объяснили — никакие не пятна, просто сыпь, и *«что теперь он по крайней мере совсем спокоен»*.

Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так не с охотою мы старый сменяем халат.

Плетнев уехал без какого бы то ни было предчувствия — а Дельвигу вскоре «сделалось хуже» (по осторожным словам родственника) — должно быть, он потерял сознание и больше уже не приходил в себя. Два доктора, прибывшие к вечеру, «нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим мало надежды к выздоровлению». В среду в 8 вечера он скончался. О последних трех днях и двух ночах никто из докторов, родственников и друзей никогда не пророчил ни слова. В четверг баронесса «приказала» Сомову — ближайшему сотруднику Дельвига по «Литературной газете», — чтобы он написал поэту Баратынскому и его брату Сергею Абрамовичу в Москву: пусть скажут *«всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его, что Соловей*

наш умолк на вечность». О состоянии вдовы Сомов в этом письме сообщает: «Она тверда, но твердость эта неутешительна: боюсь, чтобы она не слишком круто переламывала себя». В этот же день обнаружилось: чуть ли не все наличные деньги — шестьдесят тысяч — из кабинета Дельвига кем-то украдены. В субботу, в день его именин, потомка крестоносцев свезли на кладбище для бедных. В июне Софья Михайловна тайно обвенчалась с Сергеем Баратынским*.

Напечатано письмо, в котором она объясняет задушевной подруге, отчего не было ни малейшей возможности износить башмаки: во-первых, новый муж любит ее шесть лет и дольше терпеть не в силах; во-вторых — она беременна.

Самодержавие ли сгубило Дельвига? Точно ли Бенкендорф один виноват в его смерти? Если бы Пушкин верил этому слуху, — разве сумел бы он поддерживать в бесконечной переписке с генералом — вскоре графом — нужный тон? («...Совестясь беспокоить поминутно Его Величество, раза два обратился к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастье найти в Вас более снисходительности, нежели в ней».) Наперснику императора, понятно, не нагрубишь, — но комплименты сатрапу, во-гнавшему в гроб Дельвига? Невозможно.

Есть странности в этой мрачной истории. Но лучше думать, что Дельвиг умер своей смертью, предпочтя ее — как Пушкин впоследствии — «обыкновенному уделу» неубитого Ленского. Он, видите ли, надеялся на вечную взаимную су-пругескую любовь — и не сумел смириться с проигрышем — и кого же тут винить?

За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
Ты как дитя мне говорила:
Верь сердцу, я тебя люблю!

.....
И много ль жертв мне нужно было?
Будь непорочна, я просил,
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил.

* Об этом — самом младшем — брате певца Пиров и грусти томной ничего не известно толком. Какие-то пустяки: увлекался медициной — был тяжело ревнив — Софью Михайловну держал в ежовых рукавицах. Впрочем, она во втором браке вела себя безупречно; дожила до глубокой старости.

В автографе стихотворения каждая строчка старательно зачеркнута. Этот упрек Софья Михайловна посчитала бы несправедливым. Ведь женщины так редко говорят правду не оттого, что не хотят: просто они ее не знают. В 1825 году, летом, невестой, она любила Дельвига: *«И кто только может не любить его! Это — ангел!»* — писала она в провинцию своей единственной confidentке.

И в конце того же года, 22 декабря, через два почти месяца после свадьбы: *«Ах, мой друг, я горю, я люблю так, как никогда не думала, что можно любить, я люблю больше, чем любила до брака, я обожаю...»*

Чуть ли не в этом же письме рассказаны политические новости: неделю назад случилось в столице возмущение; много арестов, кое-кто взят из знакомых — Каховский, кто-то еще...

Она была очень молода и не считала нужным помнить, что не далее как весной Каховский был ей дороже всех на свете:

«...Я старалась уверить себя в том, что я вылечилась, не вылечившись в действительности... Если бы я могла выйти за Пьера! Боже мой, что случится еще со мною? Откуда это, что я все еще принадлежу вся ему...»

В сущности, ничего не было. Летний прошлогодний роман. Несколько недалгих прогулок, несколько разговоров. Каховский торопился. В имение Крашнево (Ельнинского уезда Смоленской губернии), где гостил действительный камергер Салтыков с восемнадцатилетней дочерью Софьей, Каховский прибыл 2 августа вечером. 15 августа он уже расспрашивал девочку: сумеет ли она уломать отца, если полюбит кого-либо, кто не совсем ему по душе, — и наставлял, что так бывает сплошь и рядом. 18 числа довольно отрывисто признался в любви, потребовал немедленного ответного признания и, разумеется, добился его легко. Откуда ей было знать, что проигравшись в пух, Каховский одержим надеждой подцепить богатую невесту? Он был так похож на ее любимого героя — на Кавказского Пленника! Он уверял, что знаком с самим Пушкиным, и в доказательство читал неопубликованные стихи. Он говорил, *«что ему мало вселенной, что ему все тесно, и что он уже был влюблен с семи лет»*... Его счастливая избранница тотчас побежала к тетушке (хозяйке имения, кузине Каховского) — рассказать, что судьба ее решена; тетушка поспешила к дядюшке, тот — к папеньке, камергеру Салтыкову. Папенька воскликнул: *«Они убьют меня!»* — и «с ним сделались его спазмы», — после чего забылся сном, про-

снувшись же, просил никогда более не напоминать ему об этом ужасном происшествии. Вольнолюбивый был представитель передового дворянства, о Руссо не мог говорить без слез, и в «Арзамасе» некогда состоял, — однако же отдать единственную дочь за странствующего романтика пожадничал.

Каховский уехал, и Софья больше никогда его не видела. Под Рождество он объявился в Петербурге и засыпал ее письмами, предлагал бежать из дома и тайно с ним обвенчаться где-нибудь за городом. 15 января 1825 года вечером прислал решительное требование: или завтра же побег, или — *«...Я не живу ни минуты, если вы мне откажете!.. Не будете отвечать сего дня, я не живу завтра — но ваш я буду и за гробом»*.

Бежать из дому Софья не решилась. Она была влюблена в героя поэмы — но с охотой пошла замуж за ближайшего друга ее автора, предвкушая, как станет звездой литературного салона. Дельвиг полагал — и другие так думали, — что не влюбись он в мае, не женись в октябре — непременно замешался бы в заговор. И попал бы в лучшем случае на поселение — хотя бы за то, что знал и не донес. Вместо этого 14 декабря он прошелся по бульвару, постоял возле кондитерской на углу площади и Вознесенского проспекта; в кондитерской теснились предводители восстания* (там и Каховский, наверное, поедал последний в своей жизни пирожок; если бы Софья не трепетала перед отцом, — глядишь, и Милорадович остался бы в живых, и Стюрлер... и Каховского, значит, не повесили бы). Дельвиг не зашел в кондитерскую — поспешил домой, чтобы жена не волновалась.

Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить,
Когда желанья и мечты
К тебе теснились жить,
Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия, —
Зачем тогда, в венке из роз,
К теням не отбыл я!

* Никогда не пойму, как это вышло: карточные залпы едва не в упор по неподвижному строю, сколько убитых — и среди них ни одного заговорщика! Но это к слову, кондитерская ни при чем, разумеется.

Дельвиг мало сочинил бессмертных текстов: эту «Элегию» (и то посередке — провал), еще три-четыре строфы в разных стихотворениях — и только. Но без него нечто важное осталось бы непронесенным, беззвучным. Не думаю, что он вычитал у Шекспира это меланхолическое негодование, это чувство, будто живешь ради чьей-то неумной, непристойной, безжалостной, до слез обидной шутки. Положим, и Пушкин знал, что судьба — огромная обезьяна, которой дана полная воля («Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего»), — но находил удовольствие в том, чтобы ее дразнить.

Из людей этого поколения только Дельвиг и Тютчев не подражали Пушкину ни в стихах, ни в жизни — не хотели и не могли. Внутренняя музыка у каждого из них была совсем другая. Вот и четырехстопный ямб в «Элегии» нисколько не похож на общеупотребительный; темп и фразировка, падение рифм дают интонацию, до Дельвига в русской речи неизвестную:

Не нарушайте ж, я молю,
Вы сна души моей
И слова страшного «люблю»
Не повторяйте ей!

Дельвиг редко пользовался ямбом, часто обходился без рифм, вообще предпочитал асимметричную мелодику и несуществующие жанры. Пушкин ценил в его идиллиях «прелесть более отрицательную, чем положительную»; это справедливо и для русских песен Дельвига: они не слезливы и не слащавы; равно для идиллий — они не знают покоя.

Сквозь его стихи проглядывает характер необычный, страстно-задумчивый, горестный, скрытный. «Спрашивали одного англичанина, — говорит князь Вяземский, — любит ли он танцевать? «Очень люблю, — отвечал он, — но не в обществе и не на бале, а дома один или с сестрою». Дельвиг походил на этого англичанина».

Да. Но зато ни капельки не походил на модного литературного героя. В половине 20-х годов, как известно, Кавказские Пленники отправились — не своей охотой — на Кавказ, или в Сибирь, или еще дальше, — но зато расплодилось, особенно в нечерноземных губерниях, тьма Онегиных, то есть как бы Пушкиных без дарованья...

Одного такого звали Алексей Вульф. Зимой 1827-го они с настоящим Пушкиным в одном экипаже прибыли в Петербург (имея в багаже среди прочих вещей череп для Дельвига) и на следующий по приезду день явились с визитом в домик на Владимирской улице, где проживали Дельвиги, где наняла недавно квартиру и Анна Петровна Керн, успевшая уже сделаться приятельницей баронессы. (Дельвигу это, конечно, не нравилось, потому что Анна Петровна, милый демон, к этому времени была уже такая особа, которую довольно обширный круг людей полагал как бы общим достоянием; выдающиеся литераторы с удовольствием сообщали один другому — как Пушкин Соболевскому: дескать, с помощью Божией я на днях — — мадам Керн. Дельвиг ее прелестями добродушно брезговал. Она его ненавидела — и была с ним накоротке, точно дружила с детства; Софья Михайловна без нее скучала.)

Что до Вульфа, то в столицу он приехал «кандидатом успехов вообще в обществе и особенно в любви» — это его собственные слова. О женщинах и о том, как с ними обращаться, много слышал от Пушкина, практического же опыта почти не имел, кроме уроков Анны Петровны. (*«Другие были девственницы или в самом деле, или должны были оставаться такими»*, — так что многочисленные победы над псковскими барышнями в счет не шли.) Баронесса Дельвиг, пустившаяся кокетничать с ним в первый же день знакомства, показалась вчерашнему студенту прямо находкой.

«Рассудив, что, по дружбе ее с Анной Петровной, и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решил я ее предпочесть... тем более, что, не начав с ней пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного. — Я не ошибся в моем расчете».

Роман длился — с перерывами — до начала февраля 1829 года, когда Вульф поступил в гусарский полк и уехал в армию. Вульф несколько не любил Софью Михайловну и очень боялся Дельвига, — но не зря же он упивался романом Шодерло де Лакло — и не зря Пушкин писал ему: «Тверской Ловелас С. Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает» (Пушкин был осведомлен — как-то раз даже застал нечаянно Вульфа наедине с баронессой в нежную минуту). Казалось необыкновенно заманчиво и занятно растлевать жену приятеля — к тому же человека известного — «пламенным языком сладострастных осязаний», как выражался Вульф,

перевирая строчку Баратынского. Удовольствие бывало тем сильнее, что в соседней комнате Анна Петровна передавала свой опыт младшему двоюродному брату барона Дельвига — восемнадцатилетнему прапорщику. *«Я истощил свой ум, придумывая новые...»* (скажем — забавы), — сетует Вульф в дневнике, отмечая, однако же, с достоинством, что держал баронессу в такой же строгости, как и псковских девственниц: *«Я не имел ее совершенно — потому что не хотел, — совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон...»* Для де Вальмона из Малинников это был психологический этюд — как сказали бы в наши дни, эксперимент с включенным наблюдателем. Анна Петровна, осуществляя общее руководство, тоже едва ли не чувствовала себя маркизой де Мертей. Жертву игра захватила. Много ли нужно, чтобы свести женщину с ума. Из романтизма в цинизм — всего несколько ступенек, но по лестнице крутой, винтовой, темной.

Ездили компанией в Красный Кабачок — известный загородный трактир: Дельвиг, Вульф, Сомов, кузен Дельвига, кто-то еще, и Софья Михайловна с Анной Петровной.

«Поужинав вафлями, мы отправились в обратный путь. — Софьи и мое тайное желание исполнилось: я сел с нею, третьим же был Сомов, — нельзя лучшего, безвреднейшего товарища было пожелать... Ветер и клоками падающий снег заставлял каждого более закутывать нос, чем смотреть около себя. Я воспользовался этим: как будто от непогоды покрыл я и соседку мою широкой медвежьей шубой, так что она очутилась в моих объятиях, — но и это не удовлетворило меня, — должно было извлечь всю возможную пользу из счастливого случая...»

...С этого гулянья Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упустили ни одной удобной минуты для наслаждения...»

Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: «Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! То-то побесили б мы Баронов и простых дворян!» (С демонским восторгом репетировал Пушкин собственную гибель, приняв за чем-то роль, которую через шесть лет припишет Геккерну. Кто-то сказал в 1837 году: будь жив Дельвиг, он не допустил бы убийства; пожалуй; среди всех этих стареющих безумных юношей Дельвиг был единственный взрослый. От Дантеса он Пушкина заслонил бы — а

от судьбы? от того же Вульфа, страшно оживившегося при известии о женитьбе Пушкина: *«Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов, то тем вероятнее, что его первым делом будет развернуть жену...»* Анна Петровна и в качестве почтенной мемуаристки начинает повествование об этой женитьбе с остроты, якобы сказанной Пушкиным баронессе Дельвиг в 1829 году: *«Он привел фразу — кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: “Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене — ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас”».*)

Что думал Дельвиг? Мы только знаем, чтог ему снилось. 1828 год, стихотворение «Сон» (раньше называлось «Голос во сне»). Если забыть, что рассказано выше, — оно невнятное, почти неживое, а на самом деле — одно из наиболее удивительных в девятнадцатом веке: метафора отпирается и проводится в движение личным шифром, как у символистов.

«Мой суженый, мой ряженный,
Услышь меня, спаси меня!

.....

Я сбилася с тропы, с пути,
С тропы, с пути, с дороженьки,
И встретилаь я с ведьмою,
С заклятою завистницей
Красы моей — любви твоей.

Мой суженый, мой ряженный,
Я в вещем сне впоследствии
К тебе пришла: спаси меня!
С зарей проснись, росой всплеснись,
С крестом в руке пойдн к реке,
Благословясь, пустиься вплавь,
И к берегу заволжскому
Тебя волна приььет сама.
На всей красе на берегу
Растет, цветет шиповничек:
В шиповничке — душа моя:

Тоска — шипы, любовь — цветы,
Из слез моих роса на них.
Росу сбри, цветы сорви,
И буду я опять твоя».

— Обманчив сон, не вещий он!
По гроб грустить мне, молодцу!
Не Волгой плыть, а слезы лить!
По Волге брод — саженный лед,
По берегу ж заволжскому
Метет, гудит метелица!

Ничего нельзя было исправить, нечем помочь, незачем жить.

Незачем? Судьба не спрашивает. В мае 1830-го, по-здравляя новобрачного Пушкина, Дельвиг пожелал ему *«быть столько же счастливым, сколько я теперь»*, — и пояснил: *«Я отец дочери Елизаветы. Чувство, которое, надеюсь, и ты будешь иметь, чувство быть отцом истинно поэтическое, не постигаемое холостым вдохновением...»*

Вульф и Керн исчезли с горизонта; ипохондрия прошла — но только до августа.

В августе Дельвиг загрустил опять. Какую-то повесть якобы сочинял, не записывая, — только рассказал однажды сюжет — о погибшем семейном счастье, об оскорбленной любви, о нежеланном ребенке... «Не помню, как намеревался Дельвиг кончить свою семейную и келейную драму, — аккуратно играет словами Вяземский. — Кажется, преждевременную смертью молодой женщины».

Барочная архитектура мелодий Дельвига волнует лишь самых грустных. Лермонтов кое-что перенял; Анненский; Ходасевич.

Был в русской литературе человек, на Дельвига похожий: в тиниственном рассказе «Ионыч» не случайно звучит «Элегия».

Вернее: Чехов тоже ходил на того англичанина, что любил танцевать дома, один или с сестрой.

Дельвигу танцевать было не с кем, он утешался пением. Последний романс его был такой:

Нет, я не ваш, веселые друзья,
Мне беззаботность изменила.

Любовь, любовь к молчанию меня
И к тяжким думам приучила.

Нет, не сорву с себя ее оков!
В ее восторгах неделимых
О, сколько мук! о, сколько сладких снов!
О, сколько чар неодолимых.

В Лицее, на уроках, прогулках и пирушках, Дельвиг то и дело засыпал — то есть задумывался. Одна из тогдашних мыслей, вероятно, поддерживала его до конца. Ее пересказал в каком-то письме Пушкин:

«Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украд этого)».

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК РОМАН

Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном;

Где, может быть, суровой доле
Я чем-то свыше обречен...

Полежаев. «Осужденный»

Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился.

Лермонтов. «Герой нашего времени»

Празднуя то ли очередное свое примирение с так называемой Действительностью, то ли новую над ней победу, знаменитый критик Белинский на радостях простил ей убийство поэта Полежаева. Нетрезвого, дескать, поведения был покойный — в сущности, поделом ему ранняя утрата таланта и преждевременная смерть — во всяком случае, неистовый Виссарион за него не мститель. Пить надо меньше. *«Полежаев не был жертвою судьбы и, кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели».*

Не имел права — конечно же, не имел! Любой прокурор по надзору за деятельностью Министерства Любви подтвердит! Все эти жалобы, пени, вздохи:

Но ах! Когда и где забуду,
Что роком злобным я гоним?

Гонимый лютою судьбой...

Атóm, караемый судьбой! —

необоснованная претензия, больше ничего. Некоторые люди, пока не отнимешь у них чернила и жизнь, проявляют поразительную назойливость.

О, для чего судьба меня сгубила?

Скажи ему. Ишь чего захотел. Данные агентурной разработки оглашению не подлежат впредь до ближайшей революции. А покамест не угодно ли обойтись мнением современников? — *«Жизнь его представляла зрелище сильной натуры, побежденной дикой необузданностью страстей, которая, совратив его талант с истинного направления, не дала ему ни развиться, ни созреть. И потому к своей поэтической известности, не для всех основательной, он присоветовал другую известность, которая была проклятием всей его жизни...»*

Слышите, Полежаев, какой эпитафией украсил несуществующую Вашу могилу властитель дум? Вы сами, говорит, во всем виноваты — пить, говорит, следовало меньше, Полежаев, — нюхали бы лучше табак — в классики бы вышли.

Белинский, надо думать, не знал — как ни странно,

— что из университета в армию Полежаев загремел не за дебоши в борделях и не за поэму про дебоши — не за похабщину, а за крамолу, из похабщины выуженную анонимным патриотом: ни с того ни с сего восемь строчек — умы какие-то в цепях, и когда же, о глупая моя отчизна, ты в дикости своей очнешься и свергнешь бремя презренных палачей... Оскорбленная отчизна посоветовала ему, как Фамусов: — Поди-тко послужи! — и в лоб поцеловала на прощанье — мол, в случае чего дозволяю воззвать, насовсем не позабуду, не бойся; ну, а как научишься отчизну любить — не исключено, что и прощу;

— что не прощен, а наоборот, вскоре опущен в рядовые — тоже отнюдь не за пьянство, а как раз чтобы неповадно было взывать

раньше времени; уважительный, нечего сказать, сыскал предлог для самовольной отлучки из места расположения воинской части: письма его, видите ли, до государя не доходят, вот и вздумалось напомнить о поцелуе лично; а с дезертиром у начальства разговор короткий: не сладостно, стало быть? не почетно состоять Бутырского полка унтер-офицером? ступай, братец, в нижние чины, да без выслуги, без выслуги, навсегда.

Тут запьешь. А нету денег — и шинель в кабаке оставишь. А в казарме фельдфебель привяжется — и фельдфебеля, в Вольтеры данного, по матери пошлешь.

Но не фельдфебель — ваша правда — не фельдфебель виноват. И все дальнейшее будем почитать удачей: вместо путешествия сквозь строй — полгода в подвале, а простуда когда еще разовьется в чахотку; и на Кавказе не только не убит в бою, но через пару лет и нашивки вернули.

Вот и воспитывал бы свой талант, в трезвом виде дожидаясь эпюлет, — а то примерил их впервые в гробу — что хорошего?

Положим, одиннадцать лет унижений за игру молодого ума — такая плата не всякому таланту по средствам. Полежаев горевал и обижался так, словно за ним, кроме той студентской поэмки, ничего непростительного нет, — а над его головой раскачивался донос потяжелей первого — и тоже от анонимного патриота: якобы Полежаев и в армии политическое пишет, и престолу мезтью грозит. Несколько строк патриот привел — совершенно безумных. Бенкендорф, кажется, не поверил — кажется, и не доложил, — что-то с этим доносом было нечисто, в противном случае Полежаев умер бы раньше, и не в госпитале, — но, имея подшитым к делу такой документ, могло ли Третье отделение поддерживать ходатайства благожелательных генералов о производстве Полежаева в прапорщики?

Зато стихи сочинять в свободное от службы время никто ему не мешал. Напротив того:

«Нуждаясь в деньгах на вино, он часто обращался к товарищам, которые давали ему водки, но с тем, чтобы он писал. И вот, сидя за бутылкой водки, он диктовал стихи, а товарищи записывали их».

Эти подробности — еще и такую: *«чем, бывало, он больше пьет, тем пишет лучше»* — пересказывала своим знакомым (кто знает — не было ли среди них сутулого карлика в синих очках, с неопрятной привычкой к нюхательному табаку?) одна дама, г-жа Дроздова-Комарова, жившая довольно долго.

В изображаемое время, будучи барышней, навряд ли посещала она кабаки. Но ездил к ней в гости некто Перфильев, служивший в Московском полку батальонным адъютантом. Этот Перфильев умел, как видно, развлекать девиц. С его-то слов и сообщают в биографиях, будто Полежаева незадолго до смерти высекли... Какой простор участливому — и сладострастному слегка — воображению: несколько дней после наказания из спины страдальца извлекали прутья... Факт экзекуции ничем не подтверждается, с другими фактами не согласуется и вообще маловероятен, — да чему не поверили бы про Полежаева? Сплетня о нем успешно оспаривала его легенду. Сплетня уютней освещала происходящее: разве не ясно, почему тут, в гостиной, разглагольствует Перфильев, — а Полежаев где-то в кабаке? и отчего этот Перфильев процветает в том же самом полку, где сходит на нет Полежаев...

Несчастный поэт! А впрочем — сам виноват. А если не он — то кто же?

Это навязчивая идея чуть ли не всех стихотворений Полежаева: что их автор — человек особенной участи; но занимается им инстанция повыше Третьего отделения и Первого Николая; вступать с нею в тяжбу или в торг нечего и думать: ей все равно, кто виноват насколько, — а сама она невинна — потому что неменяема. Ее немилость ничего не имеет общего с несправедливостью — это просто проблеск внимания: кого заметила, на ком ее взгляд, вечно злобный, остановился — тот и погиб; а что у нее со зрением — отчего по бесчисленным другим этот взгляд скользит — гадай, раб несчастья! гадай, атом, караемый Судьбой!

Полежаев не ропщет на Судьбу — только сетует на участь. Жалость к себе — единственная его страсть, и стихи добиваются от читателя сострадания к поэту, причем средствами скорей театрально-личными: личность обращается в роль. Поэт несчастлив вслух — и громко декламирует отчаянную решимость погибнуть молча.

Да, как индеец — читали Фенимора Купера? — как ирокез, взятый в плен свирепыми гурунами! что ужасней смерти под нескончаемой пыткой? равнодушно они для забавы детей отдирают от костей станут жилы мои, — но не услышат ни стоны, ни вздоха — молча отдам на позор палачам беззащитное тело — умру, не скажу ничего, и не плачьте обо мне!

Да, мою лодку захлестывает девятый вал, я погибаю во мраке бури, совсем один, — так что же? о чем жалеть? разве я был когда-нибудь счастлив? знал узы любви? нуждался в друзьях? искал покоя? Чем страшна мне волна? Пусть наступит с вечной мглой и погибнет труп живой!.. Тонет, тонет мой челнок! не плачьте обо мне!

Полежаев играет Полежаева: этому человеку изменила жизнь, и он отрекается от нее с печальным презрением, — а в душе у него ад.

Павел Мочалов, московский трагик, блистал в таких ролях (настоящему заблистал попозже, чем напечатаны лучшие стихи Полежаева, попозже). Вернее было бы сказать, что в таком тоне Мочалов играл все свои роли — Карла Моора, Гамлета, какого-то Игрока из чьей-то мелодрамы... И Лермонтов для него сочинял «Маскарад».

Со сцены этот аляповатый, невинный трагизм, этот соблазн жалости к себе сошел в зал, в быт; молодые офицеры и чиновники вмиг и надолго научились интересничать меланхолией... То-то разозлился бы юнкер Грушницкий, услышав, что неведомо для себя подражает унтеру Полежаеву, а на лорда Байрона нисколько не похож.

Ах, эти монологи мелодрам французского пошиба на русской сцене! Многословные, невразумительные — но с восклицаниями незабываемыми — «ибо они, эти немного фразистые восклицания, вырвались из души, страдавшей, облитой желчью негодования... В наших ушах еще раздаются как будто эти горькие восклицания... перед нашими глазами еще стоит как будто гениальный урод с молнией во взгляде...»

Это Аполлон Григорьев припоминает игру Мочалова в мелодраме Николая Полевого «Любовь и честь».

Но впервые такую манеру применил Полежаев:

...Едва жива, она упала
Ко мне на грудь; ее лицо
То вдруг бледнело, то пылало, —
Но на руке ее сверкало,
Ах, обручальное кольцо!..

Ах, это «ах»! Стихотворение вдруг вздохнуло, несколько слов произнесено человеческим голосом, — и прощены грошовой риф-

мы, и не скучен поддельный сюжет, и даже не лень вникать в следующие четыре стиха, в их крикливую невнятицу:

Свершилось все!.. Кровавым градом
Кольцо невесты облило
Мое холодное чело...
Я был убит землей и адом...

Где там подлежащее? кольцо или чело? Кровавые слезы как будто романтичнее холодного пота. Но это пустяки, не важно, потому что наступает, как говаривал Мочалов, сильная минута положения:

Я встал, отбросил от себя
Ее обманчивую руку, —

вот ведь неправильный эпитет, и неуклюже передан жест, — а как хорошо: обманчивую руку...

И, сладость жизни погубя,
Стеснив в груди любовь и муку,
Ей на ужасную разлуку, —

пригоршня гладких, полых слов с плоскими рифмами; одна вдруг разбивается:

Сказал: «Прости, забудь меня! —

и голос дрожит. Теперь еще две строчки, не слыша себя, просто для разбега:

Прости, невеста молодая,
Любви торжественный залог! —

и две главных, роскошных — это к ним летело все:

Прости, прекрасная, чужая!
Со мною смерть, с тобою — Бог!..»

Сколько восклицательных знаков у Полежаева! Больше, чем у любого другого поэта.

Но вот невесты никогда не было.

Летом 1834 года полк стоял в Зарайске Рязанской губернии. Один тамошний помещик полюбил Полежаева как родного. Вообще-то не совсем тамошний, а приезжий из Москвы, — но в губернии было у него имение, а в городке — какие-то дела, да и здоровье, порасстроенное в походах, — этот Иван Петрович Бибиков был кавалерии полковник в отставке — так вот, состояние организма требовало рязанского климата и забот зарайской медицины. В письмах к семейству, блаженствовавшему на даче в подмосковном Ильинском, Иван Петрович хвалил медицину и климат, и особенно — Полежаева — *«несчастливого молодого человека, в обществе которого время для меня летит незаметно. Ведет он себя безукоризненно»*.

Заслуженный рубака без труда получил от командира полка дозволение поселить Полежаева у себя на квартире — и даже увезти ненадолго в Ильинское, как бы в командировку: старший сын Ивана Петровича готовился в школу юнкеров — пусть Полежаев обучит юношу ружейным приемам.

Екатерине Бибиковой, тогда шестнадцатилетней, до глубокой старости помнился этот день: отец приехал и унтер-офицера брату привез, но не сказал сразу, что это Полежаев.

«Собрались пить чай; отец, матушка, сестра меньшая, наша гувернантка поместились вокруг чайного стола, накрытого посреди залы. Пришли братья с учителем, с ними и унтер-офицер. Я не сочла нужным обратить на него внимание и продолжала свои музыкальные занятия. Но вдруг замечаю что-то не совсем обычное. Отец встал и принял какой-то торжественный вид. Я смолкла, слушаю.

— Душа моя, — говорит отец, обращаясь к матери, — дети! Я вас всех обманул! Представляю вам Александра Ивановича Полежаева.

Матушка поднялась с кресел и протянула обе руки Александру Ивановичу. Не помню как, я вмиг из дальнего угла вдруг очутилась рядом с матерью. Все вскочили со своих мест. У отца, у матери, у нас всех выступили слезы. Мои глаза встретились с глазами Полежаева. Мне показалось, что и он был тронут нашим приемом...»

Еще бы! Какая удивительная семья!

«С этой минуты Александр Иванович стал у нас своим человеком. Отец захотел, чтобы я срисовала портрет с его любимца...»

Развитие лирической темы легко вообразить. Незабываемое случилось, по словам героини, лунной ночью в лодке посредине реки Москвы:

«...На глубоком месте я увидала прелестную белую кувшинку и вскрикнула от восторга. Полежаев перегнулся через весь борт, лодка сильно покачнулась в его сторону. У меня замерло сердце. Но...» И так далее.

Поэт обессмертил, что называется, другую сцену — тоже ночную, тоже на реке: дева купалась, а он, естественно, подглядывал, как она

...стыдливо обнажала
И грудь, и стан, и ветром развевало
И флер ее, и черные власы... —

и смертельный яд любви неотразимой его терзал и медленно губил, и прочее.

Днем тоже кое-что происходило. Иван Петрович попросил Полежаева незамедлительно создать что-нибудь серьезное — что-нибудь такое, чтобы уже ни у кого ни наималейших сомнений не осталось насчет образа мыслей автора. Иван Петрович, как выяснилось, был несколько знаком с графом Бенкендорфом — и теперь намеревался воспользоваться этим знакомством для спасения нового друга. Полежаев написал большое стихотворение — высокопарное и заунывное — ничего лучше и пожелать было нельзя (почти только такие теперь и получались), но, по мнению Бибикова, стоило бы подсластить: бездну отчаяния очень украсила бы искра надежды. Полежаев заупрямился — и пришлось Ивану Петровичу самому присочинить три строфы: он был отчасти тоже поэт, напечатал однажды послание к другу, а как-то раз в Английском клубе высказал Пушкину свое суждение о «Графе Нулине».

Коллективный шедевр, благоговейно перебеленный Екатериной Ивановной, отправился куда следует вместе с письмом, над которым добрейший Иван Петрович корпел три дня.

«Я припадаю к ногам Вашего Сиятельства, и как христианин, и как отец семейства, и, наконец, как литератор, заклинаю Вас принять на себя посредничество и добиться, чтобы он был произведен в офицеры. Спасите несчастного, пока горе не угасило еще священного пламени, его одушевляющего...» И все такое.

Идиллия в Ильинском продолжалась две недели. Остались от нее два стихотворения (Белинский, кстати припомним, их похвалил: дескать, всегда бы так чувствовал Полежаев — цены бы ему не было) — и засушенный лист кувшинки в одной заветной тетради — ну и письмо Бибикова в архиве, приоткрытом лет через сто новой властью.

Начало письма оказалось такое:

«Многоуважаемый Граф!

В 1826 году я первый обратил Ваше внимание на воспитанника Московского университета Полежаева. Разрешите мне также и в его пользу говорить Вам одним из первых...»

Этот Бибиков был в свое время полицеймейстером в Москве, потом вышел в отставку, а как прослышал, что Бенкендорф затевает Третье отделение, — попросился в сотрудники раньше всех — и, доказав свои способности разоблачением Полежаева, был зачислен. (Однако других крупных успехов не добился — и опять вышел в отставку, и тем же чином, бедолага.)

Если он был автором первого, рокового доноса, то, вероятно, и второй, не сработавший, — дело его же рук. Там похожий слог и точно такой же ход мысли: Московский университет раздувает искры либерализма, гнездящиеся в юных сердцах, — как доказательство предьявляю стихи Полежаева — правда, уже наказанного, — но не слишком ли балуют его в полку... (На первой странице доноса — чья-то карандашная помета: *От Шервуда*, — но стиль предателя декабристов несравненно ярче, и университеты были не по его части, а литературой он вообще не занимался, и с осени 1828 года находился в войсках, осаждавших Варну, — слишком далеко от Москвы, — а зато с Бибиковым до недавнего времени был неразлучен...)

Вообще-то наплевать, сколько было негодяев и как их звали. Но политические выпады, инкриминированные Полежаеву при жизни — погубившие его — а после Великой Октябрьской признанные важнейшей заслугой, — эти несколько строк добыты советской наукой из упомянутых доносов и в канонический текст внедрены посмертно.

А надобно заметить, что строчки эти, все как одна, выглядят удивительно неуместными. Когда философское, высокого слога, стихотворение «Рок» оканчивается бессмысленными словами:

И Русь как кур передушил
Ефрейтор-император, —

оно сбивается на пародию.

И когда жалобная-прежалобная мелодия «Цепей»: *«Я увял, и увял / Навсегда, навсегда, / И блаженства не знал / Никогда, никогда»* — внезапно прерывается барабанным боем в единственной строфе других, грубых очертаний:

Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана, —

это странно.

По правде говоря, и в поэме «Сашка» презренные палачи появляются не особенно кстати...

Так вот — не Бибикова, не Ивана ли Петровича это творчество? Мы ведь видели в Ильинском, что зуд подлога у старого шпиона был...

Во всяком случае, Полежаеву эти стихи приписаны лишь на том основании, что доносчики — не сочинители и не бывает дыма без огня.

Вот и задумаешься. В истории русской литературы Полежаев — персонаж необходимый. Из пространства Пушкина в пространство Лермонтова — стихи Полежаева единственный путь, и совершенно прямой. Но Полежаев, без сомнения, писал бы другое и по-другому, если бы полковник Бибиков не так пламенно мечтал сделаться генералом. Лучшее стихотворение Полежаева (единственное у него, где сострадание самозабвенно) — «Мертвая голова» — стало страницей «Хаджи-Мурата» и страницей «Приглашения на казнь»... — так что же получается? Что низкий осведомитель, почти наверное полубезумный, был тайным агентом Судьбы, доверенным лицом Неизвестного Автора?

Между прочим, сын этого самого Бибикова — помните юношу, обучавшегося ружейным приемам? — приятельствовал с Лермонтовым, и Лермонтов ему в альбом вписал какое-то стихотворение, — но альбом пропал.

ИРОНИЯ И СУДЬБА

1

Первые наброски плана «Капитанской дочери» помечены тридцать первым января 1833 года. Через неделю, шестого февраля, Пушкин оставил, не кончив, «Дубровского» и принялся собирать материалы для «Истории Пугачева».

«Историю» и роман он затеял одновременно. Перед глазами у Пушкина был пример Вальтера Скотта. Роман «Роб Рой» (1817) был также предварен обширным историческим очерком. Здесь автор, бесстрастно цитируя документы, рассказывал о деятельности своего героя — предводителя шотландских горцев в якобитском восстании 1715 года.

В романе факты нарочно переиначивались и облик Роб Роя выступал в ореоле легенды, окутанный личными тревогами вымышленных персонажей. Автор при этом уходил в тень. Читателю предлагались мемуары почтенного пожилого джентльмена. Сэр Фрэнсис Осбальдистон вспоминал о необычайных событиях своей молодости, о странном знакомстве с разбойником и бунтовщиком, который не только выручил его из беды, но и содействовал его счастью.

Юный Фрэнк Осбальдистон, за непослушание отправленный суровым отцом к родственникам в захолустье, встречался в дорожной гостинице с шотландским прасолом по имени Кэмпбел, не зная, что это и есть Роб Рой.

Влюбившись в юную свою кузину, бесприданницу и сироту Диану Вернон, Фрэнк обретал заклятого и коварного врага в лице своего двоюродного брата Рэшли, оказывался невольно вовлечен

в интриги якобитов (то есть сторонников свергнутого короля Иакова Стюарта); ход событий приводил его то в расположение правительственных войск, то в стан мятежников. Между молодым благонамеренным дворянином и шотландским разбойником завязывалась взаимная симпатия, и Роб Рой оказывал Фрэнку Осбальдистону важную услугу. По доносу негодяя Рэшли рассказчика арестовывали как изменника, но в конце, счастливо преодолев препятствия, он женился на своей избраннице.

Вот какой это был роман. Пушкин увлекался Скоттом, и при желании в «Капитанской дочке» можно найти несколько мест, очень похожих на цитаты из «Роб Роя».

Но важнее сюжетных и текстуальных совпадений преподанный английским писателем урок превращения истории в роман. Судьба государства необычно преломляется в участи человека. Современник в погоне за счастьем видит события и лица в ином свете, чем потомок, интересующийся истиной.

Пушкину, когда он сочинял «Капитанскую дочку», жилось грустно. Он уверился в невозможности счастья и писал стихи о смерти, о неумолимой судьбе.

Осенью 1833 года созданы «Пиковая дама» и «Медный всадник», герои которых, пытаясь увернуться от каменной десницы рока, сходят с ума. Германн — отчасти родня Швабрину, а история бедного Евгения — негатив сюжета «Капитанской дочки».

Вообразим, что Гринев не успеваешь спасти свою невесту и вдобавок попадает под суд. Это вполне отвечало бы логике исторических событий и взгляду Пушкина на жизнь.

Но в «Капитанской дочке» действуют не законы, а исключения, не рок, а удача, не история, а сказка.

Иван-царевич пожалел волка, а за это волк спас царевича от смерти и добыл ему невесту.

Пушкину нравилось соединять этой схемой данные военных сводок.

Оставив повествование герою, роль судьбы он взял себе.

Это такая игра: переставлять занятные фигурки по карте Оренбургской степи; сочинять за них письма и мемуары; устраивать их благополучие вопреки препятствиям; освещать их существование цитатами из старинных поэтов и сборника народных песен — и наслаждаться особенной авторской свободой, которая называется иронией.

Постоянный мотив «Капитанской дочери» — самозванство. Повторяющийся эффект — разоблачение. Первая же глава преважно называется — «Сержант гвардии», но читатель встречается в ней заурядного провинциального недоросля, и слыхом не слыхавшего о службе. Обстоятельства приводят его в Белогорскую крепость. Тут же оказывается, что и это громкое название — пустая фикция.

«Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямищик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали» (глава III. «Крепость»).

Вот наконец наступает для Гринева время службы военной. Стараниями отца и генерала Р. — людей, так горячо желавших, чтобы Петруша научился дисциплине и понюхал пороху, он оказывается в глухом захолустье, в инвалидной команде, под началом человека, которому жена при посторонних говорит в глаза: *«Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь»*. И правда, мы уже видели этих солдат — *«стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах»*, а перед ними коменданта — старика в колпаке и в китайском халате. Гринев как будто не замечает комического действия этих описаний. Может быть, ему и не смешно: ведь рушатся его иллюзии.

Но когда приходит Пугачев и становится по-настоящему страшно, Гринев, едва избавившись от виселицы, роняет поразительные слова: *«Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии»*.

«Ужасная комедия»! Это проливает свет на происходящее. Пугачев, восседающий на крыльце в высокой собольей шапке с золотыми кистями, и Швабрин, обстриженный в кружок и в казацком кафтане, — самозванцы и ряженые. Первая же фраза Пугачева — театральная реплика, рассчитанная на толпу: *«Как ты смел противиться мне, своему государю?»* — неискренняя фраза. И церемония присяги уныло-пародийна: *«Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножница-*

*ми, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку»**

Комедия комедией, а ужас бродит совсем рядом. На виселице качаются трупы людей, которые не приняли правил игры и не сказали «государь», а сказали — «самозванец». И только что Савельич обмолвился тишком: *«Плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку»*. И если кто-нибудь произнесет громко то, о чем догадываются или знают почти все, — этот человек умрет.

Тут и происходит отвратительная сцена. *«Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку»*. (Еще один ряженный! Не правда ли, это и есть «ужасная комедия»?)

Комендантша погибает не потому, что она дворянка или там истязательница крепостных (да и нет у нее крепостных, и дворянка она недавняя: муж выслужился из солдат). Нет, Василиса Егоровна погибает за слова: *«Не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!»* Трехчасовая церемония идет насмарку. Спектакль испорчен. *«Унять старую ведьму!»* — сказал Пугачев. *Тут молодой казак ударил ее саблей по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца»*.

Это самая мрачная страница романа, именно потому, что бедную старуху убивают всего лишь за неосторожное слово. В эпоху самозванства слова делаются важнее и опаснее поступков. Пугачев, надо заметить, — сын этой эпохи. Отчего бы в стране, где крепостями называют деревушки, а в гвардию записывают грудных младенцев, не могло случиться, чтобы *«пьяница, шатавшийся по постоянным дворам, осаждал крепости и потрясал государством»?*

Мотив этот тянется через весь роман. Самозванствуют вещи и здания. Овчинный тулуп называется шубою; изба, стены которой оклеены золотой бумагой, называется дворцом; у беглого капрала Белобородова через плечо идет по серому армяку голубая лента: он — фельдмаршал.

* Сравните финал «Бориса Годунова». «Народ: “Да здравствует царь Дмитрий Иванович!”» (Кто-то — скорее всего Жуковский — заменил этот возглас ремаркой: «Народ безмолвствует».) Политическая ситуация в романе и в трагедии сходная: там и здесь самозванец принимает имя убитого и выступает против убийцы, захватившего престол. Не зря Пугачев поминает все время Гришку Отрепьева. Кстати, трагедию свою Пушкин хотел назвать «Комедией о царе Борисе и Гришке Отрепьеве».

Марью Ивановну спасает от немедленной расправы попадая, выдав ее за свою племянницу. Императрица представляется придворной дамой. И Гринев, конечно, тоже самозванствует, когда вместе с Машею мчится через селения, подвластные Пугачеву, с его пропуском в кармане. *«На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: “Государев кум со своею хозяйюшкою”. Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. “Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот ужю тебе будет баня, и с твоею хозяйюшкою!”»*

Внезапные взаимопревращения смешного и страшного, опасные противоречия между словом и сутью дают роману тон. Государственная история, да, пожалуй, и сама жизнь изображается в нем как «ужасная комедия».

Поэтому оба исторических лица — Пугачев и Екатерина Вторая — представлены как актеры, и притом неважные.

О Пугачеве уже говорено. Он — невольник роли, взятой на себя. В «Истории Пугачева» Пушкин чрезвычайно сочувственно цитирует слова Бибикова: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование. А Пугачев чучела, которою воры яицкие казаки играют».

Та же мысль в эпиграфе к «Истории Пугачева» (из записок архимандрита П. Любарского):

«Мне кажется, сего вора всех замыслов и походов не только посредственному, но нижи самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось... и сам Пугачев (думаю) подробностей оных не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но и от многих его сообщников полной воли и удалства в разных вдруг местах происходили».

Рассуждения официальных историков о том, что «Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным», Пушкин называл «слабыми и пошлыми» («Об “Истории Пугачевского бунта”»).

В романе (отчасти и в «Истории») он разрушает этот мрачный ореол. Мы видим добродушного человека с авантюрной («плутовской», по выражению Пушкина) жилкой. Он толкует о Гришке Отрепьеве, который *«поцарствовал же над Москвою»*, гордится (и по праву) своим талантом военачальника, любит прихвастнуть и гульнуть и вовсе не кровожаден. Он радуется, узнав, что дочь капитана Миронова не попала в руки его людей. А ведь у пугачевцев

были списки дворян, обреченных заранее казни. *«Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их».*

Еще до того, говоря с Гриневым наедине, Пугачев дает понять, что во многом зависит от своих соратников: *«Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры».* И даже пытается переложить на «ребят» часть ответственности: *«Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».*

Действительно, к юному Гриневу Пугачев добр (в виде исключения: «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп»).

Действительно, его товарищи — Белобородов и Хлопуша — кажутся лютей и страшней. И, вероятно, многое решается помимо Пугачева. Он — человек, не изверг.

Вот мой Пугач — при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой, —

писал Пушкин Денису Давыдову, посылая свою «Историю».

Но едва Пугачев выходит на площадь, к толпе, как товарищи окружают его «с видом притворного подобострастия», и в толпу летят пригоршни медных денег. Вместо великодушного разбойника из английского романа или русской песни — перед нами надменный и неграмотный самозванец. Он похваляется следами фрункулов на груди, как «царскими знаками», и велит убить вдову, оплакивающую мужа, за непочтительные слова.

Что ж, он действует, как ему положено по роли, — играет государя Петра Феодоровича. Уже не важно, какой он человек — злой или добрый. Хорошо, конечно, что добрый, но ход событий ему неподвластен (*«Мне должно дер-жать ухо остро; при первой неудаче они свою шею выкупят мою голову»*). Он знамя движения, он живая кукла. И каждое его притворное слово, каждый фальшивый жест Пушкин отмечает усмешкой.

Например:

«Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. “Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?”»

Или:

«Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: “Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь”». (Как напыщенно! Вполне вошел в роль сказочного избавителя. И про государя припел для рисовки.) И самозванец немедленно наказан в глазах читателя: «Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств».

3

Таков этот герой «ужасной комедии». Обратимся к Екатерине Второй. В 1822 году Пушкин писал о ней: «Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне. Он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна» («Заметки по русской истории XVIII века»).

Правда, это было давно, еще до декабрьского восстания. Целая эпоха прошла. «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная от моих собственных мнений, моего положения и проч., и проч.» (письмо к Осиповой от 26 декабря 1835 года).

Мнения переменялись. А все же странно читать в «Капитанской дочке»: *«Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую...» «Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность».*

Неужто это вывела та же рука, что писала об «отвратительном фиглярстве» «развратной государыни»?

Правда, это не Пушкин, это Гринев рассказывает об императрице — и притом со слов Марьи Ивановны.

И все же нельзя избавиться от чувства, что в этом эпизоде дрожит какая-то сомнительная нота.

Вот императрица говорит: *«Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».*

А в заметке Издателя читаем: *«Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам».*

Таким образом мы узнаем не только состав семьи, обретенной Гриневым, но и уровень благоденствия. Екатерина, раздарившая временщикам огромные имения, забыла, судя по всему, что она *«в долгу перед дочерью капитана Миронова»*. Стало быть, это была всего лишь эффектная фраза!

Вернемся немного назад. Вспомним, как Марья Ивановна собиралась в столицу. Она держалась отрешенно и на расспросы о цели своей отвечала уклончиво, как человек, решившийся на предприятие необыкновенное. Старику Гриневу только и сказала, *«что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность»*.

Но, оставшись наедине с будущей свекровью, *«отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучном конце замышленного дела»*

Значит, у Марьи Ивановны есть какой-то план. Приглядимся же к ней повнимательней.

До Петербурга она так и не доехала. Узнав по дороге, что двор находится в Царском Селе, она тоже тут поселяется. Стало быть, не намерена обращаться по инстанциям — в Сенат, например. Но при дворе капитанская дочка никого не знает. Очевидно, надеется говорить с самой монархиней.

Ведет она себя так целеустремленно и осторожно, как будто задумала цареубийство.

Случайно удается ей скоро узнать, *«в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась»*. Подчеркнуто, что Марья Ивановна, которая, добившись помилования для Гринева, уедет отсюда, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, слушает всю эту лакейскую хроника *«со вниманием»*.

Собрав нужные сведения, Марья Ивановна отправляется на рекогносцировку местности. *«Они пошли в сад. Анна Власьева рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом»*. Нарочито безмятежная фраза, касаясь безмерно озабоченной Марьи Ивановны, означает одно: ей удалось узнать все, что было нужно.

Напомним: дорог каждый час — ведь приговор Гриневу уже вынесен.

И вот ранним утром следующего дня Марья Ивановна тихонько пробирается в дворцовый парк. В кармане платья у нее письмо

на высочайшее имя. Можно ли усомниться в том, что у Кагульско-го обелиска она оказывается не случайно? Можно ли допустить, что, увидев императрицу, она ее не узнает?

Капитанская дочка ищет этой встречи. Она пришла к обелиску потому, что знает от Анны Власьевны: именно здесь государыня имеет обыкновение по утрам прогуливаться со своей собачкой, вот на этой скамейке, что перед памятником, отдыхает.

Застав на этой самой скамейке даму лет сорока, в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке, рассмотрев эту даму «с ног до головы», что могла подумать Марья Ивановна?

Те, кто не доверяет ее уму и храбрости, приписывают инициативу счастливой развязки Екатерине. Но инициатива принадлежит Капитанской дочке. Она совершает удивительный поступок:

«Марья Ивановна села на другом конце скамейки».

Со стороны девицы Мироновой это была дерзость по отношению к даме — тем более к такой даме, которая разгуливает подле самого дворца в ночном чепце. А если, к тому же, принять, что Марья Ивановна вовсе не дурочка и догадалась, кто перед нею, да вспомнить еще, что она «в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью»?

Тем не менее она садится. Не бросается в ноги, не целует рук, не плачет. Кто подсказал ей, что Екатерину легче заинтриговать, чем разжалобить? Пушкин? Или она в самом деле думает, что «дочери человека, пострадавшего за свою верность», не к лицу унижаться, как обычной просительнице?

Так или иначе, она добивается своего. Поведение этой странной девушки, одетой в траур, заинтересовало императрицу. Следуют обычные расспросы, имеющие целью установление личности — может быть, даже на предмет выговора невоспитанной девице или ее родным. Но девушка оказывается сиротой из провинции, даже не подозревает, с кем говорит, а на вопросы отвечает по-солдатски: «Точно так-с» и «Никак нет-с». Императрице становится скучно: перед нею все-таки самая обыкновенная жалобщица.

«Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»

Этого участливо-скупающего тона Марья Ивановна боялась, к этому вопросу готовилась бессонными ночами. И ответ у нее есть — почтительный и в то же время гордый, а главное — неожиданный:

«Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия».

Это победа. Услышав такое, императрица уже не может не осведомиться:

«Позвольте спросить, кто вы таковы?»

А дальше все будет так, как мечталось Марье Ивановне.

Но возник дополнительный эффект, на который она не рассчитывала, а его имел в виду Пушкин. Вся эта сцена — монархиня в саду на скамейке дружески беседует с бедной дворяночкой — совершенно в духе слащавой стилистики Екатерины: императрица любила называть себя казанской помещицей и вообще играть в демократизм (как Пугачев — в царственное величие).

Сцена выходила выигрышная. Необходимы были зрители. И вот уже камер-лакей передает повеление, чтобы Марья Ивановна приехала во дворец «одна и в том, в чем ее застанут». А придворные уже в курсе событий и «почтительно пропустили Марью Ивановну». И посреди зеркал и блеска бедная сирота узнает в даме, «с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад», государыню и принимает из ее рук счастливое решение своей судьбы. Какое трогательное зрелище! Как потрясена эта бедняжка! *«Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою, и, заплавав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала».*

Но Гринев, Пушкин и читатель знают: плачущая от радости простушка несколько минут назад слегка подыграла императрице, дав ей возможность умилиться и блеснуть великодушием. Она давеча только делала вид, что не узнала свою собеседницу. И теперь счастлива, но не ошеломлена. Стало быть, главный эффект сорван, и Екатерина, не подозревающая об этом, выглядит смешной лицедейкой.

Автор подчеркивает: они расстались в парке несколько минут тому назад. Новых сведений по делу Гринева императрица за это время получить не могла. Антракт понадобился только для того, чтобы переменить декорации да созвать восхищенных очевидцев. Их льстивый шепоток передается фразой, подводящей итог представлению: *«Обласкав бедную сироту, императрица ее отпустила».*

Эпизод, в котором Пугачев освобождает капитанскую дочку (*«Выходи, красная девица»*), — пародия на лубочную картинку. Таких картинок с изображением самозванца Пушкин видел немало.

Сцена, в которой Марью Ивановну осчастлививляет Екатерина Вторая (*«обласкав бедную сироту»*), — пародия на официальную

гравюру, вроде той, с портрета императрицы работы Боровиковского, какую воспользовался Пушкин, сочиняя эту главу.*

4

А для первой главы он взял с полки календарь. Полное название такое:

«Придворный Календарь
или
месяцеслов
на лето
от рождества Христова
1772
которое есть високосное,
содержащее 366 дней».

Я почему-то думал, что это тяжелый, толстокожий том. Оказалось — ничего подобного: тонюсенькая книжица формата записной. Несколько страничек занимает собственно календарь с указанием церковных праздников и прогнозами погоды на каждую неделю. Остальное — список кавалеров российских орденов. Орден Св. апостола Андрея Первозванного, орден Св. Александра Невского, орден Св. Анны.

Этот-то календарик, попавшись однажды осенью на глаза стареющему симбирскому помещику Гриневу, решил судьбу его сына. Кстати, календарь предупреждал: «Осень начнется Сентября 11 дня в 4 часу в 21 минуте».

Стало быть, роковой день, в который двинулись события «Капитанской дочки», настал не ранее середины сентября.

«Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свичаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подальше, и таким образом Придворный календарь не попадался

*На гравюру эту (Н. Уткина) впервые указал П. А. Вяземский.

ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго».

Читатель помнит, каков был результат размышлений Гринева-старшего. Он объявил, что Петруше «пора в службу», назначил день его отъезда, а накануне этого дня сообщил и маршрут: любителю кипучих пенек предстояло ехать не в столицу, о которой он мечтал, а в губернский город Оренбург, и служить не в гвардии, к которой он был приписан, а в армии: «Чему научится он, служба в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон».

Между сценой чтения «Придворного календаря» и этой, когда отец вручает юному Гриневу пакет: «*Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу*», — между этими сценами есть несомненная связь. Но какая? Рассказчик ее не постигает. И читатель готов увидеть в такой перемене родительских планов благородную блажь, свойственную людям суворовского поколения.

Но это не совсем так. Андрей Петрович, конечно, искренен, когда говорит о ляжке и порохе, но в Оренбург он посылает сына не с бухты-барухты, а потому, что Оренбургским краем управляет его старинный сослуживец. А узнал он об этом из «Придворного календаря»! Если бы Петруша осмелился в первой сцене через плечо отца заглянуть в «Календарь», то увидел бы, что там среди кавалеров ордена Св. Анны значится «Иван Андреевич Рейнсдорф, Генерал-Порутчик и Оренбургской Губернатор».

Наверное, и восклицание: «Он у меня в роте был сержантом!» к нему относится: Рейнсдорф (Пушкин писал: Рейнс-дорп) выслужился из рядовых.

Можно представить ход размышлений старика Гринева. Встречая в «Календаре» среди фамилий вельмож и князей давних знакомцев (между прочим, профессиональных военных без титулов там не более десятка), Андрей Петрович с горечью думает о своей неудавшейся карьере. Он-то был вынужден уйти в отставку молодым, в небольшом чине. Скорее всего, это было в 1741 году,

когда уволен был от службы его покровитель и начальник фельд-маршал Миних*.

Теперь честолюбивые помыслы отставного премьер-майора обращаются на сына. Петруша записан сержантом в гвардию, и в Петербурге есть знатный родственник князь Б. Но не вернее ли поручить мальчика заботам старого товарища и настоящего служаки, который достиг столь высокого положения? Под его началом Петруша станет «солдат, а не шаматон» и не будет забыт, если выпадет случай отличиться.

Замечено уже (Н. Я. Берковским), что в прозе Пушкина намерения людей обычно не исполняются, судьба вышучивает их замыслы и находит неожиданные решения для поставленных ими перед собою задач. Исключение составляет одна Марья Ивановна Миронова.

Вернемся к «Календарю».

Время в «Капитанской дочке», как во многих произведениях, где рассказывается не жизнь, а участь, — несвязное. Оно подчиняется сюжету. Важные сцены даны подробно, чуть ли не в натуральную величину, а промежутки между ними обозначаются одной-двумя фразами. «*День отъезду моему был назначен*». В эти пять слов поместилось около двух с половиною месяцев. С одной стороны, нужно было дожидаться, пока установится санный путь, с другой — следовало позволить Петруше присутствовать на торжественном и, должно быть, очень вкусном обеде по случаю тезоименитства папаши.

Праздник апостола Андрея Первозванного (30 ноября) приходился на пятницу — стало быть, вряд ли Гринев-младший с Савельичем отправились в дорогу ранее понедельника, 2 декабря. Кстати, и «Календарь» (правда, применительно скорее к Петербургу) именно с этих чисел впервые обнадеживал: «Ясного неба и морозов при холодн. ветре должно ожидать» (вот почему, между прочим, одели Петрушу так тепло: под лисью шубу еще и заячий тулуп). До того прогнозы были скучные — как, например, на предыдущую неделю: «Морозов, а после мрачного неба и сн. ожидать надлежит».

* В рукописи — 1762. Пушкин спутал старика Гринева со стариком Дубровским. Эта ошибка — не случайная. 1762 год — дата дворянского заговора, возведшего на престол Екатерину Вторую, — разделил дворянство, как полагал Пушкин, на людей чести и людей случая.

И Пушкину это на руку: если бы Гринев выехал раньше, он не мог бы встретиться в Оренбургской степи с Пугачевым, который объявился там лишь в конце 1772 года, а до того скрывался в Ир-гизских скитах (см. вторую главу «Истории Пугачева»).

Путешествие Гринева и первые белогорские впечатления описаны достаточно подробно, иной раз даже без перерывов на обед и сон. Так что половина первой главы, вся вторая и вся третья потрачены на пять дней. И мы уже привыкаем к этой плавности. *«Прошло несколько недель»*, — читаем в начале четвертой главы и очень удивляемся, когда на следующей странице наступает июль. Правда, нас могло бы насторожить стремительное возмужание Гринева. Вчерашний недоросль читает французские книги, пишет русские стихи! И все же, когда раздается очередное «однажды» (первое после сцены в гостиной родительского дома, но далеко не последнее), мы не готовы к тому, что полгода промелькнули тремя абзацами!

«Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен».

Швабрин высмеивает песенку. Вспыхивает ссора, Гринев идет к Ивану Игнатьичу просить его в секунданты — и застает доброго поручика «с иголкой в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму». Итак, июль. Вряд ли август, как показывает расчет времени. Через двое суток Швабрин ранит Гринева на поединке (эти двое суток тянутся до конца четвертой главы), затем целый месяц Гринев выздоравливает от раны и в середине пятой главы получает письмо от батюшки, датированное «15-м сего месяца» (то есть датировано получение письма Гринева, но его батюшка, как известно, не любил ничего откладывать, да и видно, что писано вгорячах). Прибавив неделю на почтовую связь, получаем конец августа — никак не сентября, потому что с момента получения письма до следующего «однажды», которое датировано на удивление точно — началом октября 1773 года, проходит печальный абзац, наполненный тянущимся, продолжительным временем:

«С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном

Кузмичем виделся я только, когда требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часа становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство...»

Заметим к слову, что тут — зеркальное отражение стремительного первого абзаца главы «Поединок».

Сравните:

«Поединок»

«Любовь»

«...жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною».

«В доме коменданта был я принят как родной».

«Марья Ивановна скоро перестала со мной дичиться».

«Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня...»

«С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день...»

«Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе».

«Жизнь моя сделалась мне несносна».

«Дом коменданта стал для меня постыл».

«Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избежать меня».

«Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома».

«Со Швабриным встречался редко и неохотно...»

«Я потерял охоту к чтению и словесности».

Эти повторы наводят на мысль, что сюжет исчерпан.

Что ж, прошел ровно год — от осени до осени, от медового варенья до сушеных грибов — и судьба героя зашла в тупик. Вот-вот, кажется, он потеряет все, что на наших глазах приобрел. Требуется вмешательство нового лица, «сильное и благое потрясение». Это лицо — Пугачев, это благое потрясение — пугачевщина. Так и называется следующая глава.

«Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны».

Подобно тому как разобранный выше абзац исполнял сразу несколько функций, из которых наиболее очевидные — передать замедление времени и завершить виток сюжета, так и этой удивительной фразой Пушкин (не Гринев) достигает нескольких целей. Напоминает (с едва заметной насмешкой) о состоянии героя, покинутого в предшествующей главе. Дает тревожную тональность, в которой отныне пойдет повествование. А главное — ставит заведомо ложную дату!

Дело вот в чем. Из «Истории Пугачева» читатели Пушкина знали, что с 18 сентября, когда началось восстание, до 3 октября, когда Пугачев переправился через Яик и пошел на Оренбург, «семь крепостей были им взяты или сдались ему».

Илецкий городок	— 20 сентября
Рассыпная	— 24 сентября
Нижнеозерная	— 26 сентября
Татищева	— 27 сентября
Чернореченская	— 29 сентября
Сакмарский городок	— 1 октября
Пречистенская	— 1 или 2 октября

От первого известия о Пугачеве до штурма Белогорской крепости проходит несколько дней. Крепость пала никак не ранее 5 октября. В это время Пугачев осаждал уже Оренбург.

Где же находится Белогорская (названием напоминает Чернореченскую) крепость? Расположена она на месте Татищевой (Белогорская, как мы узнаем от Гринева, находится «верстах в двадцати пяти от Нижнеозерной» и «в сорока верстах от Оренбурга»; Татищева, как пишет Пушкин в «Истории Пугачева», — «в 28 верстах от Нижнеозерной и в 54 (прямою дорогою) от Оренбурга»). А события штурма Белогорской крепости почти повторяют трагедию Нижне-озерной:

«Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели

Харлова, обезумевшего от ран и истекающего кровью... Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая...»

Которую же из крепостей называет Пушкин Белогорской? Ни ту, ни другую, ни третью. С помощью неверной даты он подчеркивает, что в повести своей свободен от им же написанной «Истории». Белогорская стоит на месте Татищевой, но это не Татищева. Так и генерал Андрей Карлович Р. — не совсем то, что генерал-поручик Иван Андреевич Рейнсдорп, хоть и занимает его должность.

Вымышленной датой обозначается угол смещения исторической реальности. Он больше, чем уверяет лукавый Издатель, якобы дозволивший себе только «переменить некоторые собственные имена».

Продолжим наш календарь.

Седьмая и восьмая главы («Приступ» и «Незванный [Орфография А. С. Пушкина.] гость») продолжают ровно сутки. Одна начинается словами: «В эту ночь я не спал и не раздевался». Другая кончается: «...поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически». Девятая («Разлука») и половина десятой («Осада города») — до окончания военного совета — еще сутки. Потом — затемнение длиной в один абзац («Не стану описывать оренбургскую осаду...» — и так далее), обнимающий около пяти месяцев.

Новая вспышка сюжета случается внезапно и отмечена очередным «однажды»: *«Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей».*

Через две с половиною главы Гринев заметит: «Это было в конце февраля». Рапорт генерала Р. в следственную комиссию уточняет: 24 февраля 1774 года. Дата не случайная. Двадцатого февраля Пугачев, встревоженный известием о приближении Голицына, спешно прискакал в Берду из Яицкого городка. Через день или два он выступил против Голицына с десятью тысячами отборного войска. Вряд ли у него было время для устройства личных дел Гринева! А свои собственные дела он в эти дни улаживал таким образом:

«Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников, Дмитрия Лысова. Несколько дней перед тем они ехали вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссо-

рились. Лысов наскочил сзади на Пугачева и ударил его копьём. Пугачев упал с лошади, но панцирь, который всегда носил он под платьём, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти» («История Пугачева», глава пятая).

Вот что значит эпитафия «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп». Роман явно спорит с историей.

Двадцать четвертого февраля для Гринева опять начинается сюжетное, наполненное роковыми событиями, действенное время. Он попадает в Бердскую слободу, отправляется с Пугачевым в Белогорскую крепость, увозит оттуда Марию Ивановну. И так два дня, почти три главы — до нового затемнения, или, вернее, до нового перехода на общий панорамный план, с уже знакомой нам оговоркой: «Не стану описывать нашего похода и окончания войны».

Пять абзацев главы «Арест» включают семь месяцев. Получено известие «о поимке самозванца» — стало быть, сентябрь 1774 года перевалил за середину. И вот еще одна роковая минута — столь неожиданная и страшная, что спокойное «однажды» уступает место драматическому «вдруг»:

«Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу...»

Сутки лишь осталось Гриневу действовать в сюжете. К вечеру доставляют его в тюрьму, на другой день допрашивают — и сюжетное время остановилось для него.

Но повесть не кончена, и участь героя не решена. Через несколько недель опять перед нами — гостиная в доме Гриневых. На дворе еще одна осень, октябрь. Точно так же, как и два года назад, когда повесть только начиналась, Андрей Петрович листает «Придворный календарь». А в знак того, что судьба Гринева-младшего завершила второй виток и опять, как и год назад, находится в перигее, Пушкин прибегает к испытанному (см. выше) приему — повторяет текст, некогда дышавший счастьем, — в состарившемся отражении:

«Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу.»

Опять, как и год назад, необходимо, чтобы в сюжет властно вмешалось новое лицо. И Марья Ивановна едет к Екатерине Второй.

По расчету времени видно, что в Царское Село она прибывает не ранее октября. Но в Екатерининском парке — ранняя осень: «Солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени». Императрица, которой не холодно в душегрейке поверх утреннего платья, говорит Марье Ивановне: «Дело ваше кончено», а между тем Гринев был освобожден из заключения лишь «в конце 1774 года по именному повелению». Даты противоречат друг другу, правдоподобие колеблется...

Гринев присутствовал при казни Пугачева — 10 января 1775 года. Видимо, в ближайшие же дни он навестил в Москве Александра Петровича Сумарокова и показывал ему свои стихи. А может быть, знаменитый поэт «очень похвалял» лирику Гринева в другой раз? Тогда, значит, Петр Андреевич наведался в столицу уже после женитьбы, но не позднее 1 октября 1777 года (дата смерти Сумарокова). Наконец, нам известно, что записки свои Гринев сочинял в «кроткое царствование императора Александра» — кажется, судя по эпитету и некоторым другим признакам, до начала войны с Наполеоном. Стало быть, по расчету Пушкина, они написаны в первые годы XIX века, когда Петру Андреевичу Гриневу было под пятьдесят, старшему из десяти его детей — под тридцать, а самому Пушкину — лет пять.

Листая календарь «Капитанской дочки», мы видим, что простодушное повествование Гринева подчиняется хитростям Пушкина. Автор играет историческими фактами, как и судьбами своих героев, но играет словно бы сам с собой, не позволяя нам участвовать, хотя и намекает, что в игре есть смысл, о котором рассказчику не догадаться.

5

Два имени остановили внимание Пушкина в сентенции Сената по делу Пугачева.

«... 8) Поручика Михайла Швановича*, за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыл долг присяги, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу.

* В документе — так. Но Пушкин называет его — Шванвич.

... 10) Отставного подпоручика Гринева, царицынского купца Василья Качалова да брянского купца Петра Кожевникова (перечисляются еще восемь человек. — *С. Л.*)... которые находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными, для чего их и освободить...»

Строя план романа, Пушкин сперва пытался совместить оба эти жребия: чтобы герой изменил, как Шванович, но был помилован, как Гринев.

Однако потом герой расщепился надвое, и сюжет принял обычный для произведений Пушкина вид поединка между пасынком судьбы и баловнем ее. Пасынки все хлопочут о справедливости (Германн, Сильвио, Сальери), которую ставят выше чести, и завидуют баловням, и мстят.

Тем не менее Пушкин допускает странные обмолвки, из которых видно, что Гринев и Швабрин составляли в первоначальном замысле одно лицо.

«Я вышел вместе с Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. “Как ты думаешь, чем это кончится?” — спросил я его. “Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...” Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию».

Но позвольте: как же Петр Андреевич определил, что это была ария, да еще французская? Пушкин, верно, запомнил, что сам же нарочно дал Гринеvu воспитание, достойное фонвизинского Недоросля. Или Бопре, бывший парикмахер, рассказывал мальчику о французских театрах? Наверяд ли. Спасибо ему и на том, что научил своего питомца фехтовать (это просто счастье, что Бопре служил в солдатах, а не то главу «Поединок» пришлось бы переписывать). Правда, Гринев необыкновенно переменялся за те полгода, что дружил со Швабриным. Но вообразить, что Алексей Иванович пел ему арии, совершенно невозможно. Нет, либо Гринев чего-то не договаривает (конечно, с ведома автора), либо Пушкин проговаривается (может быть, и намеренно).

Сходство между героями особенно сильно, пока их обстоятельства тождественны. Швабрин был не старше Гринева, когда приехал в Белогорскую, и, уж наверное, увидев бревенчатый забор, тоже спрашивал с удивлением у ямщика: «Где же крепость?»

«Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя

на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить свою молодость!»

Точно спохватившись, что этот вздох приличнее опальному столичному офицеру, чем провинциальному барчуку, автор стремительно переходит в другую тональность. *«Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: “Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?”»*

Но Швабрин приходит в роман тотчас, едва отзвучала эта комическая перебивка, и разговаривает так, словно подслушал вчера мысли Гринева: *«Желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени»*. И мы догадываемся, что на этой странице голоса обоих смешались. Впрочем, ненадолго. Сразу же обнаруживается важное различие между героями. Пушкин дважды подчеркивает, что Швабрин выключен из гвардии за поединок, на котором убил своего противника.

Странное дело! Вспыльчивый и храбрый Пушкин, который отнюдь не чурался дуэлей, никогда никого даже не ранил. И целился в человека, видимо, только раз в жизни — в самый последний раз. И в произведениях своих на удачливого дуэлянта — «убийцу хладнокровного» — Пушкин глядит с дрожью безотчетного отвращения (так смотрит на Швабрина Капитанская дочка). Человеку, чьи руки в крови, — будь то Онегин или Гуан, — Пушкин не даст счастливой развязки.

Поэтому на протяжении всего романа он удерживает руку Гринева, не допуская его сделаться убийцей. Все эти эпизоды построены одинаково. Как верный секундант, заботится Пушкин о чести своего героя. Он не позволяет нам усомниться в его мужестве, а все-таки не дает ему нанести роковой удар.

Помните, как Савельич окликнул Гринева как раз в ту минуту, когда он загнал Швабрина *«почти в самую реку»?*

А вот Гринев защищает Белогорскую крепость: «Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками...»

Вот эпизод из главы «Осада города»:

«...Наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: “Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует?”»

Еще один, последний, раз выхватывает Гринев свою саблю в ночной схватке под Бердской слободой. Выхватывает, замахи-вается, даже ударяет: «Я выхватил саблю и ударил мужика по голове...»

И что же происходит? Фраза кончается так: «Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали...»

Так оберегает Пушкин чистую совесть и строгий ней-тралитет своего счастливица.

Еще одно важнейшее различие между Швабриным и Гриневым открывается в первый же день их знакомства. Швабрин — лжец. Он начинает с беспомощной, ребяческой уловки: спешит навести разговор на Марью Ивановну и представить ее «совершенною дурочкою», чтобы внушить Гриневу предубеждение против нее. А потерпев неудачу, теряет самообладание и с каждым днем опускается все ниже в глазах Гринева и читателя: сперва до «колких замечаний о Марье Ивановне», потом до прямых гадостей.

Гринев объясняет это двумя различными способами. Первый: *«Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга»*. Иначе говоря, Швабрин ревнует Марью Ивановну. Второе объяснение: *«В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви...»* Другими словами: Швабрин мстит Марье Ивановне.

Но дело, видимо, обстоит еще хуже. Швабрин просто-напросто напрашивается на дуэль. *«Швабрин не ожидал, — скромно замечает Гринев, — найти во мне столь опасного противника»*. Еще бы — откуда же ему знать, что пьяница Бопре был отличный фехтовальщик? Так что, стараясь вывести из себя семнадцатилетнего мальчика, он идет на предумышленное убийство.

Но когда и это сорвалось, Швабрин приносит лицемерные извинения (ну прямо вылитый Рэшли Освальдистон, проверьте по «Роб Рою», если хотите), а сам отправляет анонимное (как же иначе?) письмо старику Гриневу.

То есть перед нами человек, вполне потерявший честь. Начав с почти невинной лжи, он становится доносчиком, затем делается изменником, а в конце концов заслужит звание «главного доносителя».

Всеми этому как будто есть оправдание. Вернее, нет причины сомневаться в том, что единственным содержанием жизни Швабрина является страсть к Марье Ивановне. Он называет ее Машей, потому что она выросла у него на глазах и уж наверное под его влиянием. Ей было лет четырнадцать, когда он приехал в Белогорскую. Четыре с лишним года они виделись каждый день. Это долгий срок. Либо тот убитый поручик был очень уж важной птицей, либо Швабрин не просил о смягчении своей участи. Скорее всего не просил. Он влюбился в деревенскую девчонку.

Он влюбился, но вел себя так, что родители Маши ни о чем не догадывались, и комендантша говорила при нем:

«Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой».

Когда Маше исполнилось семнадцать, Швабрин посватался. И получил отказ. Это было невероятно, необъяснимо, несправедливо.

Добавим, этот отказ обличал в бесприданнице и простушке силу характера и пронизательность неправдоподобную. Ведь Швабрин был самым загадочным и блестящим человеком из всех, кого Марья Ивановна видела в жизни.

Но, видимо, она не осмелилась прямо заявить, что Алексей Иванович ей противен («...Ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх»). Наверное, просила дать ей время подумать (впоследствии она еще раз прибегнет к этой уловке). Но тут появился Гринева...

И все дальнейшие поступки Швабрина могут быть объяснены желанием во что бы то ни стало уничтожить или по крайней мере удалить Гринева.

Швабрин, как и Гринева, не желает участвовать в Истории.

Швабрину, как и Гриневу, на свете нужна лишь Капитанская дочка. Оба они плохие дворяне, если иметь в виду определение Пушкина, что дворянин — это человек, которому есть досуг заниматься чужими делами.

Правда, в отличие от Гринева (и подобно, скажем, Германну) Швабрин бесчестен, — однако этого мало, чтобы его презирать.

Пушкин видит то, чего Гринева, ослепленный ревностью, не замечает: негодяй Швабрин, когда Марья Ивановна оказалась в его власти, довольно странно использует свое положение. Не выказывая ни малейших претензий честолюбия, он ради нее остается в крепости (быть этого, конечно, не могло: не для мелких синекур брал Пугачев к себе на службу родовитых дворян). И чего же он хочет добиться — угрозами и принуждением — от Марьи Ивановны? Он просит и требует ее руки. Он желает жениться.

«Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день» («История Пугачева», глава третья).

И вот в краю, охваченном бесчинствами, Швабрин ищет одного — законного брака, семейного счастья с бедной сиротой. Он, конечно, злодей, но злодей романтический.

Чтобы одержать над ним моральную, а не только сюжетную победу, Гринева приходится выдвинуть самое тяжелое и унижительное обвинение: Швабрин — трус. Вот как он суетится перед Пугачевым, «в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие...» «Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверием...» И еще раз: «Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака...»

Все это — да еще ход поединка, в котором Швабрин оказывается искуснее, а Гринева — «сильнее и смелее», должно как будто убедить нас. Наверное, и Пугачеву Швабрин предался из трусости, спасая свою жизнь. О Шванвиче Пушкин так и пишет, что он «имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием» («Замечания о бунте», черновая редакция).

Но со Швабриным не так просто. Что бы ни говорил о нем Гринева, ход событий показывает, что Швабрин предложил Пугачеву свои услуги еще до появления самозванца под стенами Белогорской. Всего вероятнее — снесся с ним через урядника Максимыча. Иначе как бы он мог при въезде победителя «явиться в кругу мятежных старшин»? Значит, он решил на измену и сговаривался с казаками, когда участь крепости не была еще решена и сам Швабрин не видел «покамест ничего важного» в слухах о самозванце.

Стало быть, он рисковал головою. Другое дело, что неясна его роль в падении крепости и что пощаду у Пугачева он выговорил только себе (скорее всего — полагал, как и Гринев, что Марья Ивановна успеет уехать).

Так что Швабрин — не Шванвич. Вряд ли он трус. На следствии он держится стойко. Скорее уж применимы к нему слова из «Пропущенной главы» романа: *«Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка»*.

А Гринев? Гринев, напротив, добр и благороден. Он являет Швабрину завидный и мучительный пример: преследуя ту же цель, он совершает такие же проступки, но Швабрин проигрывает, а Гринев побеждает, и притом побеждает без страха и упрека, не жертвуя честью.

Ему для этого только и нужно положиться на провидение, то есть на волю автора. Гринев не может позволить себе просить милости у самозванца, стать перед ним на колени. Автор выручит его и обелит — и устроит так, что за Гринева все сделают другие: Савельич, например, или Марья Ивановна, или тот же Швабрин.

И вот наступает решительная минута. Петр Андреевич связанный стоит перед Пугачевым. Сейчас Пугачев предложит ему принести присягу, а Гринев, по примеру Ивана Кузмича и Ивана Игнатьича, бесстрашно скажет оскорбительные, насмешливые слова: «вор и самозванец». И его тоже вздернут на виселицу.

«Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей».

Теперь, когда читатель убедился, что Гринев и не думает спасаться, автору необходимо его спасти. Для этого есть только одно средство: не дать Пугачеву заговорить с ним.

В истории похожие случаи были.

«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли на меня, на вашего государя?» — спросил победитель. — «Ты нам не государь, — отвечали пленники: — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. — Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав ему

уже ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю. И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки» («История Пугачева», глава четвертая).

Казалось бы, чего проще? Пушкин мог перенести в роман этот исторический эпизод целиком, сохранив его логику. Пускай Пугачев, устав от оскорблений, молча махнет платком, и Гринева потащат к виселице, а там уже вмешается Савельич.

Но автору романа нужно, чтобы страшная минута длилась, испытывая-удостоверяя решимость Гринева. Кроме того, и Швабрин должен сыграть свою роль. А роль его, по замыслу Пушкина, состоит в том, чтобы, несмотря на все усилия, не достигать своих целей и получать результат, противоположный намерениям. Это трагикомическая роль. Судьба смеется над Швабриным. Ранев Гринева на поединке, он только ускоряет его сближение с Марьей Ивановной. А теперь, когда Гриневу осталось жить не более минуты и надо лишь дождаться, пока он выкрикнет роковую фразу и закачается на веревке, Швабрин спешит сократить и этот срок, пускается на ненужную низость — и этим, к своему отчаянию, спасает ненавистного врага.

«Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня».

Вот и все. Герой по-прежнему от гибели на волоске, но минута, когда он сам мог решить свою участь, оскорбив Пугачева, уже прошла. Теперь можно выпускать Савельича и прибегать к приему узнавания, подключив к действию счастливое совпадение случайностей: прошлогоднюю метель, дорожную встречу, заячий тулупчик...

И сразу же наступает новое испытание. Но тут все обходится легче. Гринева по-прежнему тверд: он ни за что не поцелует Пугачеву руку. Он *«предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению»*. Но вслух он этого не говорит, потому что разбит и потрясен. Молчаливая неподвижность Гринева сохраняет ему честь — его даже не остригли в кружок, как Башарина, — и спасает ему жизнь, потому что дает Пугачеву возможность проявить великодушие.

Новая встреча Гринева с Пугачевым — трехкратное искушение. Первое — самое грозное.

«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмураясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя гибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа».

Легко представить себе, что в подобном положении находился Пушкин, когда в сентябре 1826 года фельдъегерь доставил его из Михайловского прямо во дворец к новому императору Николаю, а тот спрашивал, глядя в глаза: «Чью сторону ты, Пушкин, взял бы, если бы оказался в Петербурге 14 декабря прошлого года?»

Тогда, десять лет назад, Пушкин сумел ответить прямо и не озлобить своего допросчика.

Возможно, он воспользовался приемом, который теперь приемлет Гринев.

Вопрос, на который вынужден отвечать Петр Андреевич, — неискренний до бессмыслицы. Пугачев и сам прекрасно знает, что никакой он не государь. И понимает, что у Гринева на этот счет нет ни тени сомнения. Только что была неприятная сцена, в которой Пугачев так ненатурально, с такой комической важностью изображал владетельную особу, что Гринев «не мог не усмехнуться...».

Пугачев разгневан. Провести мальчишку не удалось. Теперь он пробует сломать Гринева. Его вопрос — замаскированная угроза: солги или умри *.

Но Петр Андреевич отчаянным усилием ускользает от этого выбора. Он делает вид, что не заметил угрозы и понял вопрос Пугачева буквально: «*Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, можешь ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую*».

На неискренний вопрос он отвечает искренне. Пропустив мимо ушей приглашение солгать, высказывает уверенность, что ложь проницательному его собеседнику неприятна.

И Пугачеву неловко настаивать. Все же он пытается еще раз внушить Гринева, что ждет от него политического высказывания:

*«Кто же я таков, по твоему разумению?»**

* Две гибели перед героем: налево пойдешь — коня потеряешь, направо — голову.

Но Гринев опять принимает вопрос буквально и говорит:

«Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».

Это очень далеко от того, чтобы «признать бродягу государем», однако и не совсем то же, что «назвать его в глаза обманщиком». Из области условных определений Гринев уклоняется в реальность. Здесь не площадь, зрителей нет. И нет ни офицера правительственных войск, ни бунтовщика. Просто старые знакомые в мирных тонах разговаривают о жизни. Пугачев уже очнулся от гнева и фальши. Сбитый с первой позиции, он отступает и ставит вопрос иначе, по-деловому, переходя от угрозы к посулам. Гриневу предлагается второе искушение.

*«Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья.»**

«Как ты думаешь?»

Пугачев уговаривает, почти что просит.

«Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу».

Скажи он это в начале разговора — висеть бы ему на перекладине. Скажи он сейчас только это — разговор из житейского сна станет политическим. Но Гринев дает понять, что воспринимает предложение изменить присяге исключительно как выражение заинтересованности Пугачева в его судьбе, и добавляет:

«Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург».

Пугачев сбит с толку. Третье его предложение звучит совсем как просьба. *«А коли отпусти, — сказал он, — так обещаешь ли по крайней мере против меня не служить?»*

Но роли переменялись, и отказаться теперь просто. Важно только выдержать прежний тон доброжелательного взаимопонимания.

* Тоже фольклорный, сказочный мотив: чтобы спасти свою жизнь, герой должен ответить на хитроумные вопросы грозного царя или отгадать загадки. Помните английскую балладу, где король требует от пастуха: «Какая цена мне, ты должен сказать?»

** Первоначально в рукописи было «в князья Потемкины».

«Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?»

И тут уже Гринев ставит Пугачева перед выбором — таким, в сущности, легким:

«Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду».

Так юный прапорщик одерживает победу над Пугачевым. Не будь этого разговора, никакие напоминания о заячем тулупчике не спасли бы, вероятно, ни Марью Ивановну, ни самого Гринева при новой встрече с Пугачевым*.

Странная власть молодого офицера над предводителем восстания (Гринев принимает услуги Пугачева, а не предлагает ему свои, как Швабрин) — власть эта основана на взаимной приязни и милости.

Милость — главный двигатель сюжета «Капитанской дочки». Милость сильнее судьбы, а добывается она простодушным лукавством. Гринев навязывает Пугачеву, а Марья Ивановна — императрице необходимость проявить великодушие. При этом и Петр Андреевич и его невеста выказывают недюжинный ум.

Но странной чертой дополняет Пушкин облик рассудительного Гринева. Мы замечаем в нем настойчиво подчеркнутую склонность к мрачным видениям и невнятным состояниям (недаром он не раз говорит как бы вскользь, что «боялся сойти с ума» или «чуть с ума не сошел»). Вводится этот мотив пророческим сном в кибитке: *«Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Ужас и недоумение овладели мною...»*

Страшное впечатление производит на Петра Андреевича вид пленного башкирца: *«Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей... Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми... Башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок».*

* «Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец».

И с тех пор Гринева точно магнитом притягивает любое проявление жестокости и насилия. Хлопуша описан так же подробно и жутко, с тем же припевом («век не забуду»), что и этот башкирец. И вот первое, на что обращает внимание Гринев, едва вырвавшись из плена: *«Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача»* *.

Гринев очень мало рассказывает о своем романе с Марьей Ивановной. Зато много и беспрестанно говорит о виселице и все время ищет ее глазами.

Проследим, как он мечется после казни пленников по Белогорской:

«Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных...»

«Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица со своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом...»

«Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу.»

«Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы.»

«Вышел на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей...»

В «Пропущенной главе» романа Пушкин называет эту черту своего героя «странным, болезненным любопытством». В главе «Незванный гость», слушая *«песню про виселицу, распеваемую людьми, обреченными виселице»*, Гринев потрясен «каким-то пиитическим ужасом».

Отвращение и сострадание, которые владеют Гриневым, сродни горьким пушкинским размышлениям о судьбе декабристов. «И я бы мог...» — записывает Пушкин, рисуя виселицу в одном из черновиков.

С тем же чувством смотрит Гринев на закованного в кандалы Швабрина.

«Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели, длинная борода была всклокочена...»

* А в следующем периоде лица эти как бы рифмуются с «ябло- нями, обнаженными дыханием осени», которые бережно укутывают теплой соломой.

Мучительный интерес Гринева к образам насилия и унижения не вытекает из его характера. Да есть ли у него характер? Гринев, как и Швабрин, неустойчивое соединение черт. Это не характеры, а роли — бедный рыцарь* и несчастливый злодей.

«Капитанская дочка» — роман о бегстве дворянина в мещане, от долга к счастью, из истории в семью. Это автобиографический сюжет, мы находим его в жизни и лирике Пушкина в тридцатые годы.

Потеряв связь с читателем и провозглашая независимость от него, Пушкин в этом романе стоит к нему спиной. Он не рассчитывает на понимание и подчиняет ход романа музыке тайных мыслей, непохожей на обычную логику прозы. Оттого в «Капитанской дочке» много потайных ходов и нарочитого авторского произвола.

Ирония по отношению ко всем персонажам и даже к читателю, ирония — главная героиня романа.

Оттого «Капитанская дочка», сколько ни перечитывай, остается произведением таинственным. Невозможно узнать вполне намерения автора, понять его взгляд на происходящее, услышать его голос. Повествование доверено герою, но доверенность эта неполная. Различными способами автор дает знать о своем присутствии. Мы видим, как падает на ширму его огромная тень и как он дергает за нитки, управляя персонажами.

В судьбах Гринева и Швабрина автор шифрует размышления о личной своей судьбе. Оттого ни один из них порознь не составляет самостоятельного характера и оба представлены гораздо подробнее, чем нужно для сюжета. Оттого Пушкин одалживает Гриневу свой голос, а Швабрину дарит свою наружность: *«Невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым...»* Автопортрет росчерком пера на полях.

Швабрин и декабристы, Гринев и Дон-Кихот... Удивительные уподобления, которыми пронизан роман, не складываются в умозаключение, отпираемое универсальным ключом.

Но, может быть, мир «Капитанской дочки» полнее и непосредственной раскрывает внутреннюю жизнь Пушкина, чем другие его поздние произведения.

* Не зря Пугачев с эшафота кивает Гриневу. Так и Франц, предводитель крестьянского восстания, поет перед почти неминуемой казнью: *«Жил на свете рыцарь бедный...»* («Сцены из рыцарских времен»).

ОСЕННИЙ РОМАНС

Певчих стрекоз не бывает, дорогая Герцогиня. Дедушка Крылов шутит. Позволяет себе поэтическую вольность — изображает как удобней воображению. Стрекоза вообще-то стрекочет, но не как сорока — скорей, как кузнечик, — короче сказать, в полете крылья у нее трепещут: от каждого — как будто ветер, и каждое — как бы парус, и воздух, растираемый крыльями, гнется и скрипит, — не ее это голос, понимаешь? Но ведь и муравьи не говорят!

На то и басня: вроде как цирк, только наоборот — там дрессировщик заставляет животных — нет! нет! конечно, не заставляет! — конечно же, воспитывает... он их так воспитывает, чтобы они подражали нам, людям — то есть чтобы выказывали ум: катались на велосипедах, качались на качелях, танцевали, кланялись... Словом, чтобы хорошо себя вели, слушались укротителя.

Кстати! Дедушка Крылов думал, что смиренные даже лучше умных — во всяком случае, нужней: за что, например, крестьянин любит свою лошадку? ведь с нею обмениваться мыслями не интересно, у нее, небось, все мысли только про еду — вот именно: как у — но это спрашивает Лиса, она ревнует Крестьянина к Лошади, отнюдь не прочь с ним дружить одна — не постигает, отчего ей, толковой, предпочитают существо столь ограниченного интеллекта.

— «Эх, кумушка, не в разуме тут сила!» —
Крестьянин отвечал: «Все это суета;
Цель у меня совсем не та:
Мне нужно, чтоб она меня возила,
Да слушалась кнута».

Вот какой земледелец несентиментальный, не то что некоторые. А кнут — это такой рычаг управления — вообще, мы отвлеклись.

Значит, так: цирковые звери — ученые, то есть послушные настолько, что представляются веселыми и умными — все как один. А звери басенные играют в человеческую глупость — причем обычно в глупость непослушных, от которой, по мнению многих, все несчастья, — и тут у каждого роль своя. Сочинитель басни назначает, кому водить — кто в природе смешней похож на человека, похожего на какой-нибудь изъяз человекского ума. Вот Стрекоза: состоит из одного легкомыслия — почти как мы с тобой. Это плохо — Стрекозу надо проучить — погубить или хоть пристыдить, а еще лучше — и то и другое. В этом смысл игры, с этой целью дедушка Крылов и заманил Стрекозу (хоть она и не зверь) в басню и покумил с Муравьем.

Нет, настоящая, живая стрекоза — хорошая, обижать ее ни в коем случае нельзя. Вот, смотри, в энциклопедии написано: стрекозы истребляют комаров, мошек и других вредных насекомых, — *«чем приносят пользу»*.

Я же говорю — игра. Дедушка Крылов, конечно, знал, что в природе нет ленивых, ни беспечных, и все, например, насекомые отдают всю жизнь и все силы борьбе за счастье своих потомков.

Другое дело, что одни — вредные, а другие — полезные: по крайней мере, так в энциклопедии. Между прочим, как раз про муравьев там ученые ты только послушай что пишут: *«Многие М. относятся к числу вредных насекомых прежде всего потому, что они охраняют тлей — вредителей культурных растений; кроме того, значительное число видов М. являются вредителями садовых, полевых, технических культур, тепличных растений и пищевых запасов...»*

Видишь? Все дело в пищевых запасах! Муравей, когда ни увидишь его, непременно тащит в челюстях какую-нибудь дрянь — вероятно, съестное, — а стрекоза питается своими комарами на лету! Порхает с пустыми крыльями, да еще знай стрекочет — вот и похожа на лентяйку — на какую-нибудь недалновидную тетеньку; одно слово — попрыгунья: лучшее биографическое время проводит в увлечениях, развлечениях, — нет чтобы консервировать на зиму овощи, копить сбережения на черный день, всю жизнь готовиться к старости, — брала бы пример с Муравья...

(Чего дедушка Крылов, скорей всего, не знал — а дедушка Лафонтен и подавно, — как и я до сих пор, — это что европейские наши, типичные, дачные муравьи: озабоченные, целеустремленные, явно — крепкие хозяйственники... так вот, они — кто бы мог подумать? — все поголовно тоже как бы тетенки — «недоразвитые в половом отношении самки», — сказано тут же в энциклопедии. Попроси наша Стрекоза убежища не у такой вот бескрылой рабочей особи, а у полноценного крылатого муравья — вдруг разговор вышел бы другой? Грамматический-то род непоправим, даром что у стрекоз — «вторичный копулятивный аппарат самцов высоко специализирован и не имеет аналогов среди насекомых»...

Какие пустяки! не все ли равно? бюджет муравейника не предусматривает затрат на попрошайек, на разных там вынужденных переселенцев, — частной же собственности, как известно, у муравьев нет.)

Прости, задумался. Итак, Стрекоза не умеет жить — плохо ей придется зимой — так ей и надо — сама виновата — пускай пропадает, — я шучу, шучу!

И дедушка Крылов шутит: он, конечно, спасет Стрекозу — допустим, приютит ее на зиму в Публичной библиотеке, — там знаешь сколько мух!

А запасливый, но скаредный, неутомимый, но неумолимый, злорадный Муравей... Не бойся: никто его не обидит, — он же ни при чем, это Баснописец наделил его холодным сердцем, а сам по себе он симпатичный. Наверняка ему начислят достойную пенсию, как ветерану труда и санитару леса, — плюс консервы со склада, и опять же поголовье тлей... Счастливая зима предстоит Муравью!

(Скитаясь по тесным, непроглядным, жарким коридорам, беззвучно приговаривать в такт шагам:

— «Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Выпад — укол! Еще выпад — опять укол! Обманное движение: так поди же... — и последний укол, наповал! Фехтовальная фраза!

Как восхитительно разрисовывал этот мастер чужие мысли, ничьи, из неприкосновенного запаса толпы — в том числе, и с особенным наслаждением, главную — что уши выше лба не растут... Впрочем, это у старушки басни наследственный порок — Эзопов

комплекс. Ядовитая, стремительная, тяжкоблистающая речь закована в градусник рабской морали.

Твердят наперебой, что Крылов был гораздо умней не только своих покровителей, почитателей, но и собственных басен. Кто его знает; людей он, кажется, презирал буквально до безумия: нарочно им внушал — неряшеством, так скажем, и обжорством — отвращение; даже, говорят, как-то в молодости попробовал нагишом поиграть на скрипке у открытого в Летний сад окна. А жизнь досталась долгая — проигрался, присмирел, притворился. Предпоследний придворный шут: а последним был Тютчев — но уже другого тона: в тунике античной не плясал. Крылову басни доставили славу и покой. Не сорвать черепахе панцирь, обгаженный столичными голу-бями — — —)

Нет никакой черепахи, сам не знаю, что бормочу. Крылов был очень хороший поэт, Герцогиня. Подрастешь — обследуй непременно свод басен, полюбуйся старинной работой: синтаксис и метр, даже в безнадежно трухлявых, — сплошной восторг. Что Змея практически всегда знаменует иностранца, что вольнодумствующий писатель опасней разбойника — не важно: благонадежность, возведенная в добродетель, равняется маразму, — а мы с Иваном Андреевичем жили в полицейское время... Прелестнейшие вещи, само собой, — в тени: «Мот и Ласточка», «Крестьянин и Смерть», — смотри не пропусти. Обещаешь?

Навеки твой
19 ноября 1999

К ПОРТРЕТУ КОВАЛЕВА, или ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Утешительный. Так; но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Швохнев (Утешительному). Не спорь, брат: ты не прав.

«Игроки»

Табель о рангах сконструирована была Петром Великим по эскизу Лейбница как вечный двигатель государственной махины, однако же не без отблеска мечты о мышином цирке. Полчища мелких грызунов, по специальным желобкам в лопастях пробираясь от приманки к приманке, вращают главный вал с усердием как бы разумным, — империя живет, и музыка играет.

На рабочем чертеже видим подобие Вавилонской башни с четырнадцатью ярусами; почти сразу после смерти Петра два ушли в почву, осталось двенадцать, — но за нижним так и осталось название четырнадцатого класса...

Сюда мог проникнуть во время о'но любой верноподданный из лично свободных и грамотных. Еще бы: когда на пространстве двух материков единственное средство связи — лошадь, а всей оргтехники — гусяное перо, кадры писцов, почтальонов, станционных

смотрителей решают все; попробуйте без них творить историю; особенно чувствуется нехватка писцов; наплевать, откуда бы ни взялись — полцарства за славный почерк! Положим, приличного жалованья всей этой неисчислимой мелюзге никакой бюджет не выдержал бы, но бывают, как сказано у Шекспира, магниты притягательней: с момента поступления в четырнадцатый класс вчерашний простолюдин становился «вашим благородием»; считалось, что нельзя ударить его совсем безнаказанно: законом изъят от побоев, равно и от податей; мундир и на торжественный случай шпага ему полагались; наконец, дозволено ему было (по крайней мере, с 1814 года) владеть населенными имениями, попросту — крепостными людьми. Одним словом, он был дворянин — но личный, сугубо личный, только покуда жив: гениальная идея соавторов Табели!

Умирая, чиновник четырнадцатого класса — и двенадцатого! и десятого! и девятого! — сирот своих оставлял разночинцами, то есть в положении самом ненадежном, на самом краешке права. Заушать его сыновей, бесчестить дочерей было слегка предосудительно; им говорили «вы» — только и преимуществ; а деревни, если были, казна забирала в опеку и продавала с молотка — в пользу наследников, разумеется, но при феодализме не в деньгах счастье: дети мздоимцев, как и дети бессребреников, срывались вниз, в податное сословие — начинать восхождение сызнова, с уязвленным самолюбием и наперекор непрестанно воздвигаемым препятствиям. С 1827 года, например, в статскую службу их уже не принимали без университетского аттестата...

Короче говоря, Табель создавала обитателям нижних четырех ярусов такие условия, чтобы особи чадодобные и честолюбивые, независимо от упитанности, перебирали лапками изо всех сил. Чтó — жалованье, даже завидное? чтó — взятка, самая лакомая? чтó — пенсия — предположим, достаточный — когда-нибудь, на благополучном закате? Этим существам предносилась мечта поярче. В трех шажках — в двух! — перед ними сиял ослепительный призыв — Цель Жизни.

В Табели о рангах она обозначена волшебными словами: *дослужившиеся до майора, или коллежского асессора — «в вечные времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть имеют, хотя бы они и низкой породы были».*

Текст революционный, роковой, но — словно впопыхах — не-отчетливый: в аванжажах почтены — нечто неосязаемое, из области этикета; и потом, в военной службе разве не все чины благородны? к чему же упоминание о маиорах? даже прапорщика мыслимо ли приравнять к какому-нибудь подьячему, к приказному, к станционному смотрителю? пусть прапорщик тоже числится в четырнадцатом классе — на то высочайшая воля, — а все равно станционный смотритель ходи перед ним ходуном!

Последовали разъяснения исчерпывающие: военным над статскими полный преферанс — в нижних классах, до девятого включительно; а восьмиклассный чиновник, то есть коллежский асессор, — дело другое: чин штаб-офицерский, отчего майор и подвернулся к слову; именоваться майором коллежскому асессору возбраняется (им только позволь!), — но он дворянин без оговорок:

«Потомственными дворянами по чинам считать одних восьмиклассных чиновников и военных обер-офицеров; по-лучивших же обер-офицерские чины по службе гражданской и придворной признавать дворянами личными».

Тут и ключ к Табели о рангах: заветный чин коллежского асессора знаменовал победу над судьбой — удачу в прямом смысле сказочную. Стоило мышке добежать, дотерпеть до пятого снизу яруса — и она превращалась в крысу, в хомяка, в степного суслика, в речного бобра — в кого хотела. Положим, для самых шустрых был припасен еще через две ступеньки соблазн утонченной: чин статского советника — в сущности, генеральский, титулуют «высокородием», должности поручают серьезные — настоящая-то карьера только тут и начиналась, — но при тщеславии умеренном восторги первого преобразования сладки неповторимо.

Кто счастливей свежеиспеченного коллежского асессора? Только его дети, если они уже достаточно взрослые, чтобы понимать, в какой стране живут.

*«Любезный папенька,
Григорий Никифорович!*

С искреннею радостью спешу поздравить Вас с получением отличия, не схваченного, а заслуженного Вами. Желаю, чтобы Вы с такою же честью носили его, с какою и заслужили...

*Ваш сын
Виссарион Белинский».*

Ф. М. Достоевский сделался сыном столбового и потомственного* семи лет от роду, А. Н. Островский — пятнадцати, В. Г. Белинский — двадцати (но дворянскую грамоту получить удосужился менее чем за год перед смертью). Батюшка Н. В. Гоголя, как человек благоразумный, женился только дослужившись до коллежского асессора.

При сильной протекции дослужиться было нетрудно не только сыну полкового писаря, — но даже незаконнорожденному иностранцу с придуманной фамилией. Восьми лет его записывают в службу (1820), семнадцати — произведен в губернские секретари, двадцати — в коллежские секретари (все так же не заглядывая в контору, где числится, но зато учась в университете); еще через два года он — титулярный советник; в этом чине пришлось-таки послужить, причем в провинции, ровнехонько шесть лет, — и дело сделано! Теперь (1840) он коллежский асессор и костромской помещик, — но лишь через шесть лет, уже в следующем чине, просит государя всеподданнейше —

«Дабы повелено было, на основании представленных мною документов, внести меня с семейством в подлежащую часть дворянской родословной книги Московской губернии и выдать мне и сыновьям моим грамоты...»

К сему прошению надворный советник Александр Иванов сын Герцен руку приложил».

Все, конечно, было исполнено — закон обратной силы не имеет, — но вообще-то Николай I эту практику еще в 1845 году, 11 июня, прекратил. Коллежские асессоры чересчур бурно размножались. Приходилось опасаться, что к концу девятнадцатого века их потомки составят большинство дворян, — а также что к концу двадцатого дворянство станет многочисленнейшим сословием империи. Создатели Табели о рангах то ли не предвидели такого обо-

* Смысл обоих прилагательных совершенно затуманился: потомственный стало означать не того, чьи потомки, допустим, дворяне, — а того, наоборот, чьи предки, скажем, пролетарии; столбовой дворянин уже у Даля — «древнего рода, коего дворянство прошло чрез несколько поколений», — а Даль, как известно, оракул непререкаемый. Спасибо, Пушкин среди анахронизмов романа «Юрий Милославский» замечает: «Например, новейшее выражение столбовой дворянин употреблено в смысле человека знатного рода». Гоголь в биографии Чичикова: «Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители его были дворяне, но столбовые или личные — Бог ведает». Столбовой — антоним личного, и только.

рота, то ли не боялись его, — а Николаю было противно*. По манифесту сорок пятого года права потомственного дворянства давал в военной службе чин майора, в гражданской — чин статского советника. (Личное дворянство — военным обер-офицерам всем, а чиновникам — только начиная с титулярного.) Среди бесчисленных разочарованных оказались двое наших общих знакомых: А. А. Фет, произведенный в кирасирские корнеты уже после манифеста, и М. А. Девушкин, самолюбивый Бедный Человек.

Впрочем, по правде говоря, у Девушкина — и у Башмачкина в «Шинели» — шансов и прежде было немного. Наследники Петра без конца редактировали Табель о рангах. Екатерина упорядочила сроки прохождения службы с таким расчетом, чтобы чиновники не из дворян продвигались помедленней. При Александре I известный Сперанский изобрел экзамен на чин коллежского асессора: кандидат испытывается в науках словесных, исторических, математических, физических — и в правоведении; вообще-то ничего страшного: сочиненьице, задачка, легонький французский разговор, — но Акакию Акакиевичу и Макару Алексеичу не выдержать ни за что.

Тут пошли в ход способные к ученью, вроде А. В. Никитенко: даром что едва из крепостных: студент университета — первый чин, окончил кандидатом — другой, оставили на кафедре адъюнктом — третий, а там рукой подать до профессора, а профессор — это и значит коллежский асессор — вот он и дворянин, и влиятельное лицо, и Гоголь благодарит его письменно за ценные цензурные поправки в «Мертвых душах».

А все же и для неспособных и неприлежных была лазейка, куда уже Николай ее не законопатил. Ее очень ясно описывает Белинский, рассуждая в письме к родителям о том, что делать, ежели исключат из университета:

«Куда сунуться? В военную я не гожусь по слабости здоровья и по ненависти к сей службе, о приказной части и говорить нечего. Остается только одна дорога: в Сибирь, на Кавказ или в Североамериканские российские владения...»

* Как в воду глядел: скажем, в 1744 г. калужский купец Афанасий Гончаров был пожалован в коллежские асессоры за устройство полотняных фабрик; внучка его внука в 1830 г. считалась дворянкой хорошей фамилии — не хуже Пушкиных, за одного из которых вышла замуж, — а внучка этой дамы обвенчалась с внуком самого Николая I.

По-моему, это три дороги, но главное дальше:

«За сибирскую и кавказскую службу дается чин вперед, двойное жалованье и каждый год службы считается за два; за северо-американское же...» — но это не важно: займемся кавказской.

Письмо Белинского отправлено 30 апреля 1832 года из больницы; его сведения устарели ровно на месяц: наверное, все это время он не читал газет; но когда слег — расписанные им прелести еще существовали.

Действительно, еще в 1803 году был издан именной указ — О повышении чинами отправляющихся в Грузию на службу:

«...Находя нужным доставить отправляющимся туда для прохождения статской службы Канцелярским чинам вящее ободрение, повелеваем: 1. При назначении желающих вступить в Грузию в отправление Секретарских и разных Канцелярских должностей, награждать их следующими чинами. 2. Получившие чины должны по крайней мере прослужить в Грузии один год, считая с прибытия их на место... 4. Тем из них, кои продолжат там службу в течение четырех лет и пожелают выйти в отставку или определиться к другим делам вне Грузии, сверх узаконенного производства в течение сего времени за отличие и лета службы, давать при увольнении следующие чины, хотя бы и не выслужили они положенного для награждения при отставке времени...» — ну и прочие неслыханные льготы.

В 1822 году действие указа было распространено и на чиновников, отправляющихся в Кавказскую губернию, то есть в Чечню: покоренные территории скучали по канцеляриям. Желавшим туда определиться способным чиновникам выдавали, сверх установленных прогонов, такую же сумму просто для аппетита. Желавшие и способные тут же, само собой, нашлись: прежде-то в Чечне за внеочередной чин служить надо было три года, — и нашлись в таком количестве, что очень скоро потребовался новый указ — чтобы все эти добровольцы *«не иначе туда отправляемы были, как по предварительном о таковом их желании и способностях к службе сношении с Кавказским областным правлением...»*

Отчего молодой Башмачкин, отчего молодой Девушкин не решились оставить на время Петербург? За какой-нибудь год перескочить через чин, да и деньгу сколотить — шутка ли? Боялись, что в Грузии климат нездоров? (Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»: *«Военные, повинуюсь долгу, живут*

в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вождеденным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание»..) Но в Чечню-то чем плохо прогуляться за казенный счет и на двойном жалованье? И фортуна, и карьера... Судя по тому, что Николаю пришлось на второй год по воцарении (1827) издать указ — *«О неповышении чинами отправляющихся на службу в Кавказскую область вторично»*, — там была настоящая кузница столбовых дворян.

А некоторые симпатичные персонажи русской литературы промедлили — и прогадали.

Николай I восстановил в Кавказской области старинный, еще екатерининский порядок чинопроизводства — с некоторой скаредной поблажкой:

«Чиновникам не из дворян, служащим в вышеозначенных местах, срок для получения чина Коллежского Ассессора из Титулярных Советников сокращается вполовину, то есть назначается шесть лет вместо двенадцати».

Иными словами — лафа кончилась.

Этот указ датирован 30 марта 1832 года.

Самый ранний набросок повести Гоголя «Нос» относится к последним месяцам 1832 года или к началу следующего.

Первая там фраза: *«23 числа 1832 года случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие».*

В окончательном варианте — просто *«Марта 25 числа»*, без года.

Все вышесказанное представляет собою простое распространенное примечание к одной страничке повести Гоголя «Нос» — к той страничке, где нарочно обронен почти невнятный в наши дни намек — отчего необыкновенно странное происшествие случилось именно с Платоном Кузьмичем Ковалевым:

*«Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались * на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки,*

* Согласитесь: это прошедшее время дорогого стоит.

непрерывно примут на свой счет. То же разумеи и о всех званиях и чинах. — Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда маиором».

О, я знаю, знаю, что Набоков прав, как никто другой: самые потрясающие события в прозе Гоголя — события слога. Для меня, например, в повести «Нос» ничего нет важнее и страшнее фразы, где седовласый господин бросает старухам и дворникам записки *в глаза*, — и сцены в Казанском соборе — и всех этих физиономий без очертаний, вперяясь хоть в упор... И я не умею внятно вымолвить, почему это важно и страшно, — и Набоков, подозреваю, не сумел.

Но все же Гоголь был отчасти человек, притом литератор; не то чтобы он искал понимания — скорей не желал быть понятым неверно. В частности — не рискнул бы в эпилоге на вызывающую реплику: мол, от подобных сюжетов пользы отечеству решительно никакой (эпилог — 1842 года, т. е. уже напечатано и всем известно про смех сквозь слезы), — не рискнул бы, если бы на виду у всех не размещал в сюжете щепотку благонамеренной сатиры с привкусом злобы дня.

Нос — карикатура на Ковалева: такое же мнимое существо, такой же обман зрения. Ковалев — пародия на дворянина. Кавказский коллежский асессор — не просто мещанин во дворянстве, каких тьмы и тьмы: он — дворянин по недоразумению, по недосмотру начальства — подчеркнем: по устраненному недосмотру прежнего начальства. Итак, Нос — карикатура на пародию: если уж Ковалев сделался к тридцати пяти годам штаб-офицер и дворянин — если вообще возможно, чтобы дворяне изготавливались таким способом, какой сплошь да рядом применялся при покойном государе, — отчего бы тогда и носу этого Ковалева не превратиться в особу даже пятого класса?

Ковалев — последний вывод из Табели о рангах, ее последний выполозок. Самого Готфрида-Вильгельма Лейбница, самого Петра Великого и всех императоров обвел вокруг пальца, и вот — утробно счастлив, ликует... как же не обдать его внезапным, необъяснимым ужасом? Просто шутки ради, а там отпустим, пусть его якобы существует, пусть воображает, будто сбежавший нос — прошедший сон и что есть нелепости почище реальности.

Гоголь охотился на счастливых — чтобы не забывали, для чего человек живет. Счастливые неподвижны, время в них и вокруг них остановилось, — они мертвы. (Взгляните на А. И. Товстогуба, старосветского помещика: мертвец, но и младенец — прожорливый, плодущий — плодит крестьян; тут бесславный постскрипtum к «Тарасу Бульбе» — к «Миргороду» — к истории мировой; но «Коляска» — еще жестче: повесть Белкина без романтических теней.) Майор Ковалев не мертвец — его просто нет, его не разбудишь. А на блаженствующего в ничтожестве кроткого беднягу Башмачкина дунуть непогодой, судьбой — донага разорить эту уверенность, что все в порядке. А к другим подослать провокатора либо ревизора...

Слово *дворянин* выговаривается у Гоголя всегда с особенным выражением (словно трагическую роль играет шут гороховый):

«Как? дворянина? — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. — Осмелюсь только! подступите...» А какой он дворянин? *«Доказательством же моего дворянского происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви Трех Святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение...»* Не дворянин он и не помещик, наш неукротимый Довгочхун, и соль истории вроде бы в том, как смешна жантильомская щекотливость в зажиточном однодворце, — но это для читателей-современников, — или как пуста, из каких низких слов и телодвижений состоит жизнь? — это для других читателей, воображаемых, поумней, — а в толще текста сквозят ни с того ни с сего силуэты несчастных демонов: обращенные в животных, но обреченные на человеческую участь, они тщетно молятся о чем-то в темной церкви — совсем как Нос. Бедные чудовища — скучно им на этом свете! А злополучный *гусак* — не оскорбление, скорей предательство: кто смеет оглашать наши *тамошние* ключки!

Гоголь был, как сказано, внук полкового писаря (будто бы из польской шляхты, да грамоты королевские пропали), зато сын коллежского асессора. Аттестат Нежинской гимназии давал ему вдобавок право на чин четырнадцатого класса. В Петербурге он поступил в канцелярию старшим писцом (не сразу: до того в другой канцелярии провел месяца два за штатом) — и был утвержден в чине (1830). Очень скоро получил повышение — помощник столо-

начальника, — но, конечно, остался в четырнадцатом классе. Тут кто-то — вероятно, Дельвиг — свел его с Жуковским, Жуковский — с Плетневым, а Плетнев, служивший в Патриотическом институте, пристроил там Гоголя учителем истории в младших классах. И вот что случилось.

Гоголь уволился из департамента 9 марта 1831 года, определился в институт 10 марта. Учитель истории четырнадцатого класса из дворян... А 1 апреля того же года появился императорский указ, коим на Патриотический институт распространялись преимущества, присвоенные учреждениям, состоящим под покровительством вдовствующей императрицы. Там было сказано:

«Инспекторам и учителям сих заведений, если высших чинов не имеют, присвоить следующие чины и выгоды:

1. Инспекторы классов состоят в 8-м классе Государственной службы; Старшие учителя, то есть Учители Наук и Словесности — в 9-м. ... Прослужив четыре года, каждый утверждается в принадлежащем его званию классе...»

Из коллежских регистраторов Гоголь вдруг прыгнул (причем, с позволения сказать, задним числом) в титулярные советники! Правда, с условием прослужить в нынешней должности четыре года — не то прощай девятый класс.

Так что когда Гоголь, добиваясь профессуры в Киевском университете, писал в июне 1834 года Максимовичу: *«Если бы какие особенные препятствия мне преграждали путь — но их нет! Я имею чин коллежского асессора...»* — и так далее, — он прилгнул.

И в чине титулярного-то советника не был утвержден.

Путешествовал с подорожной, где значился коллежским регистратором, — и подчищал в ней (рассказывают и Анненков, и Аксаков) чин и фамилию: коллежский асессор Гогель — или Гегель — или Моголь.

Через год эта игра потеряла смысл, какой бы то ни было: Пушкин выхлопотал ему место на кафедре истории в университете Петербургском.

Без году неделя титулярный советник стал без пяти минут — без нескольких лет — профессором: *«состоящим по установлению в восьмом классе»*. Но преподавал только два семестра...

В полицейском рапорте о смерти Гоголя он поименован отставным коллежским асессором, — со слов друзей: соответствующие документы не отыскались — вероятно, сгорели. Но вообще-то, еже-

ли рассуждать по строгости законов, у сына майорши Гоголь вряд ли имелся патент на восьмиклассный чин. Он был всего лишь титулярный советник, хотя дворянин природный, — как Пушкин, как Поприцин.

«Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: “Поприцин!” — я ни слова. Потом: “Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!” Я все молчу...»

Кстати: «Записки сумасшедшего» в тетради Гоголя начаты на странице, увенчанной заглавием: «Несколько слов о Пушкине», — и Гоголь не зачеркнул его, не переменял.

Удивительно, что ни говорите.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТOK

— Стану я стрелять в такого дурака! — сказал, как бы секунданту, Лермонтов звонко, и это были его последние слова.

Дурак не принял подачу — и не захотел догадаться, что самое время тоже какую-нибудь фамильярную грубость рывкнуть в ответ, чтобы все рассмеялись, — а там еще пара сердитых реплик — насчет старинных приятелей и кто паяс, а ко не понимает шуток, — и все-таки впредь настоятельно попрошу, — и ужинать, господа, поехали скорей, ведь ливень! Воображая себя Героем Нашего Времени и почему-то братом княжны Мери, дурак подошел поближе с воплем: «Стреляй! Стреляй!» — и спустил курок. Еще несколько минут Лермонтов, пробитый насквозь, молча содрогался в желтой грязи; приемы новейшей беллетристики позволяют допустить, что он успел завоевать европейскую славу и дважды, как Байрон, жениться, — и прочесть напечатанными все свои ненаписанные стихи.

А нам их не вообразить: кажется, что за последние три года он выговорил все, что хотел, — и так, что лучше нельзя.

Детские сюжеты, блеклые рифмы, громкие фразы — байронизм, православие, народность! — но никогда и нигде не звучала по-русски столь неистово и нежно высокопарная музыка обиды и свободы.

Положим, неуклюжий Полежаев тоже умирал от жалости к себе, — но тот рвался из рук палача по имени Рок, и хрипел: за что? — смертный пот последней надежды, жадные жесты деревянного ямба, стучит полковой барабан.

Даже некто Жозеф Делорм, страдая в нищете чахоткой, разводил в самодельных жардиньерках плакучие метафоры одиночества, — и самые трогательные Лермонтов сорвал.

«...Нет, невидимая рука отстраняет меня от счастья; у меня словно клеймо на лбу, я не имею права соединять свою душу с другой. Прикажите оторванному от дерева листу, летящему по ветру и плывущему по волнам, пустить в землю корни и стать дубом! Вот я — такой мертвый лист. Еще какое-то время я буду катиться по земле, а потом размокну и сгнию.

Но ведь она-то, она же будет плакать, если ты промолчишь! Став женой другого, она будет всю жизнь сожалеть о тебе, ты сломаешь ее судьбу.

— Да, она с неделю поплачет от грусти и с досады; сначала она будет то краснеть, то бледнеть при упоминании моего имени, даже, наверное, невольно вздохнет, узнав о моей смерти. А следующей ее мыслью будет: «Как хорошо, что я вышла замуж за другого — он-то жив!»

Это из дневника Делорма, последняя запись: в октябре 1828-го молодой человек скончался. Его никогда и не было: его жизнь, смерть, стихи, прозу сочинил парижский студент медицины г-н Сент-Бёв, разыграв на романтическом клавире «заблуждения жалкой молодости, оставленной на произвол страстей», — как выразился в 1830-м Пушкин, одобряя, впрочем, «необыкновенный талант, ярко отсвеченный странным выбором предметов». Сент-Бёв избавился таким способом от меланхолии, заодно и от бедности — а тяжба Делорма с судьбой была, в сущности, денежная (Полежаев, тот требовал от нее дворянского герба, — то есть оба искали покоя): вышел в люди, даже в литературные критики, стал впоследствии академик, сенатор, грузный толстяк, — словно и не отрывался от ветки родимой. Его метафоры оплатил жизнью — другой. Лермонтов предпочел последовать за Печериным.

Умные человек всего умней бывает лет в двадцать семь. Тогда он знает все — и что вечно любить невозможно.

Он только не владеет искусством обращения с дураками — и не желает его изучать, почитая презренным и скучным: *«надоело! Все люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались».*

Зато изощряет стратегию против дур: *«ах!!! я ухаживаю и вслед за объяснением говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но по крайней мере встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о, нет, совсем напротив... женщины уж так созданы...»*

Умный человек обычно думает о себе, что он очень умный, и что дураки его не любят именно за это (а значит — понимают! Не

такие уж, выходит, они дураки!), лестная такая неприязнь его до поры до времени смешит.

А на самом деле дурак об умном полагает, что он просто наглый. В превосходящую силу чужого ума никто не верит, поэтому ненавидят не за нее; но когда спасение справедливости становится делом чести — совесть молчит.

Печорин это как будто понимал. И сумел перешутить Грушницкого. Лермонтову не удалось.

Есть такая реальность, в которой никто из нас не старше двадцати семи, — помните, Чехов в повести «Три года» писал про это? — и каждый умен, и каждый лежит в долине Дагестана, убитый, как дурак, другим каким-нибудь тоже дураком, — с догорающей в мозгу мыслью о какой-то совсем не дуре далеко за горизонтом — это очень важно, видите ли: заплачет она или нет?

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу, святыней слова,
Обручена.

И другая меланхолическая мечта: от недостойной роли в бессмысленном фарсе отказаться — бросить свой текст злому режиссеру в лицо! — а из театра все-таки не уходить — затаиться в оркестровой яме на всю вечность, любуясь декорацией, — существовать не страдая, бесплатно, и чтобы темный дуб склонялся и шумел.

Как смешна эта гордыня в существе, подобном герою «Бедных людей»!

«Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревожении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц, — ну, и остальное все такое же, сему подобное... Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка... А впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стихах и пишет —

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну и т.д. Там и еще есть разные мысли, да Бог с ними!»

...Герб русских Лермонтовых такой: «В щите, имеющем золотое поле, находится черное стропило с тремя на нем золотыми четверугольниками, а под стропилом черный цветок. Щит увенчан

обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою короною. Намет на щите золотой, подложенный красным; внизу щита девиз: “Sors mea — Jesus”...».

Жребий мой — Иисус... Лермонтов, между прочим, не знал своего герба — ни девиза. Тосковал по земному отцу, а с небесным шутил, как с Мартыновым, — презрительно:

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил!

Мартынов — устроил.

Есть кой-какие основания подозревать, что это сам адресат стихотворения за такую игру слов сослал вроде бы Лермонтова в свиту демона, им воспетого: дескать, не нравилось виолончелью — побудь фаготом! — правда, зачел ему срок предварительного заключения:

«На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотую цепью поводка, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.

— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого проштуть немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл».

Но лично я не допускаю, что Автор мироздания злопамятен и щекотлив, — и не понимает поэтов и не любит стихов, и не догадывается, какой тяжестью ложится на юное сердце вся эта красота: серебро и лазурь, и ослепительно темная зелень — превращаясь в речь, слишком не похожую на пошлую участь: в коросте подпоручика с казенной подорожной существовать среди звезд ничуть не забавно — соавтору невыносимо пресмыкаться в персонажах — легче умереть от руки дурака.

Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало!

ГОГОЛЬ, БАШМАЧКИН И ДРУГИЕ

Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих. Я думаю, женщины любили его больше...

С. Т. Аксаков

Ты жалуешься, что тебя никто не любит, но какое нам дело, любит ли нас кто или не любит? Наше дело: любим ли мы? Умеем ли мы любить? А платит ли нам кто за любовь любовью, это не наше дело, за это взыщет Бог, наше дело любить. Только мне кажется, любовь всегда взаимна.

Гоголь — сестре, 1850 г.

Есть способ на несколько секунд увидеть его почти что наяву. Надо раскрыть мемуар старика Аксакова против 27 ноября 1839 года, на странице, где Сергей Тимофеевич отправляется в Шепелевский дом, к Жуковскому. На улице мороз, больше 20° по Реомюру, и сильный ветер, а в комнатах жарко натоплено и пахнет воском. Солнечный свет бьет в заледенелые окна. Сидят в креслах Жуковский и Аксаков, беседуют о Гоголе. Проходит два часа. *«Наконец, — пишет далее Аксаков, — я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, — сказал Жуковский, — он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он*

провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер...» — внимание: это, кажется, единственный случай, что Гоголя застали врасплох — *«...и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо стюртука, свех фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас...»*

Можно без конца заглядывать в эту дверь, распахивающуюся так внезапно и тихо, словно во сне, и опять покажется за нею Гоголь. Он работает: пишет «Мертвые души». То есть он всегда пишет «Мертвые души» (или сжигает их), а сейчас поправляет первые главы. И, может быть, в эту самую минуту обдумывает и повторяет про себя фразу, которая, снабдив главного героя теплой вещицей на случай непогоды, подчеркнет в то же время его семейное положение (второй раз на протяжении двух страниц, и неспроста: не однажды еще вздохнет Чичиков о счастии и блаженстве двух душ, и стихи будет читать Собакевичу — послание Вертера к Шарлотте), а заодно эта фраза даст и автору место между действующих лиц. Пропустив вперед безымянного еще путешественника и его слуг Селифана и Петрушку, автор появится на авансцене не прежде, чем герой примется разматывать с шеи *«шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, Бог их знает: я никогда не носил таких косынок»*.

Узнаете вы эту косынку, этот разноцветный шарф? Он красуется у Гоголя на шее; ни Чичиков, ни Гоголь еще долго с ним не расстанутся; и есть основание думать, что Николай Васильевич самолично связал эту штуку на спицах совсем недавно, осенью 1839 года в Москве, когда жил в доме Погодина (маленький сын Погодина видел знаменитого гостя за вязаньем). Вот вам и «не могу сказать, кто делает», вот вам и «никогда не носил». О, как он любил подшутить над читателем, и как это увлекательно — разгадывать его хитрости! Возьмите, скажем, выбор крестного имени для новорожденного Башмачкина. С каким жаром настаивает Гоголь, что странное имя — Акакий — отнюдь не выисканное, «что его ни-

как не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как...». И приводит подробности, долженствующие нас убедить неопровержимо: родился ребенок такого-то числа («против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта»), восприемников звали так-то и так-то, отличнейшие, между прочим, были люди; а стояли они подле кровати по правую руку, а сама кровать стояла против дверей; а имена в календаре попадались «все такие», — ну, словом, все сделано, «чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно». Чего доброго, <-> и поверишь, будто судьба с первого дня, именно с 22 марта, ополчилась на бедного малютку, отказав ему даже в благозвучном имени. Ведь как все вышло? *«Родильнице представили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата»*. Потом — *«развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий... Еще переверотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. “Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий”... Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник»*.

И так напирает Гоголь на все эти обстоятельства, так тщательно расписывает процедуру, что нельзя, кажется, не заподозрить подвоха, и тянет доискаться, в чем тут дело. Первым читателям «Шинели» это было, конечно, легче, поскольку календарь, упомянутый в повести, едва ли не у каждого имелся под рукой. И каждый, просмотрев *«Полный месяцеслов всех празднуемых православною грекороссийскою церковию святых...»* (название очень длинное, книжка довольно толстая, издана в Санкт-Петербурге в 1827 году), мог убедиться, что:

а) ни под 23 марта, нигде поблизости не значится ни одного из названных имен, кроме Варахисия (28 марта; кстати, орфография у Гоголя другая, своя);

б) ни разу эти имена не встречаются вместе; Мокий, Соссий и Хуздазат попросту не могут оказаться в одной строке, потому что первый чествуется церковью 3 июля, второй — 21 апреля, третий — апреля 17, это страницей раньше; и другие три имени никак не вы-

ходят подряд; Трифилий — 13 июня, Дула на следующей странице — 16 июня, а Варахисий, как уже сказано, — 28 марта, с последними двумя именами та же история: Павсикакий (13 мая) — на 34-й странице, а Вахтисий (18 мая) — на 35-й;

в) лишь немногие из этих имен напечатаны наособицу, а большая часть — в сочетаниях, но совсем не в тех, что сочиняет Гоголь, так что если бы, например, Арина Семеновна Белобрюшкова, женщина редких добродетелей и крестная мать героя «Шинели», в самом деле развернула календарь, то вышли бы такие имена: Мокий и Марк, или: Иона и Варахисий, или: Симеон, Исаак и Вахтисий.

— Ну зачем вам все это? — с досадливым недоумением спрашивали меня в семинарской библиотеке; тамошние сотрудники не сумели (или не захотели) отыскать в своих книгах ни одного из поименованных Гоголем святых, мучеников и преподобных (и в нынешнем церковном календаре никого из них нет, кроме одного Мокия).

В самом деле, зачем? Даже если Гоголь просто-напросто выбрал из святцев экзотические и забавные имена, что из того?

Но мне все мерещилось, что это для Гоголя слишком просто, и хотелось точнее угадать ход его мыслей. И вот что оказалось. Имя Акакий (то есть «незлюбивый») было, разумеется, прибрано Гоголем сразу (фамилию-то он поначалу имел в виду другую — Тишкевич). И Гоголь взял «Месяцеслов», это самое издание 1827 года (уж поверьте на слово, потому что доказывать долго), и заглянул в указатель (который так и называется «толкователь имен»): когда, дескать, именины Акакия да кто его ближайшие по календарю соседи? И выяснил, что Акакиев православная церковь чтит семерых, причем одного из них поминает дважды. И что почти все эти легендарные Акакии действовали и погибали в одиночку, и даже тот Акакий, который был казнен в числе сорока мучеников, — даже и он не обеспечивает готовой строчки нужных, то есть нелепых на слух имен. Пришлось приняться за более отдаленное окружение. Первым сыскался, конечно, Хуздазат: у него с Акакием, епископом Мелитенским, именины в один день. На следующей странице нашелся Соссий. Посредине между ним и сорока мучениками — Варахисий. Следующий Акакий появляется в календаре 7 мая, на 33-й странице, а на 34-й, как уже известно, — Павсикакий, и на 35-й — Вахтисий, да не сам по себе, а почти рядом еще с одним Акакием! Ну и так далее. Гоголь дошел до 5 июля и закрыл «Месяцеслов».

И, стало быть, он надул читателя, и с особенным удовольствием надул, прямо в глаза ему пресерьезно повторяя, будто в календаре, для всех доступном, под такой-то датой стоят вот такие-то удивительные имена (и поверили, пожалуй! даже цензура не придралась); будто назвать героя «Шинели» иначе «было никак невозможно», и автор тут ни сном ни духом, а все решили календарь, судьба и старуха Башмачкина (почему она старуха? потому что Акакий Акакиевич так и родился титулярным советником? и где его отец?). То есть вообще-то, конечно, никого таким образом обмануть нельзя, всякий образованный человек и без календарей понимает, что автор, вымышляя персонажей, сам дает им имена. Но Гоголь так упорствует, словно и впрямь надеется ввести нас в обман; так словоохотлив, и подробностями сыплет; и если мы поверим, что он действительно хлопчет о том, чтобы нас провести, то шутка удалась!

И, должно быть, Гоголь подозревал и даже рассчитывал, что какой-нибудь простак попадется-таки на удочку и затеет экзаменовывать его по календарю. Как видите, и поймал одного за полтора столетия.

Но точно ли это шутка, только ли шутка? И зачем сам-то он копался в «Месяцеслове»? Эта страница ночного гадания, на которой Гоголь сам с собою играет в судьбу, освещена какою-то потайной, очень личной мыслью. И припомните, пожалуйста, дату, Акакий Акакиевич родился и почему-то (так получается) сразу был окрещен *«против ночи, если не изменяет память, на 23 марта»*. Это значит — 22-го. А вот выписка из метрической книги Спасо-Преображенской церкви м. Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии за март 1809 года: *«Марта 20-го у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го»*.

Кажется, этого совпадения тоже никто не замечал. Но не случайно же Гоголь пометил Башмачкина этим невидимым знаком родства; и Чичикову отдал свою косынку не зря; и с Поприщиным, Хлестаковым, Подколесиным обращается так заботливо — наряжает, причесывает, угощает, придумывает им занятия и разговоры, — словно все они, и даже самые противные из них, — его игрушечные братья.

«Никто из моих читателей, — говорит Гоголь в «Авторской исповеди», — не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною».

Башмачкину Гоголь передал участь, которой он сам избежал, но которой больше всего страшился. *«Холодный пот проскакивал на лице моем, — писал он, еще когда ему было только восемнадцать лет, — при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом, — быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно».*

И в другом письме, посреди мечтаний о Петербурге, о веселой комнатке окнами на Неву: *«Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно жить в этом райском месте, или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире».*

Тут не одно лишь честолюбие. Тут даже меньше мечты о славе, чем жажды совершить нечто важное, прекрасное, *«сделать жизнь свою нужною для блага государства», стать «истинно полезным для человечества»: «Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага».*

Можно гадать, когда и от кого усвоил нежинский гимназист по прозвищу Таинственный Карла такие мысли. Достоверно одно: с юных лет и до самой смерти он верил в высокое назначение человека — каждого человека, а не только немногих избранных, особо одаренных, заметных. О своих соучениках, которые отказались от надежды сделать карьеру в столице, *«наостряют лыжи обратно в скромность своих недалгих чувств и удовольствовались ничтожностью, почти вечною»,* — Гоголь замечает: *«Хорошо, ежели они обратят свои дела для пользы человечества. Хотя в самой неизвестности пропадут их имена, но благодетельные намерения и дела оветятся благоговением потомков...»*

Так что речь не о славе, а о смысле жизни. Гоголь не только верил — он знал, он с необыкновенной силой чувствовал, что человеческая жизнь имеет смысл; что человек обязан отыскать и осуществить свое призвание; что нет лишних, случайных, сверхштатных существований, но каждый из нас является в мир как необходимое действующее лицо.

Но так же ясно Гоголь видел, что большинство окружающих его людей ни о чем таком даже и не задумывается; едят, пьют, спят, заняты мелочами, пустяками; хоть под микроскопом изучай — не

найдется в их жизни ни проблеска смысла; и никакой пользы государству, человечеству; и что самое страшное и отвратительное — многие ничуть не горюют об этом, даже довольны, едва ли не счастливы; пренебрегают человеческим достоинством — и не страдают; их на свете словно и нет. Как боялся юный Гоголь пропасть в этой толпе: *«Как тяжело быть зарытому вместе с созданиями низкой безвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться...»*

Так он писал в 1827 году, не сомневаясь, что стоит лишь вынырнуть из провинциальной пучины, доплыть до Петербурга, а там в величественных зданиях обитают люди совсем иные; там на прекрасном берегу дожидается его, простирая руки, Государство, чтобы доверить ему, как и всем столичным жителям, должность необходимую, трудную и почетную; и по утрам он, коллежский регистратор Гоголь-Яновский, будет действовать, принося пользу, а вечерами станет наслаждаться искусством.

Но полгода всего проведя в Петербурге, Гоголь уже и помыслить не может без содрогания о том, чтобы *«пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно... Изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе. — Это убивственно! Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва стающим себя содержать прилично, и не иметь силы принести на копейку добра человечеству...»*

Положим, у Гоголя пока еще не было времени и способов узнать как следует жизнь «сих служащих». (Он еще поступит — ненадолго — в департамент, на шестисотрублевое годовое жалованье, еще намерзнется — зимой 1829 года — в летней шинели, утешаясь мыслью, что *«взявши в сравнение свое место с местами, которые занимают другие»*, он устроен получше весьма даже многих).

Но как бы там ни было, детским иллюзиям конец, а требования, предъявляемые Гоголем к жизни — своей ли, чужой, — не смягчаются нисколько. На этих требованиях он построит свою литературу. Скоро, скоро примется Гоголь, спасаясь от приступов невыносимой тоски (нет худа без добра: тоска дает комическому вымыслу удивительную свободу, независимость от реальности,

почти невесомость: помните похождения Носа? а собачью переписку, перлюстрируемую безумцем?), очень скоро примется он сочинять повести, комедии, а там и Поэму, — и ужаснет современников зрелищем жизни, искаженной затмением смысла; изобразит чуть ли не все (хотелось — все!) мыслимые фазы этого затмения, выведет вереницу лиц и судеб, из которых улетучивается, убывает, исчезает человеческое содержание; и назовет мрачную стихию, к которой прикован его взгляд, новым и жутким именем — пошлость.

«Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. И чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого, как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей».

Действительно, был такой разговор, по крайней мере один — декабрьским вечером 1833 года, когда Гоголь прочел Пушкину «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Сомнительно, однако, чтобы Пушкин изъяснялся такими оборотами — они сугубо гоголевские. Пушкин вообще ни разу в жизни не написал слово «пошлость», — надо полагать, что и не сказал. В «Словаре языка Пушкина» находится только эпитет «пошлый», и ему приписаны такие значения: 1) весьма распространенный, ставший привычным, всем известный, ходячий; 2) обыкновенный, ничем не примечательный, заурядный (таков, например, тот «мадригал», что нашептывает Онегин Ольге Лариной, и напрасно некоторые думают, будто он ей гадости бормотал); 3) свидетельствующий о дурном вкусе, низкопробный.

Очевидно, что Гоголь пользуется другим измерением: его «пошлость жизни» — категория моральная. Это та «низкая существенность», из которой на девять десятых состоит человек, и его готовность умалиться до дроби; это его согласие променять свою роль в истории на животные радости; это добровольная ничтожность; это клиническая смерть души, способной наглухо запахнуть в

нищенское благополучие и наслаждаться мнимым покоем посредни трагической реальности.

А. А. Башмачкину, например, живется недурно. Правда, Гоголь почему-то урезал ему жалованье (сам-то он, имея чин гораздо пониже, со дня зачисления в штат получал в полтора раза больше; а с другой стороны — при чем тут стаж; у Гоголя за плечами была гимназия; и что же поделывать, если А. А. ни на какую другую должность не годится и полюбил обязанности копировального автомата), но низенький чиновник с лысинкой на лбу — и *«с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием»*. А что ему: от полочки до полочки с грехом пополам перебиться можно; скучать не приходится и некогда; с сослуживцами отношения... ну, молодежь, верно, пошучивает неделикатно, гадко, а зато премиями не обходят и даже повышение предлагали. Здоровье в порядке. Чего еще надо? Ну скажите, пожалуйста, положив руку на сердце: многие ли каждый вечер ложатся спать, *«улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра»*? Сжался весь, съезжился, усох, как лимон (помните?) на бюро у Плюшкина, — ростом не более лесного ореха, — но ведь доволен, бессловесный, жизнью своей мирной доволен, которая *«и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким...»* (Действуй расторопнее столичная полиция против преступности, — глядишь, так и не узнал бы горя наш Акакий Акакиевич.)

Доволен! И это и есть самое печальное в повести, а вовсе не низкая оплата канцелярского труда при Николае Первом. Бедность, кротость и маниакальное трудолюбие только спасают Башмачкина от нашего презрения, отличают от какого-нибудь Ивана Антоновича — кувшинного рыла. А прибавьте ему чин да повысьте оклад, да увеличьте сумму сбережений, — и это уж будет не титулярный советник Башмачкин, а коллежский асессор (или маиор) Ковалев; еще прибавьте — выйдет надворный советник Подколесин. И так далее. Чем лучше чувствует себя на свете человек, — тем хуже для него, тем ниже его падение, бессмысленней судьба. И пока не отнимут у него что-нибудь, хоть сущую малость, — не догадается, что ограблен давным-давно и навеки. А как догадается, как поранится, подобно Поприщину, вопросом: *«Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титуляр-*

ный советник?» — тут же сходит с ума. (Акакий Акакиевич догадался — в предсмертном бреду.)

И несчастные — несчастны, однако счастливым своим Гоголь сострадает еще сильнее; они так нуждаются в любви. Им это слово редко в голову приходит, и Акакий Акакиевич мечтает о новой шинели, как о *«какой-то приятной подруге жизни»*, а Подколесин, наоборот, — о невесте как предмете вполне неодушевленном: *«какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко»*; а Чичиков, хоть и гонит его по свету некий рок, удивительно напоминающий любознательность самого Н. В. Гоголя, — впрочем, какой же русский не любит быстрой езды, — Чичиков, представьте, преследует одну лишь цель — *«всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства»*. Но автор-то знает: не шинели им нужны, и не прелесть купеческих и губернаторских дочерей, и даже не потомство... *«Что значит, однако же, что и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся через деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: “Брат, спаси!”»*

А и в самом деле, отчего это Поприщину не только не бывать испанским королем, но и своему отечеству не доставить даже малейшей пользы? (Да что там государственная польза? и счастья личного-то ему не видать, и никогда, никогда не улыбнется уроду с волосами, как сено, дочка его превосходительства.) Отчего Башмачкин не пишет повестей, как Гоголь (или хотя бы статеек, как Тряпичкин), а пропадает ни за что, за шинель с кошачьим воротником? Отчего за краткий срок от юности до смерти человек, из которого *«может быть чудо, а может выйти и дрянь»*, — почти всегда и весь разменивается на медную мелочь? Как писал один забытый романтический критик: *«Ведь все люди рождаются на свет благородными и созданы для великих дел, и «кувшинное рыло» — только страшная маска, надетая низким жребием на истинное лицо человека, и Манилов — может быть, Моцарт, ставший Маниловым, и в Коробочке умерла Жанна д'Арк... Леонардо и Собакевич — кто ответит за эту страшную разность?»*

Акакий Акакиевич не слыхивал подобных рассуждений. Он вполне разделяет гипотезу своих сослуживцев, *«что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной»*

на голове», что он от рождения ничтожный и смешной. Потому они его и дразнят (как будто рождены для этих скверных забав), потому он и терпит. Дескать, на роду так написано. Как сказал бы Городничий, закон судеб. И читатель повести «Шинель» мог страницей раньше воочию удостовериться, как этот закон непреложен. Разве не на глазах у читателя появилась на свет эта забавная и жалкая фигурка? Разве не доказали только что, и пренастойчиво, читателю, что предопределены от века и судьба, и характер, и наружность Акакия Акакиевича, что даже неблагообразное (хоть и с благородным внутренним значением) имя свое он носит «совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно»? (Вот он, последний — да еще последний ли? — смысл, иронический, конечно, той пресловутой страницы.)

И, пожалуй, рассмешил бы незадачливый герой доверчивого читателя, если бы не глянуло из повести на них обоих еще одно лицо — *«один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться»* над своим чудаковатым коллегой, но — *«вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом свете»*.

Узнаете ли вы этого молодого человека, занимающего вакансию писца в Департаменте уделов? Если не ошибаюсь, у Гоголя нет других автопортретов; этот, с Башмачкиным, — единственный. И, за исключением воспоминаний Аксакова, это единственное изображение, где Гоголь, хоть и закрывшись рукою, смотрит прямо на нас:

«И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...»

Марья Ивановна Гоголь осмелилась однажды в письме назвать обожаемого Никошу гением. Надо признаться, ей порядком досталось от почтительного сына. Изъявления восторга он переносил еще хуже, чем упреки, советы и насмешки; ведь в похвале таится самонадеянность: кто восхищен, тот не сомневается, что понял. Но чем дороже Гоголю был его замысел, тем несовершенней казалось ему исполнение; пропасть эта с каждым днем все раздвигалась, и

он не верил, что его могут понять как должно, и терзался от непонимания, и оскорблялся претензией на понимание:

«...Не судите никогда, моя добрая и умная маминька, о литературе... Знаете ли вы, в какой можно попасть просак... Знаете ли, что в Петербурге, во всем Петербурге, может быть, только человек пять и есть, которые истинно и глубоко понимают искусство, а между тем, в Петербурге есть множество истинно прекрасных, благородных, образованных людей. Я сам, преданный и погрязнувший в этом ремесле, я сам никогда не смею быть так дерзок, чтобы сказать, что я могу судить и совершенно понимать такое-то произведение. Нет, может быть, я только десятую долю понимаю. Итак, не говорите о ней. Если вас спросят — отвечайте, но отвечайте односложно и переменяйте тотчас разговор на другое».

Какое чудное правило! Прямо золотое.

ЗОЛОЧЕННЫЕ ШАРЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную.

Х. К. Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен прожил семьдесят лет и написал пятьдесят томов. Романы, поэмы, пьесы, очерки стяжали ему европейскую славу. Все они забыты. И сказки Андерсен сочинял во множестве, однако лишь некоторые из них прекрасны. Век прошел, и собрание сочинений превратилось в тоненькую книжку для детей.

Но эти шедевры дошкольной литературы — не все, что осталось от Андерсена. Он создал свой жанр, вернее — образ жанра. Сказка Андерсена — это не только «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине» или «Тень». Сказка Андерсена — это сцена воображения, населенная нарядными фигурками, уставленная занятными вещицами, — и музычка разбитая бренчит, летают аисты и ангелы, не умолкает взволнованный тенорок рассказчика, — и обязательно торжествует справедливость!

Берутся любые существительные, и с помощью нескольких самых необходимых глаголов разыгрывается в лицах нехитрая схема судьбы.

«Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уж сочинять пьесу; одно ведет за собою другое, и выходит чудесно! Вот трубка без чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будут папаша и дочка!

— Так это всего два лица! — сказала Анна. — А вот старый мундирчик брата. Нельзя ли и его взять в актеры?

— Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто — вот уж и интересная завязка: тут пахнет несчастной любовью!»

Сказку можно сложить из любых пустяков. Остроумие и фантазия легко свяжут их нитями банальной житейской истории. Пусть вещи ссорятся и женятся. Люди и куклы различаются только размерами, а домашние животные — переносчики сюжета.

И вот фабула достигает иносказательного правдоподобия. Оловянный солдатик влюбляется в бумажную танцовщицу. Фарфоровая пастушка убегает из дому с фарфоровым трубочистом.

Это не повествование, а игра. Нам протягивают руку, приглашая участвовать. Правила такие: мир прозрачен насквозь. Вообще отменяется всякая непроницаемость, нет глухих стен и неслышных мыслей, нет неодушевленных предметов, вся природа говорит человеческим голосом, пространство и время не представляют препятствий.

Теперь, используя эти льготы, а также прибегая по мере надобности к вмешательству Случая и Неба, сказка установит справедливость в любых предлагаемых и придуманных обстоятельствах. В этом — смысл игры и пафос Андерсена.

Не колдовской оборот от горя к счастью, не победа лукавой доблести над враждебной и нечистой силой, — о, нет! Андерсен решает фабулу как моральное уравнение: награда соответствует заслуге, возмездие — проступку, будущее героя отражает его прошедшее, как следствие — причину. Все держится законом сохранения душевной теплоты.

В школе на уроке физики показывают опыт: если на листе бумаги рассыпать железные опилки, а снизу поднести к листу магнит, — с мгновенным шорохом бесформенная кучка разойдется в округлый, правильный узор.

Магнит Андерсена — человеческое сердце. Жизнь переигрывается наново. Усилием веры, модуляциями голоса исправляет сказочник беспорядочный ход событий. Поэтому его так легко принять за доброго волшебника. И мы видим Андерсена героем пьесы Шварца или новеллы Паустовского: бесстрашный, беззащитный, мудрый мечтатель.

Но, сколько можно судить, он скорее походил, особенно в молодости, на Вильгельма Кюхельбекера — то есть на тыняновского

Кюхлю. Странная внешность; неуклюжие манеры; ребячливые выходки, в которых добродушие перемешано с исступленной верой в высокое предназначение.

Они были почти ровесники — Андерсен лет на пять моложе. С годами сходство прошло: слишком разнились обстоятельства и судьбы. Кюхельбекер порою впадал в отчаяние и бешенство, Андерсен — в уныние. Вильгельм Карлович вечно пылал то любовью, то враждой, а Ханс Кристиан провел жизнь в прохладе себялюбивого целомудрия: путешествовал и сочинял; отвлекался, не увлекаясь.

(Говорят, одна шведская дама, певица по имени Йенни Линд, раз навсегда — году так в 1840 — объяснила ему, что в страсти человек хуже чем одинок: одинок смешно; что взаимность сохраняется только при умеренной температуре.)

Кюхельбекер и Андерсен были оба романтики: один был недоволен собой и целым миром, другой хотел нравиться всем и безусловно веровал: провидение шествует об руку с прогрессом.

Он на собственном опыте убедился, что мечты сбываются, что человека окружает настоящий заговор добрых!

«Жить ему было не на что, — читаем в биографии Андерсена, — и в тот же вечер, отчаявшись, он отправился к директору консерватории, итальянцу Сибони, в доме которого как раз принимали гостей. Кухарка помогла мальчику проникнуть в переднюю, где его заметили...»

Вот откуда в сказках Андерсена этот мотив: бедный мальчик заглядывает из прихожей в господские комнаты, а там вокруг сверкающей елки веселятся разряженные дети! Но дальше:

«Пение и декламация Ханса Кристиана понравились Сибони и его друзьям... Самую же большую помощь оказал Хансу Кристиану состоящий в дирекции театра статский советник Ионас Коллин. Он выхлопотал у короля Фредерика VI ежегодную стипендию для Андерсена. Кроме того, юношу приняли бесплатно в гимназию города Слагельсе.»

Неудивительно, что свои пространные мемуары Андерсен назвал «Сказка моей жизни». Эта биография не терниста. Беспечальный путь наверх, странствие Гадкого утенка навстречу невероятной, неминуемой удаче. Слава, чины, дружба титулованных особ. Премии, награды, пышные юбилеи, грандиозные похороны и, наконец, бессмертие. Настоящее литературное бессмертие — вечное имя, вечная память и любовь.

Да, похоже на сказку. Казалось бы, человек не совершил ни единого значительного поступка, зато изготовил уйму патриотичес-

ких стихотворений; жил как бы вне истории, тешась происками мещанского тщеславия... Этого, разумеется, довольно, чтобы преуспеть, но невероятно мало для того, чтобы заслужить восхищение Гейне и Диккенса (кстати: разве Оливер Твист — не Гадкий утенок, разве Крошка Доррит — не Дюймовочка?) и стать неизменным спутником наших детских воспоминаний.

Был ли он гением, этот безобидный, плодовитый, сентиментальный писатель? Во всяком случае, он с необычайной отвагой выдумки, с неколебимой наивностью защищает последние иллюзии девятнадцатого века. Кто знает, будь Андерсен вполне человеком своего времени и возраста, не остался навсегда провинциальным подростком, — может, и не удалось бы ему высказать очарование душевного уклада, покоящегося на любви, добродетели и чести — понятиях затейливых и прочных, словно архитектура старинного европейского городка...

В мироздании Андерсена уютно, как в детской: на столе — хрестоматия, на полу — игрушки, и за зеркалом — пук розог.

Сказка выписывает надежный рецепт успокоительного, вроде капель датского короля. Она говорит, что ни одна слезинка не прольется зря. Вселенная человечна, страдание не бессмысленно, и сама жизнь — сказка с бесконечным продолжением, и смерть не страшна для тех, у кого хорошие отметки за поведение.

«И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажи-ка! — говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, — позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.

— Но ведь Смерть — чудеснейший Оле-Лукойе! — сказал Яльмар. — И я ничуть не боюсь его!»

Катехизис и кондитерская! Прописи на конфетных обертках. Милосердие благоухает марципаном, терпение отдает леденцовой кислинкой, а вина горчит...

Так посреди нашего детства сияет святочной философией, звенит дешевой, милой мишурой сказка Андерсена — старомодный, новогодний жанр. Сюжет украшен золочеными шарами и восковыми яблоками, а на вершине светится рождественская звезда.

Постскриптум:

Больше двадцати лет тому назад одна маленькая девочка сказала своему отцу, что сказка «Дюймовочка» — слишком печальная.

— Как это печальная? — удивился отец, воображавший отчего-то, будто много понимает, особенно в литературе. — Все оканчивается просто прекрасно. Дюймовочка выходит замуж за короля эльфов. Праздник, танцы, и все такое.

— А мама Дюймовочкина где? — укоризненно спросила девочка.

И легкомысленный отец — а это был я — впервые в жизни припомнил, что действительно ведь, у бедной женщины не было детей, она пошла к волшебнице и так далее — а потом ребенка у нее похитили; откуда ей знать, что Дюймовочка жива, счастлива и пляшет с эльфами на какой-то поляне? Ну, и соврал, разумеется, — что, дескать, завтра же Дюймовочка напишет маме письмо и поедет к ней в гости.

Почти необъяснимо, что Андерсен сам не позаботился что-нибудь в этом роде — гораздо лучше! — присочинить.

И почему другую девочку, из сказки про красные башмачки, он доводит до того, что она умоляет палача отрубить ей ноги?

Или чем плохо и в чем такая уж непрощаемая обида для принца, что он понравился в обличье свинопаса, что его целуют не за титул, а за личные качества — хотя бы за техническую смекалку?

А потом я где-то вычитал эту историю — надеюсь, не совсем правдивую, — как чуть ли не все дети Скандинавии собрали по монетке, чтобы подарить любимому писателю на день рождения самую большую в мире коробку шоколадных конфет, — как Андерсен, заподозрив, что конфеты отравлены, отослал их своим племянникам, — а через несколько дней, убедившись, что с девочками ничего плохого не случилось, добрый волшебник забрал коробку обратно.

И я понял, что не Андерсена мы любим, — да и навряд ли хоть один автор стоит любви как реальный персонаж, — и даже не сказки Андерсена, — но сказку о его сказках.

Постпостскрипtum:

Оперение обязывает: выйдя в лебеди, Андерсен стал чаще и громче прежнего курлыкать и трубить. Его, так сказать, зрелые произведения требуют от читателя такой же невинности, в какой до седых волос упорствовал автор. Испорченные — не оценят всех этих трогательных историй: он был сын швейцара, она — генеральская дочь, но благодаря одному графу он выучился за границей на архитектора, по возвращении сделался профессором (надо думать, архитектуры же) и получил чин, а за ним другой, и, наконец —

«Милость свыше пролилась на него, и когда он сделался статским советником, Эмилия сделалась статскою советницею, что никого не удивило», — потому что жизнь идет вперед, особенно в Дании...

А то вот еще про крестьянского мальчика, прозванного Сиднем — из-за каких-то проблем с опорно-двигательным аппаратом. *«Он не сходил с постели, но руки у него были проворные, и он прилежно вязал шерстяные чулки и даже одеяла, которые госпожа помещица хвалила и покупала».* На Рождество господа подарили Сидню сборник сказок, и он по вечерам читал их своим родителям, причем выбирая такие сюжеты, которые смягчили бы их сердца, — поскольку *«от нужды и тяжелого труда огрубели не только руки, но и сердце у мысли бедняков; они не могли переварить своей бедности, не могли взять в толк ее причин и, говоря о том, раздражались все больше и больше».*

А этот, значит, Сидень вычитывал им из любимой книжки, что экономическое неравенство — всего лишь необходимая педагогическая мера: Господь Бог вынужден прибегнуть к ней, чтобы отучить население Земли от склонности к непослушанию; но, между прочим, Он же обустроил нашу жизнь так, что на самом-то деле не в деньгах счастье.

И эта последняя идея оказалась до того доходчивой, что батюшка с матушкой Сидня (вообще-то, по-настоящему его звали Ганс) смеялись от радости.

Мимо их жилища проходил школьный учитель. И поинтересовался причиной веселья. И разговорился с Гансом.

А учителя раза два в году приглашали отобедать в замке. И он воспользовался случаем — *«рассказал господам, какое значение приобрела для бедняков та книжка, которую они подарили мальчику, какое благодетельное, отрезвляющее влияние имели на бедняков какие-нибудь две сказки!»*

Растроганная помещица села в карету и лично привезла благо-разумному ребенку *«белого хлеба, фруктов, бутылку сладкого сока и — что всего больше обрадовало Ганса — вызолоченную клетку с маленькою черною птичкой. Как она мило насвистывала!»*

Но в доме жила кошка. И однажды Ганс увидел, что кошка из-готовилась на птичку напасть. И в отчаянии запустил в кошку сво-ей драгоценной книжкой.

Но кошка все-таки прыгнула на сундук, на котором стояла клет-ка, и повалила ее.

И тогда, в эту страшную минуту, произошло следующее: малыш Сидень, беспомощный инвалид, соскочил с постели! наподдал кош-ке! спас птичку!

«Он вдруг выздоровел. Это иногда случается, случилось и с ним».

Надо ли досказывать? Понятно и ежу, что на следующий же день Ганса призвали в замок, и что вскоре добрые господа на свой счет отправили его за море — учиться, учиться и еще раз учиться; обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выра-ботало человечество.

Потому что Господь печется и о детях бедняков, особенно в Дании.

Теперь у Ганса было только одно желание: дожить до ста лет и когда-нибудь сделаться школьным учителем.

«— Дожить бы и нам до этого! — толковали родители, пожи-мая друг другу руки, словно шли к причастию».

Полное, то есть, и окончательное торжество сахара над клюк-вой!

Подумать только, что это рукопожатие сочинил тот самый Ан-дерсен — Ханс Кристиан, — у которого когда-то старухи, любив-шие выпить, окрашивали водку в черный цвет — в знак сочувствия королю: такая злющая у него дочь, верная смерть женихам!

У которого фарфоровые статуэтки любили друг друга, пока не разбились.

И человек предлагал собственной тени выпить на брудершафт, а тень (эмансипированная тень! физическое лицо с юридическим адресом), обнаглев от равноправия, отвечала:

«— Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоз-дем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне “ты”... Я не могу позволить вам говорить мне “ты”, но

сам охотно буду говорить вам “ты”; таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину».

...Штук 17 было таких сказок. И, стало быть, 153 — не таких. Неприметно и стремительно впал в бесчувственную чувствительность. Уговаривая себя и всех, что смерть, в сущности — по большому счету — в долгосрочной перспективе, — лучше любви.

(Привет г-же Йенни Линд, шведскому соловью, от профессора и орденоносца!)

Впрочем, и после сорока ему иногда приходили в голову на редкость удачные мысли. Мастерство, как говорится, не пропьешь.

Вот стоит в саду снеговик: глаза — осколки кровельной черепицы, рот — обломок граблей. А сад — вокруг дома. А в доме, в подвальной этажке, топится печка — и снеговик через окно видна: черная, железная, на четырех ногах, с медным светящимся животом.

«Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание, — в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик».

Еще бы не понять! Это страсть. Бедное чучело беснуется и ропщет. (*«Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... Прижаться к ней во что бы то ни стало...»*) Мечтает и чахнет. Пока, согласно закону природы, при первой же оттепели не обращается в жидкость.

Только-то и всего?

Нет, не только. Имеется эпилог. И в нем — разгадка. Этого нелепого романа и всех других.

Знаете, что осталось от снеговика после того как он рухнул? Что-то вроде железной согнутой палки; видимо, на этом-то стержне его, так сказать, и воздвигли мальчишки в начале зимы.

«— Ну, теперь я понимаю его тоску! — сказал цепной пес. — У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!»

Психоанализ и реализм — отдыхают.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ!

— А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок, — шептала она, продолжая как-то усиленное пощипывать меня за рукав, — что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

— Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, — отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

«Униженные и оскорбленные»

— «Бедные люди»? Слезоточивый задор этой старомодной, невинной вещицы бесхитростен, как ее название. Бедная Лиза, укутанная в гоголевскую шинель. Дескать, и чиновники любить умеют. И под крышами Петербурга живут мучительные сны. И на черных лестницах от судеб нет защиты. И до чего же скаредно платят в России за труд, и как безутешно плачет неудачник... Жалобный дуэт флейты и тромбона в замызганном дворе в двух кварталах от Фонтанки. Торопливые переговоры надломленной швейной иглы с пером канцелярским, гусиным, истертым.

Она ему:

— *Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить.*

А в ответ:

— *Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазьев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись — слава Богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее...*

Человеколюбивое, одним словом, сочинение. Маленько скучноватое в своей честной бедности. Два голоса жужжат из такой уж густой паутины, что трогательнейший в мире слог не спасет; без надежды, без тайны — что за роман?

Одна дама в 1846 году, весной, так и сказала профессору Никитенко — в ее гостиной он увидел на столике «Петербургский сборник», разрезанный как раз на середине «Бедных людей»:

— Плачу, а дочитать не могу!

«Содержание «Бедных людей» так просто, так просто, — разводил руками Аполлон Григорьев, начинающий рецензент, но будущая знаменитость, — что только с слишком большими силами можно было отважиться на трудный подвиг развить из этого бедного содержания целую внутреннюю драму...»

Простое содержание, бедное. Простая повесть о бедных людях. Бедный сюжет о простых существах и чувствах. Таков был общий глас. И самый сильный критик только и сумел, что обратить вздох удивления в восклицание восхищения:

«Посмотрите, как проста завязка в «Бедных людях»: ведь и расказать нечего!»

Это даже и слишком. Кто-нибудь, у кого достало бы досуга и терпения перечитать роман, рискнул бы, пожалуй, на возражение. Можно ли назвать простой завязкой странный, отчаянный, фантастический поступок?

Убогий копиист, из тех, что исхитряются в Петербурге существовать на 400 рублей в год жалованья, из тех самых, кому новая шинель (неправду, что ли, написал Гоголь?) заменила бы личное счастье и смысл жизни, некто из тьмы Башмачкиных, облезлая канцелярская крыса, — похищает и берет на содержание — точно офицер какой-нибудь гвардейский, точно ротмистр Минский из повести Пушкина «Станционный смотритель» — барышню семнадцати лет; лжет ей о каких-то своих капиталах в ломбарде; осыпает подарками, проматывая на конфеты и цветы выпрошенное вперед жалованье чуть ли не будущего года; в театр водит! — на наших то есть глазах улетает в пропасть, не отпуская Варенькиной руки, да еще изо всех сил улыбаясь, — и эта завязка, по-вашему, чересчур проста?

С какой тревогой девочка пытается угадать: что происходит? Этот смешной человечек, будто бы родственник — седьмая вода на киселе, но в сущности третий встречный, — какое будущее он для нее

придумал? Не отпустил в гувернантки — отговорил наотрез от единственного, чудом блеснувшего шанса (неверного, правда) прожить без него. Стало быть, уверен, что не даст ей погибнуть — ведь не играет же он ею, ведь это было бы злодейство, а он такой добрый...

Из этого-то сюжета выводите вы, г-н Первый Критик, пресноватую, действительно немудрящую — хоть и гуманную — мораль:

«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: “Ведь это тоже люди, ваши братья!”»?

Значит, так тому и быть. Вам виднее. С остальных и спрашивать нечего.

Первый роман Достоевского прочитан Россией в слезах и впопыхах, как история слишком душещипательная, чтобы можно было в ней заподозрить непрозрачную глубину. Все так просто, так бедно. Новые похождения Башмачкина. Вторая заварка, так сказать, — а рецепт полезный.

Но перечитывать, когда слезы просохли, — с какой же стати?

«В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”. Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате!..»

Для всех — поначалу даже для Вареньки, не говоря уже о начальнике департамента, — Макар Девушкин — второй Башмачкин. И должность, и наружность, и манеры — все точь-в-точь. Он и сам, прочитав «Шинель», вынужден признать, что сходство полное.

И впервые в жизни запивает горькую.

Тут, правда, и обстоятельства подошли скверные, но что повесть Гоголя оскорбила Девушкина и огорчила донельзя — никакого сомнения. Конечно, можно и так объяснить, что истина показалась ему невкусна (как в кабинете Его Превосходительства: «Я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел»). Однако чем же Самсон Вырин, скажем, презентабельней, стационарный-то смотритель (огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда, замечает Пушкин), — а в нем Девушкин чуть не с ликованием признает родного брата:

«...а это читаешь, — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как!»

Не от зеркала самолюбия больно; а от взгляда чужого свысока. Вся жизнь Макара Алексеевича проходит под этим взглядом — так смотрят на него все и каждый, то есть он и ждет от всех и от каждого, что на него так посмотрят, — хотя ни за кем не признает ни малейшего права на этот мимолетный луч пренебрежения. Гордость и мнительность, да. Но мнительность небезосновательная: человеку смеются в глаза: *«Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная»*, — как же ему не опасаться ухмылки невидимой, насмешки заочной, даже от незнакомых — от господина Быкова, например? Вот Варенька пишет:

«Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы через двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся...» (Читал, наверное, повесть Гоголя «Шинель» господин Быков.)

Из-за таких-то усмешек и чувствует Макара Девушкин, что он вроде как букашка под огромной лупой и за каждым его поползновением внимательно наблюдает чей-то холодный, немигающий, злорадный зрачок, — и повесть «Шинель» вдруг подтвердила нестерпимую догадку!

«Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, — каков уж он там ни есть, — жить водой не замуля, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались, да не подсмотрели, — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?..»

Как человек простодушный, Девушкин даже и не сомневается, что Башмачкин списан прямо с него. Как человек самолюбивый, взбешен, что столь тщательно им охраняемые унижительные тайны личного бюджета и гардероба рассказаны во всеуслышание — допустим, что с сочувствием, — какая разница для человека, ни за что на свете не согласного быть смешным! — ему ли не знать, как эти подробности забавны, особенно вчуже.

Но и это еще далеко не вся обида. Главное — что гордость уязвлена. Чем обстоятельней внешнее сходство, тем очевидней для Макара Алексеевича, что его оболгали, опошлили, подменили

двойником! Посторонние этого не увидят — где там! — если даже Варенька сбита с толку... Посторонние скажут о Макаре Алексеевиче словами критика, профессора и цензора Никитенко: «Этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему» (высокомерно-низкие слова! Профессор и цензор, несомненно, полагал, что сам-то стучит куда дороже). Это о нем — о Девушкине! Как будто это он — двойник Башмачкина! Посторонним-то все равно. Чего доброго, так и подумают.

Тоже переписывающее существо, тоже человек... Девушкин не умеет выразить, чем привело его в гнев и отчаяние такое явственное, но такое мнимое тождество. И неизвестно, поняла ли хоть впоследствии Варенька Доброселова, насколько был он прав, — если прав.

Кому и понять, как не ей: не повстречай ее Макар Алексеевич (в Спасской церкви, я думаю, что на Волковом кладбище, — где же еще?) — никогда и ни за что не узнал бы, что он — не Башмачкин. Так Башмачкиным и помер бы.

Они ведь и точно похожи, как близнецы. Только Акакий Акакиевич — счастливый человек, а Макар Алексеевич — несчастный.

Ну, и еще имеется несколько различий, столь же незначительных. Например: Башмачкин никого не любит, а Девушкин...

До революции (Великой Октябрьской социалистической) принято было считать, что «Бедные люди» — история отнюдь не о любви. Из рецензентов по крайней мере половина изловчилась вообще обойтись без этого слова, другая — окружила его самыми осторожными определениями.

«Два лица в высокой степени интересные, — говорит высокодаровитый Аполлон Григорьев о герое и героине романа, — просветленные... пожалуй, одно своим человеческим чувством любви и сострадания, другое своим страданием, своей христианской покорностью...»

Бесталанный Никитенко прибегает к точно таким же оборотам, только в другом порядке — и страшно запутывается, — но все-таки тоже доводит до сведения читателей, что ни Макар Алексеевич, ни тем паче Варенька ни о каких непозволительных отношениях и не помышляют:

В характере чиновника выражена та истинно христианская любовь простой души, которая несет крест свой, как долг; для него жить

и страдать значит одно и то же; он и не подозревает, что в глубине его души таятся те же силы, которые могли бы его повести по пути борьбы, могли бы, может быть, увенчать его венцом победы, но, вместе с сознанием этих сил, могли бы показать ему и тщету его любви, потому что не любят уже того, чего принуждены опасаться и что бесплодно стоило нам самой теплой и свежей крови сердца».

(Видимо, последнюю фиоритуру надо понимать так, что г-н Быков не мог не внушить обесчещенной им девочке отвращения к мужчинам. Допустим. Но как из этого следует, что чувство Макара Алексеевича тщетно — истинно христианская-то любовь? Просто Бог знает что!)

Только два критика — Первый и Второй, Белинский и Валериан Майков, — решились признать, что герой в героиню все-таки влюблен, — впрочем, не совсем по-настоящему и, разумеется, совершенно безответно.

«Автор не говорит нам, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать сострадание, или сострадание родило в нем любовь к этой девушке; только мы видим, что его чувство к ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокого старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтоб не возненавидеть жизни и не замереть от ее холода, и которому всего естественнее полюбить существо, обязанное ему, одолженное им, — существо, к которому он привык и которое привыкло к нему. Нет, в чувстве Макара Алексеевича к его «маточке, ангельчику и херувимчику Вареньке» есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое он силится не признавать в себе, но которое у него против воли прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она смотрит на него не как на вовсе неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя».

Остается-то он остается, Виссарион Григорьевич, — да ведь роль фальшивая. Вас умиляют «эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка», — но ведь очень скоро Вареньке предстоит выбирать: на панель или в канал — потому что не прожить рукоделием в Петербурге, и в услужение не возьмут — понятно почему, — а какая погоня за несчастной девушкой, какая свора бежит по следу! — и вся-то была надежда на всегдашнего и верного друга Макара Девушкина, на вечного, неизменного друга, на истинного друга, на

сердечного доброжелателя — так он подписывается, — и разве он не подал ей надежду?

Попреки в сторону: обман открылся и прощен — как безрас-судство без памяти влюбленного прощен, а также потому, что без этого обмана решать: на панель или в канал — пришлось бы еще в апреле. Но теперь, в половине сентября, — неужто нет иного выбо-ра? Неужто ничем, совершенно ничем не в силах помочь достой-ный друг, душевно преданный? И ни вина не терзает его, ни пред-чувствие? Доволен собой, как Первый Критик им доволен... уж не сделался ли снова Башмачкиным?

«Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы про-стил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либе-ральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в мо-литве... Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведуось. Прощайте же, ангельчик, прощайте!»

Варенька в ответ извещает о появлении г-на Быкова и переда-ет разговор с ним Федоры:

«...что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работой, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что те-перь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и ско-ро умру...»

Макар Алексеевич — как и всякий раз, когда ему послышится тягостный вопрос, под конец этого письма действительно произ-несенный: *«Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба?»* — выдерживает паузу, а затем, ни слова не отвечая, впадает в пове-ствовательный тон; очень недурным, выработанным уже слогом описывает скоропостижную смерть соседа по квартире, пожилого женатого чиновника Горшкова, заключая свой рассказ хоть и три-виальной, а все же несколько неожиданной сентенцией:

«Грустно подумать, что так в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь так ни за что...»

А еще через пять дней, читая в Варенькином письме, что она согласилась выйти замуж за Быкова, что все решено навсегда, — возможно ли, чтобы он и в эту минуту, и в этом письме не расслы-шал ни упрека, ни безнадежной мольбы?

«Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастья в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы?»

«Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что делать? Из чего выбрать мне?»

И под конец:

«Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить».

Возможно ли, чтобы влюбленный человек, получив такое письмо, не знал, что ему делать? Достоевский сам, как видно, еле сдерживает негодование — и обходится с Девушкиным сурово: заставляет высказаться до дна. И сквозь жалкий, слащавый, растерянный лепет проступает совершенно отчетливо одна-единственная мысль:

«Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь?»

Проговорился — спохватился — бормочет поспешно:

«Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти...»

Но автор не дает увильнуть, и нельзя не повториться:

«Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь?»

Что ж. Он ничего не присочинял, уверяя, будто ею только и живет. Он, Девушкин Макар Алексеевич, и сейчас на любую жертву ради нее готов. Сколько раз уклонялся — или даже отчитывал, — когда Варенька звала его к себе, а сегодня сам, не ожидая просьбы:

«Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...»

Так, бессмысленными завитушками, скрепляет Макар Алексеевич приговор своей Вареньке и себе.

Надо отдать справедливость Белинскому: он единственный позволил себе вслух задуматься — отчего бы Девушкину не взять Вареньку замуж? Ответ оказывается такой:

«...По тесноте и узкости его понятий он мог бы навязать себя Вареньке в мужья уже по тому естественному и весьма справедливому

убеждению, что никто, как он, не может так любить ее и всего себя принести ей на жертву; но от нее он не потребовал жертвы: он любил ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всем — было для него счастьем».

Натяжка очевидна. Так можно рассуждать, лишь зная наверное, что г-н Быков явится в надлежащее время. Но Макару-то Алексеевичу откуда это известно? Он ведь этого романа не читал...

Кстати: мы согласились, что завязка проста, — но отчего же развязка так печальна? Все ведь оканчивается на удивление благополучно, во всяком случае, благопристойно. Варенька выходит за того самого, кто погубил ее честь, а от чахотки разве не лучше умереть помещицей, чем проституткой? Девушкин переедет в комнатку посветлей — разве не довольно ему связки писем да томика повестей Белкина, чтобы не спиться с кругу? Что же оба так стенают и отчаиваются, надрывая читателю сердце? Можно подумать, что и он, и она всерьез предпочли бы погибнуть вдвоем — под забором, например, замерзнуть, обнявшись. Ведь это же не так, правда?

Мы видим: вздумай Девушкин сделать Вареньке предложение — даже Белинский не одобрил бы. Все сочли бы такую затею нелепой, безвкусной и неприличной — словом, смешной.

Прежде всего — эстетическое чувство страдало: чижик — и крыса! Да к тому же крыса-то, что ни толкуйте, влюблена!

«Само собой разумеется, — полагает Валериан Майков, — что любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращение, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя».

И прибавляет, как искушенный сердцеведец (ему, кажется, года двадцать три, но ведь настоящие критики не живут долго):

«А едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который (сохрани Боже!) еще нас любит!»

Вы недоумеваете? Да просто-напросто он стар, этот Макар Алексеевич. Непоправимо, позорно стар, а туда же — про поцелуй какой-то вспоминает. Хорошо хоть самому совестно: *«на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки»*.

Сам же говорит:

«...Было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет служебному моему поприщу...»

Это значит, что юбилей предыдущий — двадцатипятилетний — промелькнул не вчера, и Девушкину давно уже не сорок два — правда, и не более сорока шести. Допустим, что и поменее: «вот уже скоро» — это все-таки не завтра; в ближайшем будущем улучшения своих обстоятельств Макар Алексеевич явно не ожидает, а ведь награждение чином за выслугу лет или хотя бы прибавка к жалованью в тридцатилетие карьеры — не такая уж несбыточная мечта; видно, рано загадывать. Но как ни считай, все выходит, что Девушкину лет этак сорок пять или около того. Комический старик в роли героя-любownika!* Родился в конце прошлого века, А. С Пушкину, между прочим, ровесник**, — и вот, извольте видеть, влюблен...

Прав Белинский, прав Майков: что-то есть отталкивающее в старческой страсти. Бедная Варенька! (Но г-н Быков разве моложе Девушкина? — Это не обсуждается. И потом: Быков не требует ведь любви — поэтому скорее страшен, чем противен.)

Середина сороковых. Тютчев еще не знаком с Денисьевой — она еще пансионерка — и не написал стихов о блаженстве и безнадежности. Но и еще через двадцать лет — как робко и долго, какими наивными обиняками станет допытываться автор «Бедных людей» у двадцатилетней стенографистки: что сказала бы девушка в ее возрасте, если бы пожилой — вроде него — человек просил ее руки?..

Советские люди, читая «Бедных людей», о возрасте Девушкина думали меньше всего. Сомневаться в том, что героев связывает взаимная любовь, а различает бедность, не рекомендовалось. Как

* В 1839 году, выслучивая чей-то безымянный и бездарный водевиль, Белинский разбивает автора в пух вот какой выкладкой: «Интересно знать, каких лет был мужчина, которого любят две женщины — мать и дочь. Матери не могло быть меньше 35 лет, а если барон предпочел ее дочери, то и он, вероятно, был человек пожилой; в таком случае, как же полюбила его молоденькая девушка? Извольте после этого поставить на сцене такой водевиль!»

** Время «Бедных людей» навсегда останавливается 30 сентября 1844 года; это число выставлено на письме Достоевского, в котором сказано: «Я кончаю роман. Я уже его переписываю». 30 сентября Вареньку Доброселову венчают с г-ном Быковым. Я думаю, прощальные письма Вареньки и Макара Алексеевича — или хоть одно ее письмо — сочинены именно в этот день, вернее всего — под утро, на рассвете: Достоевский уже тогда работал по ночам.

вышло, что при такой любви расстаться навсегда оказалось легче, чем бедствовать вдвоем, — никого особенно не занимало.

Полагалось помнить, что Белинский будто бы сказал однажды Анненкову о «Бедных людях»: это первая попытка у нас социального романа; что Достоевский будто бы сказал однажды кому-то — какому-то иностранцу: все мы вышли из «Шинели» Гоголя; что за чтение письма Белинского к Гоголю в кружке социалистов автор «Бедных людей» был приговорен к смертной казни... А сюжет «Бедных людей» разбирали в учебниках и пособиях вкратце и слегка:

«Конец романа печален: Вареньку увозит на верную погибель грубый и жестокий помещик Быков, а Макар Алексеевич остается в безутешном горе...»

Великая вещь — слог! Было бы написано: Варенька стала госпожой Быковой и уехала с мужем в его имение, — разве министерство просвещения утвердило бы такой учебник? А ведь все правда: Быков груб, и отбыл из Петербурга вместе с Варенькой, и вообще в царской России помещики вытворяли с бедными людьми что хотели.

Так учили детей. Взрослым развязку романа — и сцепление событий, ведущих к развязке, и спор бедных душ, ею оборванный, — пересказывали витиевато:

«Лейтмотив повести — духовная связь благородных и скромных людей в жестоких условиях современного строя. Взаимное влечение Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой подвергается испытаниям безжалостного миропорядка (Слушайте, слушайте! — С. Л.); мечтательницу-девушку, уже запроданную богатому сладострастнику, отдают теперь навсегда в его полную собственность...»*

Попросту говоря, в эпоху так называемого Застоя, вплоть до начала так называемой Перестройки, официальная — то есть единственная — версия объясняла развязку романа финансовым положением Девушкина. В царской России бедные чиновники не могли себе позволить — не имели ни малейшей возможности — жениться на бесприданницах, слишком трудно при самодержавии женатому человеку, если он не помещик и не генерал, — вот какой безжалостный господствовал миропорядок.

* Как хорош и как важен тут этот оборот с неопределенно-личным сказуемым: отдают, видите ли! Идеология только так и поддерживает свое существование: обволакивая присвоенные ею ценности непроницаемой скукой.

Аксиома сама по себе внушительная. Никто, кажется, не пробовал подкрепить ее математическими расчетами, а зря. Вот, например, Белинский осенью 1843 года втолковывает своей невесте:

«...Нам с Вами на стол, чай, сахар, квартиру, дрова, двоих людей, прачку и пр. никак нельзя издерживать менее 250 р. в месяц или 3000 в год: так нельзя же, чтобы столько же не оставалось у нас на платье и разные непредвиденные издержки».

Как мы знаем, и эта цифра — 6000 в год — оказалась заниженной: положившись на нее и вступив в законный брак, великий критик утопал в бедности.

А у Девушкина жалованье не то 40 рублей в месяц, не то 50. Где уж ему жениться. Какое там! С его стороны это, можно сказать, благоразумный и благородный поступок — отдать Вареньку господину Быкову.

В 1854 году в Семипалатинске Достоевский — рядовой Сибирского линейного батальона — влюбился в жену одного чиновника. Затем чиновник этот, по фамилии Исаев, уехал с семейством в Кузнецк — и там умер. Вдова «осталась на чужой стороне, одна, измученная и истерзанная долгим горем, с семилетним ребенком и без куска хлеба». Она была молода и красива, к ней сватались.

«Беденькая! Она измучается. Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке Бог знает с кем. Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

И точно: эта история до странности похожа на роман Достоевского.

«Пишет, что любит меня больше всего на свете, что возможность выйти замуж за другого еще одно предположение, но спрашивает: «что ей делать?» <...> Что если ее собьют с толку, что если она погубит себя, она, с чувством, с сердцем, выйдя за какого-нибудь мужика, олуха, чиновника, для куска хлеба себе и сыну <...> Но каково же продать себя, имея другую любовь в сердце. Каково же и мне?»

Автор, очутившись на месте персонажа, не пожелал разделить его участь. Правда, если бы не произвели его в прапорщики, ничего бы не вышло.

«Но теперь, тотчас же после производства, я спросил ее: хочет ли она быть моей женой, и честно, откровенно объяснил ей все мои

обстоятельства. Она согласилась и отвечала мне: «Да». И потому наш брак совершится *непрерывно*.

«Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду. Ты скажешь: «Чем я буду жить?» <...> Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немного, очень немного, чтобы жить вдвоем с женой. <...> Она знает, что я немного могу предложить ей, но знает тоже, что мы *очень* нуждаться никогда не будем; знает, что я *честный* человек и составлю ее счастье. Мне нужно только 600 руб. в год».

Расчет, как мы знаем, безусловно ошибочный. Но зато вот какое соображение представляется неотразимым — и невзначай разбивает вдребезги практичную, мещанскую, советскую трактовку сюжета «Бедных людей»:

«Ты скажешь, что, может быть, заботы мелкие изнурят меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить, как в хлопчках, лениво и без забот, — отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности...»

Бывала, выходит, и в николаевской России любовь сильнее бедности — не так ли?

...Занятно было бы также узнать, каким образом согласуется с вышеозначенной аксиомой — насчет чиновников и бесприданниц — история женитьбы Мармеладова на Катерине Ивановне.

Двадцать три рубля с копейками в месяц положили ему в петербургском департаменте, и навряд ли в провинции, где встретил он ее — вдову с тремя детьми, — платили много больше. Но она была еще несравненно бедней — нищая безнадежно.

«И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку мою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание».

Не счастья искал и осчастливить не надеялся. И вряд ли не сознавал, что не только никого не спасет, а скорее всех погубит, что при его достатках дай Бог собственную дочь не отпустить в темноту, а участь чужой вдовы как бы даже и честней предоставить провидению (какому-нибудь г-ну Быкову), — а не смог, не выдержал: сострадание — такая мучительная, такая неотступная страсть.

А наш Макар Алексеевич отступился.

Неужто из малодушия? Но ведь несомненно, что умер бы он за Вареньку с восторгом, в любую минуту, и что умрет от тоски по ней все равно, и что сам очень хорошо это знает.

И потом, будь он малодушный, да просто рассудительный человек — романа бы не было. Авантюра, с которой все началось, обличает в Деушкине характер отчаянный до легкомыслия.

Заметьте, ведь это безумство с Варенькой — не первое в его жизни. С таким же пылом «врезался» много лет назад юный Макар в модную актрису, хотя видел ее только на сцене, и всего-то разок, и то даже не видел, а слышал с галерки.

«Так как вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал — уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!»

Анекдот смешной, и рассказан кстати — по дороге из театра, — и Варенька еще не знает о забранном вперед жалованье, — а, должно быть, припомнилось ей самое первое после переезда на новую квартиру письмо Макара Алексеевича — донельзя игривое, наивно-развязное, с невозможными стихами; шалуньей величал и пальчики целовать грозился.

Видно, не померещилось тогда ни ей, ни нам — ни ему самому, — что он просто-напросто закутил, завел интрижку, обзавелся тайным адресатом, личным ангельчиком (как сосед-мичман — очередным чижиком, не заботясь о том, что в здешнем воздухе чижики так и мрут) — и в восторге от своей изобретательности, а до чужой тоски ему и дела нет:

«Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опугстите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали...»

Как же разобиделся он на нее — как разозлился на себя, — по-няв, что сваял дурака: вместо куклы напрокат, вместо пташки еле

одушевленной, «на утеху людям и для украшения природы созданной», поселил в окне напротив существо, способное на ответный пристальный взгляд!

Тотчас отступил, приосанившись как мог величаво, и злорадный выговор закатил: как это, дескать, угораздило вас, Варвара Алексеевна, принять невиннейшие стихи («*Зачем я не птица, не хищная птица!*») за намек на какое-то якобы чувство? Ошиблись, голубушка!

«Отецкая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отецкая приязнь, Варвара Алексеевна...»

И видеться отказался иначе как в церкви: «*это будет благоразумнее и для нас обоих безвреднее*».

Казалось бы, очнулся, и переписываться больше не о чем.

Но Варенька заболела — чуть не месяц в беспамятстве, не отдавать же в больницу, и без присмотра не оставишь, а лечение дорогое, — вицмундир пришлось продать, а что Макар Алексеевич похудел — так это клевета:

«...здоровехонек и растолстел так, что самому становится советно, сыт и доволен по горло; вот только вы бы-то выздоравливали!»

И опять в конце письма: целую все ваши пальчики, — но слышно, что это не бесцеремонность, а нежность.

Запнувшись — нарочно? — на первом шагу, роман вновь устремляется вперед, к неизбежной, непонятной развязке.

Малодушной расчетливостью героя — или героини — ее не объяснишь, не такие люди.

Не так давно высказана — и уже распространилась — мысль, что Валериан Майков-то угадал: Варенька не любит Девушкина и покидает его без сожаления, и он сам в этом виноват. Не особенно симпатичная личность: эгоист и мелкий тиран. В любви бестактен и небескорыстен: хвастает благодеяниями, напрашиваясь на благодарность и похвалу. Да и что это за любовь, если разобраться: «...при отношениях неравенства, при тех отношениях, когда один любит и благодетельствует, а другой благодарит и любит, нет и не может быть на самом деле никакой любви».

Для чего же пролито в этом романе столько чернил и слез? А чтобы современники Достоевского поняли:

«...Та логика общей социальной структуры (структуры неравенства), которая, отражаясь в сознании и чувствах отдельных людей,

формирует их болезненную амбициозную психологию, эта же логика действует и в частных отношениях людей, извращая самое святое и бескорыстное чувство — чувство любви. И оно вместо того, чтобы роднить и связывать людей, их разделяет».*

В общем, получается, что, начитавшись Фурье, автор «Бедных людей» хотел запечатлеть психологические последствия эксплуатации человека человеком — в искаженных лицах Макара Алексеича и Вареньки.

А они, глупые, знай предаются самообману извращенного чувства. Им невдомек, что до тех пор, пока социализм, хоть и утопический, не победит хотя бы в отдельно взятой империи... — ну и так далее.

« — Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами...

— Я вас как свет Господень любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка родная моя! и сам для вас только жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это все было именно так!

— Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего...»

Совершенно как живые. Подумать только, что связь эта — литературный прием, не менее условный, чем если бы автор заставил пресловутого Акакия Башмачкина беседовать в бреду с украденной шинелью.

Судя по первым ходам, переписка приблизительно так и замышлялась. Эпиграф это подтверждает. Он взят из новеллы князя Владимира Одоевского «Живой мертвец».

Новелла — монолог человека, которому ночью приснилось, что он проснулся после смерти, приключившейся этой ночью. (Такой уж писатель — Владимир Одоевский: выдумка блестящая, многозначительная, — но исполнение чаще всего посредственное; впрочем, бездушно-отрывистые интонации этого монолога запоминаются: Достоевский использовал их — да и весь сюжет — много лет

* Логика социальной структуры (структуры неравенства) извращает любовь... Это вам не старая песня о безжалостном миропорядке: та все же оставляла какому-нибудь Ромео или Вертеру некий шанс.

спустя, в рассказе «Бобок».) Умер, стало быть, человек, некий Василий Кузьмич. Покинул тело. И смотрит на свой труп, распостертый на постели, откуда-то со стороны (и немного сверху, надо думать: вероятно, и Тютчева эта новелла поразила; нетрудно доказать, что и сам Гоголь кой-чем из нее позаимствовался, и Некрасов — но это к слову).

Умер — и удивлен: ничего страшного, центр вселенной, называемый Василием Кузьмичом, продолжает существовать, только поменял местопребывание; быть невидимым — обидно на первых порах, на зато бесплотный Василий Кузьмич перемещается в пространстве мгновенно и беспрепятственно; к тому же теперь он, так сказать, неувядаем; и речью наделен по-прежнему — правда, слышной только ему — и читателям.

А при жизни был этот Василий Кузьмич средней руки чиновник, в меру подлый: взяточник, интриган и прочее. Само собой разумеется, что ни родственники, ни сослуживцы, ни любовницы не убиты потерей, в чем раздосадованному герою нынешний его статус вездесущего соглядатая позволяет с легкостью убедиться.

Но сюжет Одоевского нацелен гораздо дальше. Бессовестные поступки, совершенные Василием Кузьмичом при жизни, своекорыстные распоряжения по службе, внушенные им циничные мысли, поданные им дурные примеры — все это вдруг на его глазах невероятно быстро начинает прорастать бесчисленными ужасными последствиями: вот развращенный его наставлениями старший сын отравил младшего из-за денег; вот обобранная им племянница во-влечена в разбойничью шайку, схвачена полицией, сходит с ума в тюрьме; а главарь той шайки — бывший камердинер Василия Кузьмича, от него научившийся «разным залихватским штучкам»... Повсюду в городе, в стране, в целом мире — в каждом несчастье, в каждом злодеянии обнаруживается прикосновенность, причастность, вина Василия Кузьмича; и оказывается, что сознавать это — попытка погорше адской.

«Нет сил больше! уж где я только не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминуют... Странно! Ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно ничего не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляет-ся одно за другое!..»

В том-то и дело. Проклятиями людей, дурной посмертной славой можно еще пренебречь. Но когда уму раскрыта взаимосвязь всех человеческих судеб и поступков, и очевидно сцепление всех причин со всеми следствиями, — от невыносимого понимания собственной вины, от оценки личной доли в сумме мирового зла некуда деться.

И ненасытное чудовище — Совесть — овладевает этой бедной, мелкой душой, беспрерывно ее истязая. Теперь единственная — неисполнимая, вот ужас! — мечта бывшего Василия Кузьмича — исчезнуть совсем, потерять сознание навеки. Но это невозможно — как невозможно исправить хоть строчку, написанную при жизни, взять назад хоть слово, ненароком брошенное...

«Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозвратно. Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову?» — в лютой тоске недоумевает Василий Кузьмич — и просыпается по настоящему, живой вполне, в своей квартире, в своей кровати.

Просыпается, припоминает ужасающий сон — и раздражается негодующей тирадой по адресу автора «какой-то фантастической сказки», прочитанной накануне, на ночь. Эту-то тираду мы и читаем теперь в эпиграфе к роману «Бедные люди»:

«Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить...»

Спрашивается: какое касательство имеют эти слова к совершенно правдоподобной жанровой картинке в духе натуральной школы («Бедные люди», мы видели, аттестованы по этому разряду)?

А между тем в тексте романа оттиснут слепок интонации эпиграфа — именно там, где Девушкин возмущается повестью «Шинель»:

«И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил... а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что

и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться...»

Не позволительно ли предположить, что эта линия осталась от самого первого наброска? что роман обдумывался вначале как история о человеке, который, разглядев случайно свою сущность в магическом кристалле, ничему не поверил, ничего не понял, только впал в нелепый, бессильный гнев? Как история бунта: Башмачкин восстает на Гоголя; как трагипародия, что ли.

Ведь и за Башмачкиным замечены некие микроскопические безумства: ишь как загляделся на фривольную картинку в окошке магазина («Почему он усмехнулся? потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье...»); а после двух бокалов шампанского «даже побегал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо, и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения»...

Так вот, не воображен ли был некогда сюжет «Бедных людей» как превращенная — обращенная против героя (и автора) «Шинели» — метафора из самой этой повести:

«С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».

Это — Гоголь о Башмачкине. А вот — Деушкин о Вареньке и о себе:

«Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь!.. Никогда со мной не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне; а во-вторых, пригласил меня на чай один жилец...»

Загляните еще в «Петербургские сновидения в стихах и прозе» — там Достоевский от первого лица, как интимное воспоминание, рассказывает про какую-то Надю: как в ранней молодости, в отчаянной бедности он будто бы читал ей Шиллера, «Коварство и любовь», а потом она вышла «вдруг замуж за одно беднейшее суще-

ство в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу», а всего-то имущества и было у чиновника-жениха — «только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки», — вот после замужества этой Нади, оставшись один, якобы и задумался впервые Достоевский о будущем романе...

Он затеял его, по собственному признанию (в одном письме, кажется), как тяжбу со всей литературой — и прежде всего ополчился на повесть «Шинель». Он подарил умственно отсталому герою Гоголя живую девушку взамен суконной тряпки — для того, наверное, чтобы доказать: способность чувствовать голод, холод и страх еще не делает человеком переписывающее существо, самоходное копировальное устройство... Казалось, ничего не стоило таким способом разоблачить Башмачкина — или того, безымянного, с шишкой на носу — как пародию на человека, но...

Но, как уже сказано, сначала Варенька слегла в простудной горячке, и Девушкину пришлось продать вицмундир; потом квартирная хозяйка потребовала уплаты долга; другие кредиторы набежали; офицер какой-то разлетелся к Вареньке с бесстыдным предложением; а там и его дядюшка с тем же пожаловал; и руку она обожгла утюгом; и счет пошел уже на последние двугривенные; и во всем этом водовороте ежедневных унижительных бедствий Девушкин хоть и запил было, — а все-таки выказал (неожиданно, быть может, для сочинителя) столько храбрости, упрямства и любви, что мотив «Шинели» (хоть бы и наизнанку) как бы сам собой сбился на горестную тему «Станционного смотрителя», причем герой исполняет попеременно две партии — ротмистра Минского (понарошку) и Самсона Вырина (всерьез).

И эпиграф из Одоевского переменил значение. Он, во-первых, дает основную тональность, напоминая об исходной точке замысла. Во-вторых же, по-видимому, отсылает читателя к другому эпиграфу, коим снабжена сама новелла «Живой мертвец»:

«...Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым по-видимому незначащим поступком, с каждым движением души человека...»

Упрек ли это герою и героине «Бедных людей» — за то, что расстались, — или тем, кто вынудил их расстаться либо был виновником

остальных бедствий, — в любом случае смысл эпитафия движется от гоголевского: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — к толстовскому — библейскому: «Мне отмщение, и Аз воздам».

А в глубине романа проступает — с каждой страницей все явственней — другой, потайной эпитаф и еще одним отражением освещает суть сюжета.

Самая, быть может, замечательная — в рассуждении блеска прозы — страница: Девушкин в кабинете Его Превосходительства нагибается за отлетевшей пуговицей. Кто только не восхищался обличительным гуманизмом, продуманно-мучительным темпом этой мизансцены. Никто не оценил многоплановую — чть ваш Джойс! — глубину фразы:

«Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку...»

Похоже, что для всех и всегда этот период был и остается простым сообщением, что у бедного Макара Алексеевича от волнения и физического усилия, что называется, зашумело в голове.

Но вдумаемся же — какой это странный шум!

Быт в квартире, где проживает Девушкин, по существу — коммунальный, но хозяйка держит прислугу — двоих, как это говорилось, людей: женщину по имени Тереза и мужчину по прозвищу Фальдони.

«Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут», — рассказывал еще в начале романа Макара Алексеевич Вареньке.

Происхождение странной для угрофинна клички вполне разъясняется в комментариях к академическому изданию: должно быть, просвещенные квартиранты в свое время прочли популярный переводной (с французского) роман Н. Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе». Роман выдержал в России по крайней мере три издания (комментаторы указывают два), так что какой-нибудь остроумный отставной мичман, услышав, что служанку зовут Терезой... словом, понятно.

И вот эти два имени, чередуясь, позвякивают в переписке бедняков, живущих в Петербурге, — обозначая самых обыкновенных, второстепенных персонажей: то Варенька даст Терезе двадцать копеек, то Фальдони нагубит Макару Алексеевичу.

С какой же стати воспоминание о них пробегает в мыслях Девушкина, пока он копошится у ног начальника? Неужто действительно — ни с того ни с сего?

Роман Леонара ему неизвестен. До знакомства с Варенькой наш герой прочитал — вы, конечно, помните — лишь три произведения словесности: «Ивиковы журавли», балладу Шиллера (из нее-то, несомненно, и почерпнув знание о справедливости); еще «Картину человека», *умное* сочинение Галича — в самом деле очень недурной учебник человековедения, — 613 параграфов: что такое гордость, что такое мнительность и чем *страсть полая* — *любовь* отличается от *страстей одинокого быта*, или *чисто животного самолюбия* и т. д. Маловероятно, что М. А. одолел всю книгу, вплоть до какой-нибудь *семиотики телесной*, — но кто же, если не Галич, укрепил его в мысли, что для настоящего человека наивысшим благом является *досточтимность* (А. С. Пушкин, слушатель первых лекций Галича, перевел бы: честь; ну, а у Девушкина через каждые два слова на треть: амбиция)?

Читывал он и роман — тоже переводной, тоже с французского: «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками» Дюкре-Дюмениля — и, должно быть, оттого с таким сочувственным интересом заглядывает в кареты знатных дам, проезжающих по Гороховой улице. В авантюрном этом романе бедный подкидыш, уличный музыкант, *маленький куранщик*, выгнав тайну своего происхождения и сделавшись в четвертом томе графом и богачом, на самой последней странице — «приказал высечь на фронтоне павилиона, во внутренности своего Замка, сии слова:

И теперь еще раздается в ушах приятный звук наших курантов».

Не этот ли перезвон слышен Девушкину в самую нелепую и жалкую минуту карьеры?

Но при чем Тереза и Фальдони, квартирная прислуга?

Не щегольство ли тут литературное: смотрите, мол, как тонко подмечено, что человек в крайне затруднительном положении думает о самых отдаленных, совсем ненужных предметах?

«Италианец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот щастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их щастия...»

Так повествует Карамзин в «Записках русского путешественника» будто бы о действительном происшествии, случившемся в городе Лионе «лет за двадцать перед сим».

В последний момент отец Терезы передумал — отказал жениху, по какой-то там важной причине. И тогда влюбленные решились на совместное самоубийство: встретились за городом, в каштановой роще, «приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался — они упали, обнимая друг друга...».

Приготовьтесь, читатель, еще к одной пространной выписке; я, в конце концов, не виноват, что старинные авторы бывали настолько красноречивы.

Следующий пассаж многое объясняет, мне кажется, в «Бедных людях» — и в других созданиях русской литературы:

«Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Естли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или естли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства несчастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны — чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается...»

И еще два периода в том же духе. Причем к словам: «чего более?» Карамзин дает в сноске примечание: «Кто хочет, рассмеется».

Этот-то отрывок — с примечанием в придачу — я и назвал бы потайным эпиграфом «Бедных людей».

Если бы Достоевский думал, что в его романе никто никого не любит — например, хоть по вышеобъявленной причине: мол, в данной негодной социальной структуре некому и некого любить, — вся

эта игра имен была бы пустой, никчемной, недоброй забавой. Помоему, это не так.

Возможно — более чем возможно, — что чувство, будто мир испорчен, изгажен чьей-то невообразимо огромной, беспощадно насмешливой волей, — не оставляло его.

Но, перечитывая первый его роман, трудно отказаться от мысли, что это — сочинение троих Д: Достоевского, Девушкина, Доброселовой; что в нем происходят среди прочих и такие события, которых Достоевский заранее не предвидел.

Можно ли было, скажем, предусмотреть — ведь другие романы Достоевского не были еще написаны, — что с конца июля, как раз когда раскроется обман и мнимое благополучие рухнет, — что с этого самого времени у героя и у героини переменятся голоса и чуть ли не роли, да как: Макар Алексеевич, вместо того чтобы поникнуть от вины и стыда, закуражится и закапризничает, — а в письмах Вареньки вместо отчаяния и обиды зазвенит такая жаркая тревога и жалость к старому безумцу — никакого сравнения с прежней грустной дружбой — прекрасный собою италиянец Фальдони позавидовал бы...

Так что не вовсе случайно развязка романа — возвращаемся к ней напоследок — напоминает решение лионских любовников.

Но точно ли бедность, одна только проклятая бедность всему причиной? То есть должно ли так понимать, что и Девушкин, и Варенька, в уверенности, что вдвоем не спастись, оба одновременно отталкиваются от слишком утлого для двоих плотика, захлестываемого судьбой, — чтобы не лишиться другого ничтожной, ненужной, но единственной возможности выплыть?

Бедность и впрямь ужасна, бедность сжигает, как кислотой, какую угодно любовь, — так прочитал, например, «Бедных людей» молодой чиновник Салтыков и написал вслед повесть «Запутанное дело», в которой петербургский бедняк видит во сне, как женился на своей Наденьке, и вот уже ребенок у них умирает голодный, и она уходит из дому — продать себя богатому старику, чтобы только раздобыть денег — на гробик ребенку и ужин отцу, — впрочем, это уже Некрасов, тоже год 1847-й.

Но похоже, что и еще какой-то призрак держит Макара Алексеевича в оцепенении, заставляет разжать руки.

В девятнадцатом веке это было очевидно — оттого то-гдашние критики и принимали молча развязку романа как наилучшую из возможных.

Они-то догадывались, отчего, как унижительную тайну, прячет Макар Алексеевич от соседей по дому свою с Варенькой связь.

И почему никак не отвечает на Варенькины слова, что никто, кроме г-на Быкова, не возвратит ей честное имя.

По-видимому, в сороковых годах прошедшего столетия жениться, как Мармеладов, на вдове с тремя детьми, хоть бы и нищей, все еще казалось несравненно легче, чем взять за себя, как Покровский-старший, любовницу — жертву — так или иначе, наложницу — г-на Быкова.

И дело даже не в том, что Макар Алексеевич у нас — какой-никакой, а все-таки дворянин (выйди в свое время крестик — стал бы и потомственным, совершенно настоящим, никого не хуже... «ну да уж что!»), и не забывает при случае ввернуть словцо *«в своем смысле, в благородном, в дворянском-то отношении»*...

Дворянство, быть может, и вздор, а вот Шиллер не вздор, «Коварство и любовь» не вздор:

«Как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на своей чести в моем позоре?»

Как это в последней советской монографии — амбициозная психология? испорчен логикой социальной структуры? — вот-вот. Почти не имеет понятия ни о Шиллере, ни о Бомарше, — а ведет себя так, словно наслышан откуда-то, что борьба за права человека начиналась в литературе с борьбы за право первой ночи. Невольник амбиции.

(Кстати: нечто очень похожее на «Коварство и любовь» мелькает в сюжете «Идиота»...)

Смирись, бедный человек, то есть восстань против мнений света: будь счастлив; говоря стихами из ада — плюй на все и торжествуй, переписывающее существо! — Не желает.

Любовь и честь, или Бедные люди...

«Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное», — говорит литератор Ратазьев одному из двойников Девушкина — чиновнику Горшкову — и треплет его по плечу. Это тот самый Горшков, которому совсем недавно, не устояв перед униженной мольбой, Макар Алексеевич отдал свой последний гривенник. А теперь он, видите ли, оправдан в чем-то там по

суду и вознагражден знатной суммой. И слова Ратазьева ему не нравятся.

«...То есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, — возбужденно рассказывает Девушкин Вареньке, — а только посмотрел как-то странно на Ратазьева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! — добавляет он. — Впрочем, различные бывают характеры...»

Почти все мы читаем «Бедных людей» не более чем дважды за жизнь, причем второй раз — как правило, поздно. В промежутке сохраняем уверенность, что смысл нам внятен: совпадает с названием. Быть может, так и есть. Но в названии недостает какого-то знака — то ли восклицательного, то ли многоточия: ведь это вздох.

Постскриптум

Полузабыт или недочитан, а все же в глубине русского литературного сознания этот роман светится постоянно.

Вот стихотворение Пастернака «Разлука»:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома...

Пропускаю несколько строк.

...И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сложет...

Последние строчки:

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иглой,
Внезапно видит всю ее...

Что это, по-вашему? Лара уехала от Юрия Живаго? Ивинскую арестовали? Да, разумеется, и то, и другое. Но и вот еще что:

«Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: “Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу” — и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кровать стоит... Голубчик вы мой!!!»

Так у Достоевского: три восклицательных знака.

...И плачет втихомолку.

ИМЕНА МУЗЫ

Часть I

Ночь. Успели мы всем насладиться.

Любую метафору бьет козырная эта строчка, даром что выглядит так, словно явилась из какой-нибудь юнкерской поэмы: того и жди за ней следом реестра восторгам, так сказать, меню безумств... Но тут реализм другой: положительный, невинный, нервный:

Что ж нам делать? Не хочется спать.

Да, именно: что делать? Вопрос, как известно, роковой, — а роман Чернышевского когда еще будет написан. Шутки в сторону: Эрот отслужил и сгинул, Гипнос же, брат Смерти, мешкает — запутался, предположим, в тяжелых складках зимнего петербургского неба, — что же, спрашивается, делать мыслящему человеку в такой момент, когда не думает никто и даже будто бы все животные грустны? Нипочем не отгадаете:

Мы теперь бы готовы молиться...

Синтаксис тугой, но зато ход идей не тривиальный, согласитесь.

Но не знаем, чего пожелать.

Вот оно что: мы, оказывается, счастливы. Теоретически рассуждая, иначе и быть не может: ведь насладились буквально всем, пребываем на верху блаженства («горе, стыд, тьма и безумие» — Н. А. к И. С. о любви к А. Я.) настолько удовлетворены, что даже молиться не о чем — разве что благодарить за переполняющую нас благодарность...

Конечно, все это увертки, обходной педагогический маневр: условная ночь, условное «мы», условное счастье. Это прием: обезоружив читателя, обрушить на него, как личную вину, главный факт русского мироздания: в этой стране народ несчастен. Наши наслаждения куплены ценой его страданий. За такое счастье не благодарят. С творцом такого мироздания не знаешь о чем говорить. Разве использовать его как спутник космической связи — для изъяснения соболезнований:

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста...

Это не молитва. Но это икона. Самодельная. Намалевана прямо на газетном листе:

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям...

Стихи раскачивают, раскачивают фразу — не важно, что слова плоские и сметаны кое-как, — что руки предоставляют чему-то там предаваться, — зато дыхание изнемогает — из фразы в слезы:

Кто бредет по житейской дороге
В безрассветной, глубокой ночи,
Без понятия о праве, о Боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...

Вот какой ночью оплачена наша: не оплавав ее, не заснуть. Вы скажете: как это — терпеть во имя Христа без понятия о Боге, и причем тут права человека?

Но в такой непроницаемой темноте ирония неуместна. Вы, чего доброго, спросите: не чересчур ли смел такой прыжок — из ночной постели в подземную тюрьму? разве наслаждения, подразумеваемые тут, недоступны угнетенным классам? Но это бестактный вопрос. Вы скажете, пожалуй, что тут мысль самого общего пользования, растравляя себя до слез, только притворяется — в частности, сама перед собой — чувством, притом интимным? Какая разница: подобные, с вакансией для героя, чувства прочней овладевают ума-

ми, отменяя привычку жить, а потом — потом все залито кровью читателей.

Какой образ действий не бесчестен в России? Разумеется — только гибель, разумеется — бесполезная. Поймите же: мы резвимся в аду, в особенном аду — для невинных, для незрячих. Пока виновные, то есть все, кто хоть что-нибудь видит, — словом, пока все *мы* не пожертвуем собой — *они* не прозреют. Итак, смерть нам! И не просто смерть — позорную казнь, — лишь тогда умрешь недаром. И не надейтесь — одним поколением не обойтись. Пусть каждая порядочная женщина объяснит своим детям:

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка...

— Но позвольте, г-н Некрасов! Сами вы, кажется, предпочитаете шапку из необыкновенно седого бобра? Что же получается: ступайте, мальчики, ниспровергать государственный строй, а мне пора на охоту — или, того лучше, в Английский клуб — Вешателя задабривать одой?

Этим и подобным вздором терзали его всю жизнь. Муравьевская ода, огаревское имение, Белинского альманах, Панаева карта... Стихи-то при чем? В них — убеждения; где сказано, будто честные мысли дозволяются только добродетельному человеку? Стало быть, и подвигу не сочувствуй, раз не герой? Допустим, что так, допустим, — но где их взять несчастной Родине — героев-то и добродетельных людей — среди взрослых? Так что же — покинуть ее на произвол властей, задушив Музу собственными руками?

А подлости эти так называемые... Иная подлость, да будет вам известно, не легче подвига — мертвым завидуешь, право.

Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком!

В тюремном заключении Писарев оплешивел — впрочем, и до ареста не было у него кудрей. Утопленника в двойном гробу венки

не украсит, и на колени г-жа Марко Вовчок не падала, вообще на похороны не пришла. И если действительно рыдала безумно — то навряд ли при Некрасове.

Перед ним преклониться не стыдно,
Слишком многие пали в борьбе —
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!

Речь лукавая — над свежей могилой, в сущности, неприличная: радуйся, мол, что умер прежде, чем предал; что сберег имя.

А теперь его слава прочна:
Под холодную крышкою гроба
На нее не наложат пятна
Ни ошибка, ни сила, ни злоба...

Оратор лучше всех понимает, что зарапоровался (не забыть потом извиниться перед М. А. — рыдает она, не рыдает, — все же родственница покойного и стихотворение как бы к ней: «Вы понимаете, так написано»):

Не хочу я сказать, что твой брат
Не был гордою волей богат...

Как назло, и слог не подчиняется — но пункт назначения уже вот он, рукой подать:

Но, ты знаешь, кто ближнего любит
Больше собственной славы своей,
Тот и славу сознательно губит,
Если жертва спасает людей.

Ясней не скажешь, но точно ли поняли? Перестанут ли, наконец, презирать — глупые, жестокие юнцы! — за проклятую муравьевскую оду, за злосчастный мадригал... Хорошо хоть, не знают — в свое время каким-то чудом никто не заметил, а теперь уж никто не найдет — ужасной этой фразы в «Современнике» сорок девятого года: про Достоевского — что не большие мы охотники до его так называемых психологических повестей. Сорок девятый, страшный год, сентябрь, не охотники мы в равелин... Еще узнаете и вы, как празднуют трусу, хлебнете ледяного кипятку!

Но у жизни есть мрачные силы —
У кого не слабели шаги
Перед дверью тюрьмы и могилы?

Писарев, между прочим, в каземате храбрые статьи писал — и стихами Некрасова, кстати, восхищался, пренебрегая тем, что «Современник» его дразнил, как сумасшедшего на цепи... Но причем тут Писарев? Стихи разве о нем? Ему-то хорошо — умер молодым, вовремя умер.

Долговечность и слава — враги.

Впрочем, вот и Писареву — ради коды — рыданье и венок. Друг народа, он своей смертью разве не напомнил нам, как мало у народа настоящих друзей, как несчастен народ, отдавая их неминуемой — неминуемой — смерти:

Русский гений издавна венчает
Тех, которые мало живут,
О которых народ замечает:
«У счастливого недруги мрут,
У несчастного друг умирает...»

Вышла некоторая неясность — кто у кого умер и кто чей друг, — но как жалобно стихотворение поникло! О смерти Некрасов плохо не напишет.

Это как бы одна семья: Муза, Народ, Некрасов и Смерть. Семейный квартет, непревзойденный. Муза отбивает такт, Некрасов отпевает себя и Народ, а Смерть рыдает и хохочет, — а то затаится и вдруг возопит — в какой-нибудь отдаленной строфе, за углом сюжета вполне безопасного: при ясном солнце вдруг словно черное облако накрывает мимолетную фигурку.

Вот, например, девушка-крестьянка бежит неизвестно зачем вслед экипажу, прмчавшемуся по дороге (не обычай ли такой в этом поселке возле самого тракта?), — разумеется, где ей догнать! — и, предположим, это в высшей степени печально, что проезжий офицер не подхватит ее, не увезет в город, не продаст богатому старику, чтобы она, выманивая подарки, прожила молодость с удовольствием. Вместо этого ей предстоит — социально-экономическая формация обрекает! — выйти замуж за крестьянина, то есть за неприятного драчуна, и рожать детей, и много работать. В результате красота ее увянет, а интеллект уснет — все оттого, что коней не

остановила... Вам не отделаться ни улыбкой, ни вздохом! Сострадание сочинителя к жертве режима заходит несравненно дальше:

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь...

Еще более удивительный случай — с мальчиком Власом. Все помнят этого забавного малыша и его лошадку. Согласитесь, что мысль о смерти придет при взгляде на них не каждому и не сразу. Разве что — как в пушкинской элегии — о смерти своей: «Тебе я место уступаю» и так далее. Но вообразить, какими воспоминаниями станет утешаться перед кончиной Мужичок-с-ноготок, — это акт любви дальнозоркой, как умная Эльза.

Малютка, прикрикнув на лошадь, обгоняет рассказчика. Пейзаж потихоньку, исподволь как бы вбирает в себя удаляющийся воз. И вдруг вы остаетесь посреди Зимы — бесчеловечной, мучительной, как русская жизнь.

Все, все настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли... —

и проч. Наверное, и вправду мальчику с лошадкой совсем не так тепло, как на картинке в хрестоматии. Наверное, он предпочел бы занятие повеселей. А ему еще столько зим карабкаться в эту вот самую гору... Пока не умрет — безвинный, смиренный Сизиф, муравей, раб. За него не отомстить — и он даже не всех несчастней, — доброй ночи, жертвы русской Судьбы, —

И пусть обаянье поэзии детства
Проводит вас в недра землицы родной!..

В недра *землицы* — разнеженной амфибрахия ради — всхлип, взвизг, почти что фальшь... А вообще-то манифест издан как раз накануне стихотворения, мальчик Влас больше не крепостной, и у него есть шанс дожить до расстрела мальчика Вани — генеральского сына из «Железной дороги». Амфибрахий, не исключено, что-то такое предчувствует.

Часть II

Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала: люблю —
Не проклинай! Близка моя могила:
Поправлю все, все смертью искуплю!

Тут никакая Панаева не удержится от слез, никакая общественность. («Мастер жалкие-то слова говорить, — вздыхал, наслушавшись подобных же монологов И. И. Обломова, знаменитый его камердинер: — так по сердцу точно ножом и режет...»)

Книга «Стихотворения Н. Некрасова» разрабатывала смерть поэта как сюжет автобиографический.

Перед вами стихи умирающего: почти молодой, тридцати с чем-то лет, он уже в муках разрушенья — недуг сокрушил его силы — как мучительно жаль жизни — только что в первый раз она улыбнулась бедному труженику: голод реже стучится в дверь, — теперь-то и сделать бы что-нибудь настоящее, а поздно — царапай слабеей рукой последние элегии, а тысячи ненаписанных поэм и повестей уноси с собою... Сиротствуй под осенней вьюгой, несжатая полоса: землепашец не в силах по состоянию здоровья завершить на своем участке сельскохозяйственный цикл — и тщетно урожай скорбит, что не будет употреблен законным владельцем! Всею коней, плакать поздно, стенать — противно, проклятия бесполезны, — хватит, Муза, довольно! — умираю молча, один. Последний, душераздирающий аккорд:

Настанет утро — солнышко осветит
Холодный труп; все будет решено!
И в целом мире сердце лишь одно —
И то едва ли — смерть мою заметит...

Такой несчастный голос — кого не растрогает, а тем более — в хороших стихах? Лев Толстой, и тот впадал в сострадательный восторг:

«Я помню, я раз зашел к нему вечером, — он всегда был какой-то умирающий, все кашлял, — и он тогда написал стихотворение „Замолкни, Муза мести и печали“, и я сразу запомнил его наизусть».

Года два Некрасов действительно думал — поверив плохим врачам, — что у него горловая чахотка, а значит — пиши пропало. Не струсил, а вконец ожесточился: говорил же вам — порядочный человек в России не жилец! Нищая молодость — непосильный труд

(потому что честный, а стало быть — недоходный) — озлобленный ум, разбитое сердце, раздраженные нервы — словом, хандра — ну, а за ней и чахотка. Так и знайте: умираю от несовместимости с атмосферой, отравленной продуктами крепостного права:

Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!

Оставалось напоследок — чтобы хоть имя забыли не сразу, — распорядиться судьбой сочинений. Тургенев, между прочим, намекал, что нелишне бы поспешить. Некрасов собрал стихи, Панаева переписала их в тетрадь, и 11 июня 1855 года московский купец Солдатенков заключил с автором условие: гонорар — полторы тысячи серебром, тираж — две четыреста, книгу издать этой зимой.

Но в половине августа выяснилось вдруг, что прежний диагноз был ошибочный, и что хотя эту инфекцию прямо к честному труду и крепостному праву не возвести, зато случай, кажется, не смертельный. При таком благополучном обороте обстоятельств книга, выйди она в самом деле зимой, поставила бы автора в положение отчасти смешное. Расстаться с тетрадью Солдатенков не соглашался ни за что, сам представил рукопись в цензуру.

Некрасов пустился на уловки, оттяжки, проволоочки, выгадывая время, чтобы книгу пополнить, — и в самый последний момент, летом 56 года, всю ее, уже процenzурованную и сверстанную, преобразил одним ударом: вклеив стихотворное предисловие «Поэт и Гражданин».

Оказывается, бывает на свете такое страдание, такая бывает удушливая тоска, что сравнительно с ними даже неизлечимая болезнь — не то чтобы пустяк, но все-таки частность, одно из последствий (впрочем, неизбежное). Изображаемый Поэт, представьте, изменил своей Музе — и она его покинула, — и вот он у двери гроба в ярости безнадежного раскаяния обливает слезами картонную манишку воображаемого Гражданина. И рифмует роковой пламень, сжигающий грудь, с камнем — бросайте его, бросайте в предателя, спасибо скажу! Так убивается, словно предал по расчету не просто низкому, но и неверному. Проклинает себя, как шулер, обыгранный дочиста другим шулером, непобедимым.

Его история странно сбивается на мемуар о разрыве с истеричкой:

Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!

Молод был, видите ли, питал различные надежды, — а с таким жерновом на шее не разбежишься. Пусть неземное существо и в некотором смысле сестра, — но ведь кликуша, причем политическая: дух гнева и печали, ненавидящий взгляд и, хуже того, негодующий голос. Не соглашалась притворяться глухонемой! А проживаем в империи: цепи гремят, кнут свищет, палачи на площадях... знаком ли вам, кстати, обычай гражданской казни?.. Одним словом, уволил! Все равно как неблагонадежной прислуге, дал расчет! Отпустил на все четыре стороны... то есть она сама отвернулась, презренья горького полна. И вовремя, — почему и уцелел под николаевским террором, — но для того лишь уцелел, чтобы всю жизнь терзаться презрением к себе! Теперь какие уж стихи? — мало ли что оттепель, — оставь Поэта в покое, назойливый Гражданин! Прекрасная была Муза — бесстрашная, гордая... да только мученический венец — украшение слишком дорогое... Не рискнул, а теперь — поздно.

Так появился в «Стихотворениях Н. Некрасова» другой Поэт — и другой сюжет. Самоубийство таланта — мотив посильней несостоявшейся кончины сочинителя, — но из той же оперы, входившей в моду: благородную личность заела среда.

Публика тотчас догадалась, что погибают в этих стихах лирические герои, художественные типы предыдущего царствования, — не автор же, на самом-то деле! Ведь у Некрасова с этим падшим Поэтом — ничего общего (кроме мыслей о Музе и о Смерти), а книгу, вне всякого сомнения, написал Гражданин, вот и в увертюре его тема громче (фамусовская такая: «*С твоим талантом стыдно спать!*»), ему и титул навеки: Поэт-Гражданин.

В противном случае — выходила бессмыслица. Милостивые, дескать, государи, милостивые государыни! Повергая на суд публики плоды многолетних трудов, сочинитель спешит сообщить, что рабский страх давным-давно истребил в нем так называемое вдохновение. Когда-то ему приходили в голову стихи много лучше тех, что напечатаны в этой книжке. Но они были слишком смелы и неминуемо навлекли бы на автора злобу властей, — и, желая во что бы то ни стало выжить, ваш покорный слуга сжигал их прямо в уме — и навсегда забыл, — а доверил перу только то, что мог выдержать печатный станок под сводами предварительной цензуры. Итак, вы не найдете тут произведений, достойных моего дарования. Примите и проч.

— Невозможно! Некрасов тут не при чем. Он гражданин был в полном смысле слова. Что же до подпольного этого циника и безумца — этого добровольного скопца, — он всего лишь персонаж, отрицательный типичный представитель чего-то там — кажется, искусства для искусства, не правда ли? Не все ли равно, какая и перед кем его вина подразумевается в странной аллегории о Музе, якобы пропавшей без вести! Может быть, это наглядное пособие — на тот случай, ежели дальний — верней, недалекий — потомок удивится когда-нибудь: отчего это Николай Алексеевич не обличал крепостное право при Николае Павловиче, да и вся русская поэзия молчала, как рыба? — вот, смотри — отчего, — и не спрашивай впредь! (А Григорович и за ним Тургенев как же осмелились?)

Но это была бы не вся правда — скорей тактическая хитрость. Муза молодого Некрасова (вот какой она к нему являлась: *«начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности, — и прежде чем успею овладеть мыслью, а тем паче хорошо выразить ее, катаюсь по дивану со спазмами в груди, пульс, виски, сердце бьют тревогу — и так, пока не угомонится сверлящая мысль»*) — первая его Муза недолюбливала так называемый простой народ: за необразимую грубость чувств (и не она одна — Белинский, например, тоже; и не случайно разглядел истинную поэзию в стихотворении про ямщика, побоями под пьяную руку приучающего образованную женщину к трудовой крестьянской дисциплине, к деревенской гигиене).

Та Муза не любила вообще никого и жила точно в аду: все впечатления жизни ее оскорбляли, нагло напоминая про насилие, деньги, смерть. (Первый из русских писателей заметил Некрасов, как в России холодно, и что бедность — ближайшая подруга смерти.) Негодование, стыд и гордость душили ту Музу, — точно палач на эшафоте хлестал ее кнутом, как в старину детоубийц и отравительниц — и не было в человеческом языке рифм для мести.

(Шутовская, демоническая чечетка — вот настоящий жанр униженных и обреченных! Или так: резкая беллетристика с пейзажем из блеска и тоски, нейтралитет ума, непроницаемый голос:

Из лесу робких зверей выбивая,
Честно служила ты, верная стая!
Слава тебе, неизменный Нахал, —
Ты словно ветер пустынный летал!

Стоит взамен тенора пустить контральто, — ирония улетучит-ся, охоте конец, — в двадцатом веке оплакивайте, барышни, своего сероглазого короля: он мертвый лежит под старым дубом. Но санименты молодого Некрасова двусмысленны — и звенят опасным сарказмом:

Чуть не полмира в себе совмещая,
Русь широко протянулась, родная!
Много у нас и лесов и полей,
Много в отечестве нашем зверей!

...Вторая Муза — была Панаева.

О третьей — Некрасов записал, что будто бы она чаще всего являлась в образе породистой русской крестьянки — «в каком обрисована в поэме моей „Мороз Красный Нос“» — и так лет тридцать кряду.

Но когда Смерть взялась за него всерьез — одурманенный опи-ем, он увидел однажды у своей постели страшную, беззубую старуху на костылях — и это, судя по стихам, была та, первая, Муза Мести и Печали. Он испугался и перестал ее звать. Не исключено, впрочем, что это выдумка. Он умирал гласно, публично — передавая в печать немислимые детали, принимая на смертном одре депутации передовой молодежи... Задобрить, разжалобить, подкупить... И был последний аргумент, неотразимый:

Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

Но это еще как сказать. Тургенев, допустим, находил в стихах Некрасова «жидовски-блестящий ум á la Heine», — а насчет поэтического дара сомневался.

И зря. Некрасов довольно часто писал фальшивые стихи, но поэт был настоящий: фонетику не подделать — хоть этот вот ноуций смысл игры сонорных с переднезубными, словно у Музы хронический отек носоглотки:

Непрочно все, что нами здесь любимо,
Что день — сдаем могиле мертвеца,
Зачем же ты в душе неистребима,
Мечта любви, не знающей конца?..

Мороз — Народ — Месть — Мать — Земля — Слезы — Нервы — Мазай — Муза — Смерть.

ГОЛУБОЕ СУКНО

Леонтий Васильевич Дубельт всю жизнь поздно ложился, рано вставал, много действовал. А на последнем отрезке стажа: 1839 — 1856, когда занимал сразу две должности — военную (начальник штаба Отдельного корпуса жандармов) и штатскую (управляющий Третьим отделением Собственной Его Величества канцелярии), — был, наверное, самый трудящийся в России человек, уступая в этом смысле разве только императору.

Понятное дело, уставал — но жаловался единственно супруге, Анне Николаевне, — и она среди хозяйственных забот в селе Рыскино Тверской губернии беспокоилась за него страшно:

«Не могу выразить тебе, Левочка, как стесняется сердце читать о твоих трудах, превосходящих твои силы. Страшно подумать, что в твои лета и все тебе не только нет покою, но все труды свыше сил твоих. Что дальше, ты слабее; а что дальше, то больше тебе дела. Неужели, мой ангел, ты боишься сказать графу, что твои силы упадут и что тебе надо трудиться так, чтобы не терять здоровье. Хоть бы это сделать, чтобы не так рано вставать. Хоть бы ты мог попозже ездить с докладом к графу — неужели нельзя этого устроить?»

Пока ты был бодр и крепок, хоть и худошав, но ты выносил труды свои; а теперь силы уж не те — ты часто хвораешь, а тебя все тормозат по-прежнему, как мальчишку. Уж и то подумаешь, не лучше ли тебе переменить род службы и достать себе место поспокойнее?

Мне как-то делается страшно и грустно, что такая вечно *каторжная* работа, утомляя тебя беспрестанно, может сократить неопценную жизнь твою».

Женская слабость — какое там простительная — приятная: должен кто-то жалеть и Дубельта, не то для чего же и брак. Хотя про место поспокойней он прочитает — Анне ли Николаевне не знать? — с улыбкой. Кто-кто, а она-то в курсе, ради чего он жертвует своим покоем, не говоря уже о воле. И ценит, как подвиг. А по-бранивает больше для биографов из будущего века — чтобы лучше представляли себе его ненормированный рабочий день и вообще распписание:

«Мне не нравится, что тебе всякий раз делают клестир. Это средство не натуральное, и я слыхала, что кто часто употребляет его, не долговечен; а ведь тебе надо жить 10 тысяч лет. Берс говорил Николеньке, что у тебя делается боль в животе от сидячей жизни. В этом я отнюдь не согласная. Какая же сидячая жизнь, когда ты всякой день съездишь к графу с Захарьевской к Красному мосту, — раз, а иногда и два раза в день; почти всякий вечер бываешь где-нибудь и проводишь время в разговорах, смеешься, следовательно, твоя кровь имеет должное обращение. Выезжать еще больше нельзя; в твои лета оно было бы утомительно. — Летом ты через день бываешь в Стрельне... а в городе очень часто ходишь пешком в канцелярию...»

Как видим, среди многообразных обязанностей Л. В. главная, наипервейшая, ежедневная была — с утра пораньше съездить к графу. К графу Бенкендорфу, пока он (1844) не умер, а с тех пор — к графу Орлову. Прибыть, невзирая на состояние атмосферы и собственного здоровья. И доложить, что нового в стране и в мире.

То есть он работал рассветной такой Шахерезадой у начальника III отделения и (тоже по совместительству) шефа жандармов. А тот, в свою очередь, — у царя, у Николая Павловича, — но лишь два раза в неделю, так что сюжеты приходилось выбирать, и тут граф (что один, что другой) тоже без Л. В. был бы как без рук.

Телевидения-то не существовало. Из отечественных средств массовой информации государь пользовался одной лишь «Северной Пчелой» — и не оттого что интересовался: какой, дескать, образ мыслей нынче предписан верноподданным? — а скорей из любопытства обывательского, как если бы это была не газета, но волшебный горшок с антенной, уловляющей запахи столичного общепита.

Ну вот. А доклады «от полис» («haute police» — высшей полиции) представляли собой независимый сериал. Типа «Вести —

дежурная часть», или «Момент истины», или «Совершенно секретно». Только без видеоряда.

Благодаря Дубельгу и его графам, император почти до самой смерти — загадочно скоропостижной — наслаждался чувством постоянного контакта со своей эпохой и страной. А также бесперебойным эффектом обратной связи: беспорядок — сигнал — всеподданнейший доклад — высочайшая резолюция — порядок.

Леонтий Васильевич, таким образом, функционировал как выпускающий редактор — или как называется тот, кто ведаёт корреспондентской сетью, собирает и сортирует материал, — и одновременно как сценарист: в соавторстве с одним графом, а потом с другим оттачивал драматургию эпизодов, композицию передачи, дикторский текст, и все такое.

Он же обеспечивал интерактивность — воплощал в жизнь августейшие резолюции. Положим, не воплощал (аппарат-то на что?) — скорей, озвучивал, с особенной охотой — перед фигурантами дел персональных. Изобрел для таких случаев оригинальную, неотразимо обаятельную манеру; ею-то, собственно говоря, и прославился.

Львиная доля времени уходила, однако, на работу черновую, оперативную, противную.

Тридцать три, что ли, секретных агента в обеих столицах, в том числе одиннадцать — женского пола. Студенты, приказчики, светские дамы, проститутки, литераторы, помещики. Почти все — алчные, наглые фантазеры, ни единому слову верить нельзя. У каждого — свои собственные информаторы, обычно из прислуги, как правило — пьянь.

Плюс в каждом из восьми жандармских округов — отдельная сеть. И на каждые две-три губернии — специальный штаб-офицер, от него тоже ожидают сообщений, у него тоже источники.

Да с полдюжины шпионов за границей.

Плюс — главное! — народная самодеятельность: доносы, прошения, жалобы. Штук полтыщи в месяц.

Просят, например, о:

разборе тяжёбных дел вне порядка и правил, установленных законами;

помещении детей на казенный счет в учебные заведения;

причислении незаконных детей к законным вследствие вступления родителей их в брак между собою;

спонсорской поддержке всевозможных творческих проектов; беспроцентной ссуде: скажем, 300 рублей на 10 лет, под собственное ручательство пресвятыя Богородицы.

Жалуются, например, на:
нарушение супружеских обязанностей;
обольщение девиц;
неповиновение детей родителям;
злоупотребление родительской властью;
неблаговидные поступки родственников по делам о наследстве;
а также помещики на крестьян, и обратно.

Доносят, например, — что:
опера «Пророк», хотя была переделана под заглавием «Giovanni di Leide», запрещена, по содержанию в высшей степени возмутительного духа; но при Дворе интригуют, чтобы эта опера была представлена;

сын командира лейб-гвардии Горского полуэскадрона полковника *Анзорова*, воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, бежал к Шамилю;

на Московской железной дороге пассажиров заставляют снимать шляпы;

маркиза *Виргиния Боцелла*, побочная дочь одного из князей Эстергази, — в тесной связи с Анатолием Николаевичем *Демидовым*;

в Россию едет перчаточник *Журдан* с преступными поручениями от заграничных злоумышленников;

певец Итальянской оперы *Формез* ужасный революционер, он в Германии и Швейцарии везде был первый на баррикадах, и есть даже гравюры, его изображение со знаменем на баррикадах;

помещик Вилькомирского уезда *Ляхницкий*, живя в несогласии с соседним помещиком графом Коссаковским, приказал поймать на своем поле крестьянскую лошадь графа Коссаковского и своими руками отрезал ей ноздри, половину языка и между ребрами кусок мяса, отчего та лошадь вскоре сдохла;

в Варшаве одна женщина родила ребенка с птичьей головою и рыбьим хвостом;

канцелярист в уголовном надворном суде *Корюханов* отрезал себе ножницами язык;

граф Дмитрий Николаевич *Шереметев* имеет преступную связь с сестрою покойной его жены, девицею Варварою Сергеевною Шереметевою;

отставной поручик *Неверов* в Александринском театре наговорил дерзостей статской советнице Сокольской, оскорбляющих честь ее;

к арестованному литератору *Тургеневу* допускались посетители; *Хаджи-Мурат* бежал, но на другой день его поймали и убили; купеческий сын *Блохин* в религиозном заблуждении разбил Святейший Синод самыми дерзкими и неприличными словами; совращал его рыбинский мещанин *Маслеников*;

в Министерстве внутренних дел составилась *Красный* департамент: министра окружили *Милютин*, *Мордвинов*, *Арапетов*, *Надеждин* и *Гвоздев* — все они люди чрезвычайно либерального образа мыслей;

желание публики слышать г-жу *Вьярдо* так велико, что в первое ее представление все коридоры в театре были полны в том уповании, что кто-нибудь из имеющих кресла умрет или занеможет;

во Владимирской губернии застрелилась девушка *София Иванова*, проживавшая несколько месяцев в доме помещика Дубенского под именем мальчика дворянина Васильева;

в маскераде в Дворянском собрании испанка *Лопес* подошла к француженке *Люджи*. *Люджи* сказала ей: «*Quel villain masque!*» Лопес за это ударила ее по щеке и обратилась в бегство. *Люджи* догнала ее и дала ей несколько толчков ногою по заду;

отставной подполковник *Антонов* шел ночью по Большой Мещанской и остановился помочиться у будки часового; Часовой требовал, чтобы он этого тут не делал; Антонов ударил часового; часовой арестовал Антонова.

Пуды, буквально пуды вздора — сплетен, слухов и клевет. И ни от одной, ни от самой грязной бумажки не отмахнешься: на Высочайшее имя, с пометой: «по Третьему отделению».

Конечно, большая часть все равно сплавлялась в полицию, — но не безвозвратно: дело-то заведено, а кто завел, тому и закрывать. Вы только представьте себе объем межведомственной переписки. Заодно и картотеку.

А весь штат Отделения — душ двадцать пять, от силы! Это считая графа и самого Л. В. Это считая писцов и перлюстратора. Это с театральной цензурой.

(Корпус — дело иное: там генералы, штаб- и обер-офицеры, унтеры, не говоря о рядовом составе; 26 только музыкантов, а лошадей строевых — тысячи; но то — войско, а то — сыск.)

Словом сказать, на весь канцелярский урожай один Л. В. был и молотилка, и веялка, и мельничный жёрнов. Притом что с плеве-лами управлялся единолично, а злаки сохранял и проращивал. Чтобы, значит, непосредственный начальник чувствовал себя необходимым, и чтобы глава государства ни минуты не скучал; с увлечением чтобы воспитывал нацию, снабжая Дубельтовы сюжеты развязками.

Вот хотя бы насчет девицы *Шереметевой*: ей приказано выехать из дома графа и жить при матери; а ежели будет продолжать связь с графом — в монастырь.

Князя Сергея *Трубецкого* — за то, что увез на Кавказ жену статского советника Жадимировского, — лишить орденов, княжеского и дворянского достоинств, полгода выдержать в крепости, потом — рядовым в Петрозаводск, и только лет через сто, не раньше — героем в роман Окужавы.

За испанкою же *Лонес* государь повелел иметь строгий надзор — «ибо заграничные злодеи присылают к нам различных шпионов и всякое средство к исполнению их преступных замыслов считают позволительным».

И с коллежским советником камер-юнкером *Балабиным*, который под предлогом излечения болезни отправился за границу, а там принял католическое исповедание и вступил в орден иезуитов, — поступить с ним по всей строгости законов.

А зато крестьянина Владимирской губернии *Василия Гаврилова*, приговоренного к пятидесяти ударам плетью за слова «У нас нет государя», — простить.

И каждому приговор объяви, братец Л. В., по возможности лично и как только ты умеешь: с отменной, как бы участливой вежливостью; как бы утирая слезу несчастного невидимым миру носовым платком; уж ты-то не забудешь предложить даме воды, офицеру — сигару. Всякий должен увидеть в тебе «чиновника, который может довести глас страждущего человечества до Престола Царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под Высочайшую защиту Государя Императора...»

Самое смешное, что Дубельту за всю эту суету не платили ни копейки. Он получал только военное жалованье — как начштаба

Корпуса (3900 серебром в год; впоследствии, впрочем, прибавили). Назначая его управлять по совместительству Отделением, царь как-то не подумал, что двойную нагрузку следовало бы подсластить. Подчиненные, прознав об этом, составили было на имя графа ходатайство: дескать, как же так? любимый руководитель, тяжкое бремя, без вознаграждения... Но Л. В. не допустил; на документе надписал: в архив! хранить вечно! пусть видят, до чего дружный был в нашем Отделении коллектив.

«Пусть преемники наши читают! Не постыжусь сказать, что, читая эту записку, я прослезился! Моя преданность, уважение и благодарность к моим сослуживцам за их усердие и честную службу еще бы увеличились, если бы это было можно, так тронул меня их благородный порыв и их ко мне внимание. Но согласиться на их желание не могу, как потому, что, имея хорошее состояние, благодаря доброй жене, мне отраднее служить государю, не обременяя казны, так и по той причине, что при вступлении в управление III Отделением, его Величество не соизволил на назначение мне по этой должности жалованья, — а воля нашего царя всегда была и будет мне священна».

Это была его излюбленная поза: рыцарь, безупречный, весь в голубом. Как-то пожаловался графу (Орлову), что иностранная пресса придумывает гадости: «что мой отец был еврей и доктор; что я был замешан в происшествии 14 декабря 1825 года... что моя справедливость падает всегда на ту сторону, где больше денег; что я даю двум сыновьям по 30 тысяч рублей содержания, а молодой артистке 50 тысяч — и все это из получаемого мною жалования 30 тысяч рублей в год.

Я хочу завести процесс издателю этого журнала и доказать ему, что отец мой был не жид, а русский дворянин и гусарский ротмистр; что в происшествии 14 декабря я не был замешан, а напротив, считал и считаю таких рыцарей сумасшедшими, и был бы не здесь, а там, где должно быть господину издателю... что у нас в канцелярии всегда защищались и защищаются только люди неимущие, с которых, если бы и хотел, то нечего взять; что сыновьям даю я не по 30, а по 3 тысячи рублей, и то не из жалованья, а из наследственных 1200 душ и т. д.

Как Ваше Сиятельство мне посоветуете?»

Граф, естественно, показал это письмо государю; тот, естественно, передал — плюнуть и растереть: «не обращать внимания на эти

подлости, презирать, как он сам презирает»; ни до какого суда, разумеется, не дошло.

Но вообще-то у Николая Павловича память была превосходная; что Л. В. в молодости был масон, либерал, крикун, что в декабре 1825-го действительно привлекался, хотя и без последствий, — что немного лет назад через того же Орлова был спрошен: большим ли располагает состоянием? — и запальчиво уверял: никаким, все записано на жену, — что и спрошен-то был неспроста, а в аккурат по случаю очередной актриски (в МВД тоже знали свое дело, и петербургская полиция тоже недаром ела хлеб), — одним словом, в головном мозгу самодержца имелось на Дубельта, как и на всех прочих, досье с компроматом.

Однако Л. В. обладал такой странной духовной фигурой, что при взгляде сверху казался дураком — неподдельным, круглым (граф Орлов так и говаривал *tkte-a-tkte*: ну и дурак же ты, братец!) — но за которым, как за каменной стеной; а зато люди, чья участь могла от него зависеть (а чья же не могла?) — видели в нем, как Герцен, что-то волчье, что-то лисье: «...Он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии... Много страстей боролись в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было».

Чту у пом. зам. царя по режиму (так сказать, у генерального кума) бушевало в груди — разъяснилось только в начале XX столетия, когда попали в печать его дневники, плюс как бы морально-политическое завещание — «Вера без добрых дел мертвая вещь».

«Первая обязанность честного человека есть: любить выше всего свое Отечество и быть самым верным подданным и слугою своего Государя.

Сыновья мои! помните это. Меня не будет, но из лучшей жизни я буду видеть, такие ли вы русские, какими быть должны. — Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая, помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас, и никого к добру не приведут. — Передайте это и детям вашим — пусть и они будут чисто русскими, — и да не будет ни на вас, ни на них даже пятнышка, которое доказывало бы, что вы и они не любят России, не верны своему Государю. — Одним словом, будьте русскими, каким честный человек быть должен».

«Не лучше ли красивая молодость России дряхлой, гнилой старости Западной Европы? Она 50 лет ищет совершенства, и нашла

ли его? — Тогда как мы спокойны и счастливы под управлением наших добрых Государей, которые могут иногда ошибаться, но всегда желают нам добра».

«Государь Наследник Цесаревич Александр Николаевич обручен. Виноват, эта партия мне не нравится. Принцесса Дармштадтская чрезвычайно молода, ей нет 16-ти лет. По портрету не очень хороша собою, а наш Наследник красавец. — Двор гессен-дармштадтский такой незначайший! Принцесса росла без матери, которая умерла, оставя ее ребенком. Не знаю, что-то сердце сжимается при мысли, что такой молодец, как наш наследник, делает партию не по сердцу и себе не по плечу».

«...Про Александра Павловича говорили, что он был на троне — человек; про Николая надо сказать, что это на троне ангел — сущий ангел. Сохрани только, Господь, его подольше, для благоденствия России. — Не нравится мне, что он поехал за границу; там много этих негодных поляков, а он так мало бережет себя! Я дал графу Бенкендорфу пару заряженных пистолетов и упросил положить их тихонько в коляску Государя. Как жаль, что он не бережет себя. Мне кажется, что, принимая так мало попечения о своем здоровье и жизни, он сокращает жизнь свою — да какую драгоценную жизнь!»

«Когда же возвратится наша Цесаревна? Уж и она не хворает ли? Мне кажется, вся беда от того, что наши принцессы Великие Княжны рано замуж выходят. Мария Александровна венчалась 16-ти лет; Александра Николаевна 18-ти. Сами дети, а тут у них дети — какому же тут быть здоровью! — Крестьянки выходят замуж 16-17 лет, так какая разница в их физическом сложении! Крестьянки не носят шнуровок, едят досыта, едят много, спят еще больше, не истощены ни учением, ни принуждением. В них развивается одна физическая сила и потому развивается вполне, как в животных; но и тут, которая девка рано вышла замуж и много имела детей, в 30 лет уже старуха. — В большом свете гонятся за тонкой талией, за эфирностью и прозрачностью тела; а эти корсеты влекут за собою слабость и расстройство здоровья».

«Иностранцы — это гады, которых Россия отогревает своим солнышком, а как отогреет, то они выползут и ее же и кусают».

«Хоть убей меня, а все-таки скажу, что, кроме русской, нет честной нации на свете».

«Хотя это честно и благородно — не преследовать всех иностранцев за то, что большая часть из них каналы, но, виноват, я бы

всех послал к черту, ибо по моему мнению самый лучший иностранец похож только на самого подлого и развратного русского. Просто подлецы!»

Ну что тут скажешь? Только и скажешь вместе с Достоевским: — Леонтий Васильевич был неприятный человек.

Тут, в этих текстах, не «умственное убожество», как некоторые решили. Тут невинность политического сердца. Точно сама *madame* Коробочка вещает с того света. Патриотизм чистой воды.

Также не забудем, что Л. В., по обстоятельствам первой Отечественной, был выпущен из Горного корпуса четырнадцати лет от роду и с той поры ничему никогда не учился, только ездил верхом. А заступив на пост, не отлучался из Петербурга; в собственном имени побывал за двенадцать лет всего раз (провел шесть дней): не позволял себе оставить империю без присмотра.

Лично я подозреваю, что это Дубельт, а не Пушкин (посмертно вступивший с Дубельтом в родство: младший сын Л. В. женился на младшей дочери А. С., истязал ее, просто бил), — так вот, именно Дубельт, вопреки Гоголю (которому он отчасти покровительствовал), представлял собою «русского человека в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Советского без затей. Хоть сегодня в органы.

Однако ж не в главк. Интеллект — интеллектом, характер — характером, а тревожной злобы, сосредоточенной до системного бреда, в Дубельте не было (а в Николае I — была, и в каком-нибудь Липранди — была). Не верил он в существование внутреннего врага — не чуял, стало быть, опасности — отчего и вреда причинил сравнительно немного.

Во всяком случае, перед русской литературой Л. В. на Страшном суде оправдался бы легко. В самом деле:

что наружка в январе 1837 года упустила и Пушкина, и Дантеса, не предотвратила знаменитую дуэль — техническая накладка, нерадивость персонала, — да еще и неизвестно, стал бы Пушкин солнцем поэзии, не закатись вовремя; как раз Л. В. мог судить об этом лучше всех — его, по справедливости, надо считать первым в мире пушкинистом: изучил архив покойного насквозь, вплоть до черновиков, — только письма Натальи Николаевны выцарапал чистоплюй Жуковский (не уразумев нравственный высший смысл этого посмертного обыска; смысл же состоял в том, что великодушнейший в мире монарх, оказав семейству писаки столько милостей,

желал хоть задним числом удостовериться, что писака был их достоин, — его величеству горько было бы разочароваться; Л. В. же послужил в этом случае не больше как линзой, наведенной на измаранную бумагу: нет ли следов какого-либо недоброго чувства — нет ли какой насмешки, способной навредить царю в будущих веках? ведь литература хоть и дура, но распространяется во времени, как под толщей торфа — огонь);

что Николая Полевого превратили из властителя чых-то дум в несчастную пишущую рептилию — тут Л. В. почти что ни причем, это Уваров (минпрос) его ненавидел, а Третье отделение даже заступалось; и Л. В., между прочим, лично прислал бедняге за несколько дней до его смерти — три целковых; (никому не отказывал, обладая сердцем буквально золотым: «Одна только беда, — жаловался жене, — это то, что бедные разоряют меня, — ужас, сколько выходит ежедневно. Но я думаю, что копейка, данная нищему, возвратится рублем»);

Герцена отправили ненадолго в Новгород — так, во-первых, пусть не злословит полицию, а во-вторых, допустил же потом Л. В., чтобы Герцену выдали заграничный паспорт (и не мог этого себе простить; предлагал графу выкрасть этого Герцена из Лондона; говаривал: не знаю в моих лесах такого гадкого дерева, на котором бы его повесить; но ведь не выкрал и не повесил);

а Белинского пальцем не тронул (правда, собирался — да не успел; тоже сожалел: мы бы его сгноили в крепости! — но ведь не сгноил).

А, скажем, Лермонтову даже как-то поспособствовал: из какого-то полка перевестись в другой какой-то; Лермонтов доводился Анне Николаевне седьмой водой на киселе, но — через Мордвиновых, родством с которыми она чрезвычайно дорожила; кто же знал, что неблагодарный мальчишка сочинит эту дерзость — про голубые мундиры, всевидящий глаз, всеслышащие уши.

По собственной глупости погиб, и поделом.

А Шевченко... Нашли тоже о ком говорить.

— Надо было видеть Шевченку, вообразите человека среднего роста, довольно дородного, с лицом, опухшим от пьянства, вся отвратительная его наружность самая грубая, необтесанная, речь мужицкая, в порядочном доме стыдно было бы иметь его дворником, и вот этого-то человека успели украинофилы выказать славою, честью и украшением Малороссии!..

В сущности, одного лишь Достоевского (ну и подельников его, этих фурьеристов с Покровской площади) — из литераторов известных одного Достоевского Л. В. погубил лично. Да и то ведь не насовсем.

Положим, в этом случае, действительно, поступился принципами. Отдавал себе отчет, что каторга и солдатчина (не говоря о расстреле) за пустую болтовню — это отчасти слишком. Сам же записал в дневнике:

«Вот и у нас заговор! — Слава Богу, что вовремя открыли — Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки. На месте Государя я бы всех этих умников туда бы и послал, к их единомышленникам; пусть бы они полюбовались; чем с ними возиться и строгостью раздражать их семейства и друзей, при том тратиться на их содержание. Всего бы лучше и проще выслать их за границу. Пусть их там пируют с такими же дураками, как они сами. Право, такое наказание выгнало бы всякую дурь и у них, и у всех, кто похож на них. А то крепость и Сибирь, — сколько ни употребляют эти средства, все никого не исправляют; только станут на этих людей смотреть, как на жертвы, станут сожалеть об них, а от сожаления до подражания недалеко. — Выслать бы их из России как людей, недостойных жить в своем Отечестве, как язву и чуму, к которой прикасаться опасно. Такие меры принесли бы чудесные плоды — впрочем, не мне судить об этом».

То-то и оно, что не ему было доверено. В этом деле — в так называемом впоследствии деле Петрашевского (у которого в гостях юные безумцы, да еще подстрекаемые подосланным шпионом, вращались направо и налево, потчывая друг дружку дурацкими — коммунистическими, представьте! — идеями) — в этом деле роль Л. В. была, можно сказать, страдательная. Генерал Липранди (из МВД) раздул это дело, желая выслужиться и Л. В. подсадить. И его министр, граф Перовский, генералу Липранди подыграл — преследуя, впрочем, цель свою. Министр внутренних дел, даром что вельможа, лелеял такие тайные проекты, по сравнению с которыми петрашевщина была просто лепет невинного дитяти: исподволь внушал государю, будто в образе правления необходимы перемены; и что Третье отделение — орган якобы лишней; заикался даже насчет крепостного права — дескать, архаизм.

И генерал Дубельт, чьи мысли по этому предмету были государю известны («Пример западных государств не доказывает ли, что

свобода разоряет народы? Они все свободны и в нищете страшной, отвратительной, возмущающей человеческие чувства, — наш народ не освобожден, а у нас нет такой нищеты, как на Западе. Они живут, как скоты, на улицах, под землею, а наши в избе, и на столе каравай; — следовательно, не счастливее ли наш народ народов свободных?»), — генерал Дубельт графу Перовскому — и графу Киселеву (мингосимуществ) — да целой партии сановников и придворных — мешал.

Без сомнения, эта-то партия и подвела интригу. Чтобы, значит, блаженной памяти Николай Павлович усомнился в генерале Дубельте как в гаранте госбезопасности. Мышей, дескать, не ловит — под самым носом опасный противуправительственный заговор проглядел.

И теперь вопрос стоял так: а точно ли был заговор? И ежели бы ответ оказался утвердительным, — мундир вопиял бы каждой голубой ворсинкой: в отставку! ступай, Л. В. в отставку! — видно, и впрямь устарел, коли так оплошал.

К счастью, его включили в следственную комиссию. К счастью, комиссия не нашла никакого заговора — нашла, наоборот, провокацию.

«...Отдавая полную справедливость оказанной г-ном Липранди важной заслуге — продолжительным наблюдениям за Петрашевским и прочими лицами для передачи настоящего дела в Комиссию, при самом внимательном рассмотрении сделанных им суждений, Комиссия не могла с ним согласиться по следующим причинам:

...по самом тщательном исследовании, имеют ли связь между собою лица разных сословий, которые в первоначальной записке представлены как бы членами существующих тайных обществ, Комиссия не нашла к тому ни доказательств, ни даже достоверных улик, тогда как в ее обязанности было руководствоваться положительными фактами, а не гадательными предположениями...

Организованного общества пропаганды не обнаружено, и хотя были к тому *неудачные* попытки, хотя отдельные лица желали быть пропагаторами, даже и были таковые, но ни благоразумное, прозорливое, годичное наблюдение г-на Липранди за всеми действиями Петрашевского... ни многократные допросы, учиненные арестованным лицам... ни четырехмесячное заключение их в казематах... ниже искреннее раскаяние многих не довели ни одного к подобному открытию...»

Липранди был посрамлен, Л. В. восторжествовал и упрочился; мальчишек же не могло спасти ничто, поскольку государь сразу же, заранее, до арестов еще, на предварительном докладе соизволил начертать: «Дело важно, ибо ежели было одно только вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо».

Так что облегчить свою участь Достоевский и другие могли только сами — смиренными, чистосердечными признаниями. К смирению Л. В. и склонял их на допросах. Как некоего Раскольникова — некий Порфирий Петрович (из романа, которого не прочел, будучи к моменту публикации мертв):

— Эй, жизнью не брезгайте! Много ее впереди еще будет. Как не надо сбавки, как не надо! Нетерпеливый вы человек!

Достоевского Л. В. не уговорил — и просто вынужден был диагностировать недонос.

Что же касается стихов Достоевского: «На европейские события в 1854 году»

(Спасемся мы в годину наваждений,
Спасут нас крест, святая вера, трон!
У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменье побед и избавлений!

И т. п. В смысле: каторгу отбыл — исправился — не сжалитесь ли? — еще на четыре года в батальон — жестокость ненужная!)

— то не мог же Л. В. позволить напечатать такие бездарные вирши. Пускай его послужит, пока не докажет искренность чувств по настоящему художественным текстом.

Короче, генерал Дубельт был не какой-нибудь великий инквизитор, — а педагог, моралист, резонер.

Вслух и напоказ презирал не только евреев и поляков (это само собой) — но и сексотов и стукачей (продажны), подследственных (говорливы) и осужденных (ни капли самолюбия); вообще всех, кто перед ним трепетал (а кто же не трепетал?) — за то, что трепещут.

Распускал о себе анекдоты в этом духе. Агенты пересказывали, мемуаристы запоминали:

«... Кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что отличился 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: “Умирающая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану... тому...»

несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?” — “Снести на почту”, — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт».

Сценка славная: жандарм дает урок благородства лейб-гвардейцу Герцен, записывая, словно запоминать — или вправду не знал, — что всю корреспонденцию для *несчастных* почта неукоснительно доставляла куда полагается (а вы думали — во глубину сибирских руд?) — чтобы Л. В. разобрался с нею по существу.

Да, занимался ерундой — давил людей почем зря, как букашек, — не по собственной воле, а как сапог на ноге Железного Дровосека, — но при этом ведь полагал, что исполняет священную миссию, спасает Россию.

Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире: Боже, так сказать, и Дубельте! царя храни!

Но никто не оценил. Как бы никто не знал (не хотел никто знать!) — что Л. В. был главный (сразу вслед за государем Николаем Павловичем) положительный герой своего времени, лучший (по государю) человек в стране. Одна лишь Анна Николаевна, земля ей пухом, находила верные слова:

«В разговоре моем со старостами, в вечер твоего отъезда, первое мое слово начиналось так: “А что! Каков ваш барин?” И каждого из них ответ был следующий: “Ах, матушка, кажется, таких господ, да даже и таких людей на свете нет” — ты, конечно, догадываешься, что я вполне согласна с ними... Это такое блаженство наслаждаться такою беседою, как твоя. Столько ума, даже мудрости в твоих суждениях, что весь мир забудешь, слушая тебя...»

Вздумай Л. В. показать хоть кому-нибудь такое письмо, не вздев на лицо снисходительной усмешки, — тотчас разнесли бы, что у него *mania grandiosa*.

А добрались бы до дневника: — Поприщин! — закричали бы, как есть Поприщин! То-то и плетут, будто его матушка была испанская не то принцесса, не то маркиза; он, должно быть, этому верит сам. Смотрите, какой тон:

«Надо стараться, чтобы в нас славили и милость беспримерную, и приветливость, и смирение ангельское, и чтобы презирать и огорчать людей было бы мукою для нашего сердца...»

Светская чернь только и делала, что преследовала его гадкими сплетнями: про воспитанниц театрального училища, про подпольный игорный дом, — и что будто бы он берет взятки. Как если бы

Его превосходительство Любил домашних птиц И брал под покровительство Хорошеньких девиц!!! — это про него.

Да, бывало, расслаблялся за кулисами биографии. Но был одинок, был несчастлив. Жаждал любви — а никто не любил, кроме жены, — только арестованные.

Когда до них доходило, что перед ними — не безжалостный враг, а офицер и джентльмен, способный понять буквально всё, олицетворенная лояльность, — каким восторгом надежды озарялись бледные, искаженные страхом лица!

В этих мизансценах, в этих диалогах Л. В. наяву чувствовал себя вторым Николаем Первым.

Который — увы! — при всей своей пронизательности, видел в генерале Дубельте всего лишь верного Личарду, а не собственного двойника, столь же добродетельного без страха и упрека. Чего же было ждать от всех других?

Когда умер Николай Павлович и ушел на повышение, в Госсовет, граф Орлов, и Л. В. предложили возглавить Отделение (неприлично было бы не предложить), — разве кто-нибудь расслышал в его ответе отзвук затаенной мечты? А ведь он сказал (поддавшись, впрочем, слабости) ясней ясного: на этом посту должен стоять человек богатый, человек с титулом!

И что же? Пожаловали графом? Не тут то было. Еще и пошутили: ну, раз ты такой Дон-Кихот...

Так и кончились карьера и фортуна.

Остался на этажерке бюстик, и под ним — листок бумаги с текстом:

Быть может, он не всем угоден,
Ведь это общий наш удел,
Но добр он, честен, благороден,
Вот перечень его всех дел.

Самого Жуковского, Василия Андреевича, имейте в виду, стихи.

ПАРАДОКС ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Нет, не автор «Идиота» проронил, словно нарочно для нынешних пошлецов, вплоть до телерекламы конфекциона: *мир спасет красота*, — не автор, а один из персонажей, причем в бреде: он слышал от кого-то, будто есть у главного героя — тоже, кстати, не всегда вменяемого — такая фраза или такая мысль.

И не Чернышевский высказал категорический императив советской школьницы: *умри, но не давай поцелуя без любви!* — нет, не Чернышевского скрипучий голос произносит эти — золотые, впрочем, французские слова, — а щебечет их некая Жюли, уличная в прошлом проститутка, прибывшая из Парижа в Петербург на ловлю счастья и чинов.

И точно так же, полагаю, не одному Набокову принадлежит блестящий очерк о Чернышевском в романе «Дар»: молодой поэт Годунов-Чердынцев сочинил этот очерк и едва ли не считает его тоже романом. (Вот, например, выходка дилетанта: он скорбит, что рукопись «Что делать?», оброненная Некрасовым, подобранная прохожим, — не погибла в сугробе или же в печи; Набоков, разумеется, позволил бы себе на этот сюжет шутку, в знак презрения к скверной прозе ложного классика, — но Годунов-то его Чердынцев своему герою как бы по-настоящему тут, видите ли, сострадает, неизвестно с какой стати вообразив, будто потеряйся «Что делать?» и не расхвали книгу Писарев — жизнь Чернышевского прошла бы веселей.)

И кто читал роман «Пролог» — правда, читателей таких немного на свете, а скоро не будет ни одного, — тот знает: не сам Чернышевский, а другой литератор, по фамилии Волгин, и не за письменным

столом, а в аристократическом салоне — на тусовке российской политической элиты 1857 года — на неформальной встрече лидеров и богачей ради дискуссии об условиях освобождения крестьян — и уже поняв, какие это будут условия: неизбежно самые невыгодные для всех и крестьян и помещиков, и для страны, потому что реальная власть — у ничтожеств, движимых исключительно шкурным и притом копеечным интересом, — и уже поняв, что делать ему тут нечего, — с тяжелым сердцем, чуть ли не со слезами этот Алексей Иванович Волгин про себя выговаривает мысль, навлекшую на Н. Г. Чернышевского столько клевет:

«Жалкая нация, жалкая нация! — Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы... — думал он, и хмурил брови.»

Тут не вся мысль Волгина, Волгин же — не весь Чернышевский, — хотя очень похож, как бы автопортрет от лукавого, и явно с Волгина писал своего Чернышевского двойник Набокова. Волгин изображен с нестерпимым кокетством: как ведут себя в романах Диккенса застенчивые филантропы — только и думает, как он нелеп и некрасив, и какой сухарь и трус, — и будто бы совершенно не замечает нечеловеческого благородства своих поступков и побуждений; очевидно, что Чернышевский Волгина этого нарочно на себя наговаривает: во-первых, из нечеловеческой же якобы скромности, во-вторых — якобы для цензуры и конспирации, в-третьих — именно чтобы читатель догадался полюбить автора еще сильнее, чем героя...но главное — конечно, был гордец.

На следующей же странице о Волгине сказано: *«...он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ неспособен поддерживать вступающих за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?»*

Вопрос на вид вполне риторический. Здравый смысл со вздохом отворачивается, встает, уходит — мыть руки, пить водку, ждать будущего века: что же делать, коли делать нечего!.. Но в спину ему тот же скрипучий голос продолжает: *«...о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них.»*

Вот он, парадокс Чернышевского. Есть совесть ума, и для своего собственного самосохранения — в сущности, из чистого эгоизма —

из циничного, если угодно, расчета — ум вынужден эту интеллектуальную совесть ублаготворять, то есть высказывать ее требования, даже с опасностью для черепной коробки: ум себе до-роже.

Ну что же делать, если случайность рождения забросила тебя в историческое прошлое, лет на триста или на тысячу назад, в империю, населенную несчастными, злыми дикарями? Наслаждаться дефицитными прелестями импортной цивилизации — под полицейским надзором и, главное, за чужой счет, ценою бесчисленных жизней? Аристотель умел, и какой-нибудь Цицерон умел, — но ведь они-то жили в своем времени, они-то не знали, что рабы тоже люди, а сверх того полагали глупость вечным двигателем судьбы. А в XIX веке доказано — и лично Чернышевский экспериментом проверил, — что вечный двигатель невозможен и, вероятно, даже глупость не бессмертна и вроде как подчиняется второму закону термодинамики. А овладев знанием, ум ни за что не откажется от него — и требует жертв.

Вот и выходит — чем притворяться рабом, умней бесславно и бессмысленно погибнуть. Потому что есть гордость ума, и потому что одному из пророков недаром сказано: держи лицо твое, как кремень.

Не погибнуть нельзя — на то и полиция, чтобы все в империи были рабы. Не бессмысленно тоже нельзя — на то и рабы, чтобы ликовать, когда казнят их непрошеного спасителя. Ну, а что касается славы — какие-то надежды, понятное дело, Чернышевский на историю возлагал.

Хоть и сознавал, что так ая отмена крепостного права не приведет к отмене рабства, хоть и предвидел смутно революцию вот именно рабскую, но не предчувствовал за ней опять империю рабов; допускал, и с охотой, что внуки Хорь-и-Калинычей возведут его в святые, — но не верил, что праправнуки низложат.

Почти во всем заблуждался: плохой был философ (хотя, в сущности, изобрел экзистенциализм — и опробовал на себе), никудышный эстетик, неловкий (но не скучный, согласитесь, не скучный) беллетрист, совсем не художник. Но критика и особенно публицистика — и особенно, особенно! — политическая мораль безупречны: понимал отношения вещей, и писал и жил в точности как думал. Отчасти, притом и нехотя, и как бы в волшебном зеркале, Набоков его припоминал в Цинциннате Ц., в «Приглашении на казнь».

Но Цинциннат, счастливчик, перешел в другое измерение, оставшись молодым, — а Чернышевского с эшафота увезли в Сибирь, и хуже того — в старость.

Тюрьма, каторга, ссылка — для гордого ума ничто. Но старость, и старость в России, да еще без денег и под страхом не за себя — сломает кого угодно. Глеет, глеет в человеке безумие — и вдруг нет человека: говорящая головня; бормочет, бормочет, превращаясь в черный прах.

Зато никто уже не скажет: все сплошь рабы.

ФЕТ: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Взвод, вперед, справа по три, не плачь!
Марш могильный играй, штаб-трубач!

Фет

Я близко подошла к гробу и положила Фету на
грудь пышную живую розу, с которой его и похоро-
нили.

С. А. Толстая

На ум невольно приходит «Отрочество» Л. Толстого:

«Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною».

Этот странный, воображаемый сюжет, омытый сладкими слезами Николеньки Иртеньева, сбылся наяву в судьбе его сверстника Афанасия Шеншина. Четырнадцатилетнему подростку пришлось узнать, что он носит чужое имя, и живет в чужом имении, и напрасно называет отцом мужа своей матери. Подобно осужденному злодею, он вдруг лишился всех прав состояния, — нет, горше того — и подданства, и национальности. Отныне был он уже не русский дворянин, а «иностранец Афанасий Фёт», бедный гессен-дармштадтский кукушонок.

Годы, проведенные на скамьях лифляндского пансиона и Московского университета, не остудили обиды и безрассудной мечты вернуться в утраченный мир. Сам Гоголь нашел в желтой тетрадке стихов первокурсника Фета несомненное дарование, но владельцу

тетрадки было противно собственное имя и безразлично собственное будущее, он стремился вспять, в ту судьбу, что ему не принадлежала. Фет хотел одного: снова стать Шеншинным.

Наследственное безумие притворилось трезвым расчетом. Поступить в армию, в кавалерийский полк унтер-офицером — только для этого и нужен был Фету университетский аттестат! Весной 1845 года это был кратчайший путь в родословную дворянскую книгу. Первый же обер-офицерский чин давал потомственное дворянство. Петр Великий словно нарочно ради Фета записал в Табели о рангах, что выслужившие обер-офицерский чин — *«в вечные времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантюрах равно почтены быть имеют, хотя бы они и низкой породы были»*. Вольноопределяющемуся действительно студенту производство в корнеты полагалось через полгода, от силы через год. Самое большее через год, вот увидите, он напомним отцу — то есть мужу матери — его собственные слова о каком-то запросе из департамента герольдии: *«Мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин!»*

Отец когда-то служил в уланах. Фет пошел в кирасиры. Спустя два месяца оказалось, что он просчитался, вернее — опоздал. Слишком много времени потерял в университете (злосчастный проваленный экзамен из политической экономии!). Император Николай I задумался о таких, как он или, допустим, как надворный советник Александр Герцен, — и подписал 11 июня 1845 года манифест, согласно коему права потомственного дворянства отныне приносил только штаб-офицерский чин.

Лет на десять затаить дыхание. Ничего другого не оставалось. Так игрок, потерявший в дебюте ферзя, с обреченным упорством продвигает проходную пешку.

В офицерской фуражке Фет похож на Германна из «Пиковой дамы» Пушкина: ожесточенные глаза обращены к фантастической цели; можно подумать, что на совести у человека с таким лицом — по крайней мере три злодеяния. Но Мария Лазич уронила на платье горящую спичку нечаянно, и ничего ей Фет никогда, конечно же, не обещал...

Он убил двенадцать лет, чтобы сделаться штаб-офицером — гвардейским штаб-ротмистром. И опять опоздал. По указу императора Александра II от 9 декабря 1856 года для приобретения потомственного дворянства требовался теперь чин полковника. (« — Туз

выиграл! — сказал Германн, и открыл свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский».) Фет сдался — запросился в бессрочный отпуск, затем в отставку.

Во второй половине жизни он осуществил другой план — и все отыграл, сам удивляясь: *«Судьбе угодно было самым настойчивым и неожиданным образом привести меня не только к обладанию утраченным именем, но и связанным с ним достоянием — до самых изумительных подробностей».* А всего-то и пришлось — жениться без любви на некрасивой, невеселой, тоже равнодушной — и превратиться в помещика, и разбогатеть, научившись премудростям сельского хозяйства, да скупить понемногу родовые земли, пережив братьев и сестер. И забыть о стихах навсегда — можно ли было предвидеть, что в старости и они вернуться?

Ничего не жалея, не брезгуя ничем, Фет разменивал жизнь на ассигнации мстительного тщеславия. *«Представляю себе, что должен был вынести в жизни этот человек»*, — произнес император, подписывая 26 декабря 1873 года указ о присоединении отставного гвардии штаб-ротмистра Афанасия Фета к роду отца его Шеншина.

Все сбылось. Фета похоронили в раззолоченном камергерском мундире, а на могильном камне написали: *«Афанасий Афанасьевич Шеншин».*

Формула личного стиля повторяет, хотя и другими символами, формулу судьбы. Вот человек, который стыдился своей участи, отворачивался от зеркал. В мемуарах тщательно переиначил важнейшие факты. И вот его стихи — в них герой невидим. Безоглядная, болезненная искренность вся уходит в игру иносказаний, чувство обозначено почти всегда лишь инверсией. Стихи как бы проговариваются о какой-то печальной тайне нарочито, чтобы утаить унижительную.

И разве не отражается жизнь Фета в мещанской роскоши его словаря, в нервной рефлексии, разъедающей образ, в механической мелодии, прерываемой рыданиями?

Но как тихо становится в поэзии Фета, когда из хаоса душераздирающих диссонансов вдруг взойдет строка невозможной, неизъяснимой прелести:

Я слышу трепетные руки...

И с холодом в груди пустился в дальний путь...

Современники долго считали эту поэзию чересчур мудреной, затем утвердились в мнении, что она попросту глупа. Когда страсти утихли, история литературы отвела Фету боковое место во втором ряду, не слишком вникая в его помраченную общественную репутацию.

А потом и сомнительное происхождение данного приверженца так называемого искусства для искусства было принято во внимание. Как обстоятельство неблагоприличное, несколько и отягчающее. Наихудшие опасения Фета оправдались; но зато его биография поступила под охрану государства.

... Марья Петровна рассказала Полонскому — стало быть, рассказывала всем, — что ее муж умер от бронхита:

«Эта болезнь, сама по себе не опасная, расстроила и весь организм. Он все время был на ногах, так что мы не ожидали такого скорого конца. Были даже дни, когда он занимался с Екатериной Владимировной...»

... 21 ноября доктор, который постоянно у него проводил ночи, нашел его лучше.

Афанасий Афанасьевич непременно требовал, чтобы я выехала кататься, простился со мной, поцеловал руку. Через полчаса я вернулась, его уже не было, умер очень спокойно, перешел из кабинета с Екатериной Владимировной в столовую, сел на стул, стал тяжело дышать, домашние думали, что с ним сделалось дурно от слабости, затем дыхание стало все тише и тише, и минут через пять его не стало. Милая Екатерина Владимировна так за ним ходила, что я этого не забуду всю мою жизнь, только ее замужество может меня с ней различить».

Какая мирная кончина, верно? Истинно христианская. Как трогательно простался, и руку целовал перед получасовой разлукой, не предчувствуя, что — навеки... Странен немножко доктор: по ночам неотлучно дежурит, а назначить постельный режим не решается. Но, может быть, при бронхите так и нужно — или считалось в 1892 году, что нужно? Тем более что и днем больной не оставался без присмотра, спасибо этой Екатерине Владимировне (сиделка? секретарша?). Только что же она так оплошала, и прочие домашние с нею вместе: старику стало дурно, и хоть бы кто догадался помочь. Целые пять минут человек умирает на каком-то дурацком стуле, и никому в голову не приходит подхватить его, уложить на

диван, подать воды. Наверное, не было там дивана, в этой столовой. Кстати: в столовую Фет перешел зачем? Вздумал перекусить, не дожидаясь Марьи Петровны? Но как же Софья Андреевна Толстая сообщала Страхову — и, конечно, со слов той же Марьи Петровны, — что Фет последние шесть дней не принимал пищи? А впрочем, мало ли какие бывают предсмертные причуды, и не все ли равно?

Екатерина Владимировна Федорова, вышеупомянутая секретарша, замуж вышла, причем за господина по фамилии Кудрявцев, и это, в сущности, все, что о ней известно. Однако сохранилась чья-то запись ее устного рассказа о роковом дне:

«Утром 21 ноября больной, как и всегда бывший на ногах, <-> неожиданно пожелал шампанского. На возражение жены, что доктор этого не позволит, Фет настоял, чтобы Марья Петровна немедленно съездила к доктору за разрешением. Пока торопились с лошадьми, он не раз спрашивал: скоро ли?..»

Согласитесь, что это странно.

«... и сказал уезжавшей Марье Петровне: “Ну, отправляйся же, милочка, да возвращайся скорее”. Когда Марья Петровна уехала, Фет сказал секретарше: “Пойдемте, я вам продиктую”. — “Письмо?” — спросила она. “Нет”, — и тогда с его слов г-жа Ф. написала сверху листа: “Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному”. Под этими строками он подписался собственноручно: “21-го ноября. Фет (Шеншин)”».

Самоубийца диктует секретарю предсмертную записку! Между тем кое-кто этот «лист обыкновенной бумаги невысокого качества» видел собственными глазами. По свидетельству Б. Садовского, почерк самого Фета ясен и определенно тверд..

«На столе лежал стальной разрезальный ножик в виде стилета. Фет взял его, но встревоженная госпожа Ф. начала ножик вырывать...»

Все это молча, в полной тишине? Они друг на друга не глядят и не произносят ни слова?

«...причем поранила себе руку. Тогда больной пустился быстро по комнатам, преследуемый госпожой Ф. Последняя из всех сил звонила, призывая на помощь, но никто не шел».

Вот оно как.

«В столовой, подбежав к шифоньерке, где хранились столовые ножи, Фет пытался тщетно открыть дверцу, потом вдруг, часто

задышав, упал на стул со словом “черт!”. Тут глаза его широко открылись, будто увидав что-то страшное; правая рука двинулась как бы для крестного знаменья и тотчас же опустилась. Он умер в полном сознании».

Здесь нет — и нам никогда ни за что не узнать — главного. Изъята вся прямая речь от росчерка «Фет» до возгласа «черт!». Благодаря этому смысл событий ускользает от чужих глаз, и драма представляется клинической картиной. Женщины солгали непохоже и по разным причинам, но Фета не выдали.

Иное дело стихи — вот хоть бы и эти: «На качелях». Фету семьдесят лет от роду и два — до кончины.

И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.

И чем ближе к вершине лесной,
Чем страшнее стоять и держаться,
Тем отрадней взлетать над землей
И одним к небесам приближаться.

Правда, это игра, и притом —
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам вдвоем —
Это счастье, моя дорогая.

Считается, что Фет похоронен в родовом имении Клейменово, в склепе под алтарем тамошней Покровской церкви.

Населенный пункт с таким названием в Орловской области имеется. Это дачный поселок работников сталепрокатного завода: шеренга домиков, ярко раскрашенных, на вид неудобных. Церковь отстроена, похоже, как бы за компанию с ними, на сэкономленных материалах, неуклюже, но тщательно. Кирпичные небеленые стены, жестяные купола. Стены склепа и пол выложены пластинами мутно-серого искусственного мрамора. По располированным поверхностям растекается, наводя головокружение, яркий свет с потолка. Скользко и гулко. Сразу и не догадаться, что еще недавно это был просто погреб, заполняемый что ни осень картофелем.

Стоишь словно бы на дне огромной (высотой метра в три) пластмассовой коробки из-под костяшек для домино. В левом торце две костяшки остались — две надгробные плиты, несомненно поддельные. **«Здесь погребен поэт Фет-Шеншин. Родился в 1820 г. Погребен в 1892 г.»** — **«Здесь погребена в 1894 г. жена поэта Мария Петровна Фет, урожденная Боткина»**. Новая орфография, невозможный текст, и в присутствии мертвых трудно поверить. Пусто — пусто.

Церковь расположена на высоком берегу обмелевшего, загнившего пруда — некогда столь обширного, что молодой Фет остерегался заплывать на середину. Есть основания подозревать, что не склеп, а этот пруд — его могила. Живет такой слух. Жестокий был немец, говорят, и грубо обращался с жителями, вот и пустили с крутизны, как стало можно, его металлический гроб.

О других Шеншиных, само собой, никто ничего не помнит. В церковной ограде — ни плиты, ни креста. Они, наверное, растаяли в черноземе — те, ради кого, запаянный в свинец, отправился ненужный, ничей сын в последнюю дальнюю дорогу: Елизавета Петровна Шеншина, в лютеранском браке Шарлотта Фёт, и тот угрюмый отставной кавалерист, что выкрал из-за границы замужнюю беременную красавицу на горе себе и другим.

Впрочем, это все не важно. Не имеет значения. Потому как не жизни — вы же знаете — не жизни жаль с томительным дыханьем — что жизнь и смерть? — а жаль, понимаете ли, того огня, что просиял, несмотря ни на что, над целым мирозданьем и в ночь идет, и плачет, уходя.

КУСТ

Странен, отчасти забавен, почти что жалок взрослый человек (не обязательно с длинной белой бородой! не обязательно в длинной белой блузе! вообще не обязательно собственной персоной Лев Толстой), задумчиво так составляя среди распаханых полей букеты из сорняков: «красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой “любишь-не любишь” со своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом» и т. д.

Смешно в 68 лет мечтать, даже — что напишете новое замечательное, — даже если вы действительно Лев Толстой.

А захотелось ужасно: сразу отчетливо представился пронзительный финал и — выведенный как бы спицей по воздуху — неизбежный к финалу путь — не то чтобы сцена за сценой, а скорей вообще прерывистая длительность, или воображаемый прозрачный объем, благоустроенный предчувствуемым ритмом.

Тоже и главное лицо — мучительно живое в пыльном, багрово-зеленом иероглифе внезапной подсказки: в этом бросившемся нечаянно в глаза — или брошенном? — кусте чертополоха, он же репей, бодяк, волчец, осот, он же мордвин, татарин, *мурат*.

«Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его».

Это случилось в имении Пирогово (35 км от Ясной Поляны), 18 июля 1896 года среди бела дня: нелепому старику с букетом явился на обочине проселочной дороги призрак. И молча крикнул ему прямо в угрюмые мысли: врешь, еще не кончено! не все кончено! И старик почувствовал — должно быть, последний раз в жизни — жаркий восторг. Такой, как если бы оставалось еще на что-то надеяться, и это что-то зависело от силы его желания, и эту-то силу в нем разжигал своим примером неистребимый ботанический инвалид. «Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее», — думал старик, запоминая свои слова. И сказал кусту:

— Молодец! Так и надо, так и надо!

Куст был необыкновенно похож на то, что осталось в памяти от когдатошних кавказских, сорокапятiletней давности разговоров про последний бой одного знаменитого горца, Хаджи-Мурата. И — главное! — на то, как он сам, старик на пустынной дороге, Лев Толстой, понимал жизнь и за что любил.

Этот чертополох явно поджидал здесь именно его; но изображал (с явным вызовом и не по-актерски талантливо) почему-то двоих — Льва Толстого и Хаджи-Мурата. Того и другого сразу. Оставаясь растением. Но заключая в себе и даже как бы излучая некий волнующий смысл.

Который нельзя же не попробовать выразить письменно, раз уж вы действительно все еще Лев Толстой.

2.

И он попробовал. Взялся через три недели, написал за три дня почти без помарок, назвал «Репей». Небольшой такой рассказ.

Ровно через месяц перечитал — не понравилось. Даже править не стал.

Еще через месяц, в конце октября, опять перечитал — «не то»

Дальше — триллер (см. соответствующий трактат А. П. Сергеевского, несравненного специалиста). Коротко сказать — шесть лет. Десять редакций текста. В десятой, канонической, некоторые главы Толстой переделывал по два и по три раза, первую — одиннадцать раз. Первое предложение — пять раз, второе — трижды.

В самый последний раз физически дотронулся до рукописи 19 декабря 1904 года.

Но про себя, в уме — продолжал «Хаджи-Мурата», я полагаю, до самой смерти. За месяц до нее, 3 октября 1910 года, заснув днем, никак не мог очнуться (домашние подумали: удар; Софья Андреевна в соседней комнате молилась: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!») — но и в беспамятстве какой-то текст не давал ему покоя:

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Лев Николаевич слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насулены, губы шевелились, точно он что-то пережевывал».

Вряд ли этот текст был не «Хаджи-Мурат».

3.

Спрашивается: из-за чего так мучился (хотя бывало и наслаждение)? Возился дольше, чем с «Карениной». Что не ладилось, не клеилось? Почему вдохновение так долго не ловилось после первого сеанса? Ведь еще тогда, в «Репье», все самое важное из нынешнего «Хаджи-Мурата», все незабываемое уже существовало.

Там были: куст чертополоха; последний бой Хаджи-Мурата; его отрубленная голова. Также крепость Воздвиженская, майор и спутница его жизни; последние двое — в главных чертах. Уточнить, уплотнить, округлить, и — чего еще Толстому было надо?

А надо ему было, судя по всему (точней — судя по направлению движения), не более, не менее, как душу Хаджи-Мурата, его личную бессмертную сущность. Имелись же на бумаге только наружность и приемы поведения, притом поведения в чуждой среде (а наружность — глазами врагов). Плюс краткая биография, верней — досье, составленное из отрывочных сведений, мелькнувших в прессе. Ну и заключительные часы, минуты, секунды. Мало, казалось Толстому, — мало, мало!

«Для того чтобы понять, как он умер, надо рассказать, кто он был».

Потом оказалось необходимым, кроме *как* и *кто*, расследовать и разьяснить — *отчего*.

Но не удавалось. И в конечном счете — скажу сразу — не удалось. И даже не понадобилось. Для достигнутого результата — никем ведь не превзойденного! — достаточно было сосредоточиться на *как*. Но результат, полученный таким путем — кратчайшим и поэтому сомнительным, — Толстого не устраивал.

В самом деле, отчего погиб Хаджи-Мурат? Разберем на звенья всю цепочку, как бы снизу вверх. От вызванной ранениями кровопотери? От причинивших ранения пуль? Оттого, что какой-то татарин указал преследователям (у которых были ружья, заряженные этими пулями) рисовое поле, посреди которого Хаджи-Мурат укрылся в кустах? Оттого, что весной рисовые поля бывают залиты водой, так что и на лошади проедешь только шагом?

(Какая тяжесть в этих косных фразах, где сюжет на полной скорости внезапно тормозит! «Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки».)

Стоп! Как он попал на это рисовое поле? Ответ: заблудился. Но как же он мог заблудиться? Не разведал, выходит, дорогу, не озаботился проводником? (Из тех, предположим, лазутчиков, что приходили в крепость накануне.) Опытнейший полевой командир — как же так? Выбирался-то из гор со всеми предосторожностями, — а обратно в горы рванул на авось?

Очевидные ответы: побег решен в последнюю минуту — точней, глубокой ночью, когда лазутчики давно уже ушли; Хаджи-Мурат не доверял этим лазутчикам и вообще никому, кроме своих мюридов, или, как их там, нукеров; привык полагаться на свою удачу. Не очевидные: мусульманский фатализм; подсознательное влечение к смерти.

Не очевидные каждый взвешивает сам, без помощи автора. Начет очевидных: точно ли Хаджи-Мурат совсем не готовился к побегу? разве? а порох, пули? боеприпасы-то приобретены заранее! Причем — у солдата, тут же, в гарнизоне, так что если говорить о конспирации, то риск, что солдат, проспавшись, донесет или, наоборот, по пьяной лавочке проболтается, — тоже был достаточно высок. А касательно веры в счастливую звезду, — я и говорю: не что иное, как собственная беспечность — неосторожность, непредусмотрительность, называйте, как хотите, — завела Хаджи-Мурата на рисовое поле. Однако же прежде, насколько мы знаем, он таких просчетов не допускал; остается одно: всему виной — страшная спешка.

Что же он узнал той ночью такое новое и страшное, не терпевшее отлагательства, принудившее порушить и всю эту затею с переменной фронта, и клятву, данную русским начальникам (сделавшись, таким образом, теперь уже дважды предателем, дважды

бесчестным: и для туземцев, и для колонизаторов), и стремглав броситься восвояси, не зная броду?

Написано так: «Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату».

Поразительная ошибка мастера! Упустить, позабыть заготовленный сильнейший ход! А все оттого, что сам уже запутался в бесчисленных вариантах. Ведь у него была уже сцена, в которой Шамиль велит сыну Хаджи-Мурата, Юсуфу, написать отцу, что если тот не воротится, Юсуфу вырвут глаза!

Самый посредственный беллетрист, любой начинающий сообразил бы: пускай лазутчики доставят Хаджи-Мурату послание сына как раз эту роковую ночь. И отчаянная поспешность — и холодная жестокость — последовавших действий были бы мотивированы сильнейшим аффектом.

Толстой ограничился повторением ходов — и возникает вроде как *deja vue*: кончается глава XXII (а всего двадцать пять) наступает ночь на 9 апреля 1852 года, — но ситуация та же, какой была 23 ноября 1851-го, в главе I — когда кунак и родственник рассказывал Хаджи-Мурату, «что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным».

Уже тогда семья Хаджи-Мурата была в руках у Шамиля. Уже тогда было ясно, что Шамиль вряд ли ее отпустит, а если Хаджи-Мурат не сдастся, — точно не пощадит. Тем не менее, Хаджи-Мурат не стал и пытаться освободить семью, а бежал в расположение русских войск. Бежал, потому что люди Шамиля преследовали его по пятам, и местное население им помогало, а у самого Хаджи-Мурата — только четверо вооруженных да какие-то не известные нам тайные сторонники (он уверял князя Воронцова, что — влиятельные) где-то в аулах Аварии.

Оставшись в горах, он не мог выручить семью, а перейдя к русским — мог. Либо отбить вооруженной силой (частью наняв, частью завербовав исполнителей при посредстве упомянутых друзей), либо — выкупить: русские отдадут Шамилю захваченных ими боевиков (и в придачу некоторую сумму денег) — Шамиль отдаст русским семью Хаджи-Мурата — ну а там посмотрим.

Что же изменилось к XXII главе? Только одно: выяснилось окончательно, что первый план неосуществим. (А также — но это как-то

между прочим, — что Хаджи-Мурату откуда-то известно: Шамиль пригрозил ослепить его сына, «отдать по аулам» мать и жену.)

Что же делать? Сосредоточить все усилия на осуществлении другого плана? Нет, совсем наоборот: «надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью».

Но позвольте, позвольте — с какими преданными аварцами? Они же вот только что наотрез отказали в поддержке, да еще под таким беззастенчивым предложением: бояться! Это друзья — как же надеяться увлечь за собой кого-то еще? Тем более теперь, когда в глазах своего народа Хаджи-Мурат — изменник? Если не было такого шанса в главе I, то теперь и подавно.

Стало быть, решение, которое Хаджи-Мурат обдумывал всю ночь, — не опирается на анализ каких-то новых обстоятельств. Это вообще не вывод, просто шаг — чисто импульсивный, а притом и легкомысленный: никакого следующего не предполагает, даже в случае успеха.

«Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы».

Мы-то видим: ни в этот самый Хунзах (как раз откуда он изгнан) ему дороги нет, ни русские не поверят ему во второй раз, если сейчас он обманет.

А Хаджи-Мурат ничего этого словно не понимает!

4.

Вот над чем Толстой бился: известные ему реальные факты не раскрывали, *кто* был этот человек. Кроме подвигов невероятной храбрости, прочее все бессвязно. Ведь по биографии-то не просто башибузук, и не просто один из партизанских предводителей, но и политик, администратор. Управлял Аварией то как ставленник русских, то как наиб Шамиля, еще прежде вращался при ханском, так сказать, дворе, — все это требовало не только харизмы, но и выдержки, но и ловкости ума, но и способности к дальновидному расчету.

Поэтому легко было Толстому писать Хаджи-Мурата и в компании армейских офицеров, и в гостиной младшего Воронцова, и даже на балу у Воронцова-старшего: осанка достоинства, учтивость,

невозмутимость; молчалив и подозрителен, вечно настороже; но приветлив с теми, кто к нему расположен, и т. д.

А вот, к примеру, из-за чего Хаджи-Мурат рассорился с Шамилем — не вычитать было нигде, и никак не вообразить. Насилу придумалось — и не то что неправдоподобно, а как бы высунулся из текста другой какой-то человек: отнюдь не умеющий держать язык за зубами. Простодушный рубака, хвастливый восточный князек:

«Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка остра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня...»

То-то и есть. Основная проблема истории Хаджи-Мурата: вдумываясь: *отчего* в ней случилось то или другое, — теряешь из виду того, с кем случилось, — вот именно, *кто* он.

Не вздумай он вернуться в горы, не погибни при этом возвращении, да не прояви перед гибелью такой героизм — был бы обыкновенный предатель, без всякой истории.

В свое время, в 1851-м, молодой граф Толстой, сообщая брату кавказские новости, так и высказался, поскольку предвидеть будущее не умел: «...Второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость».

Но вторая (так сказать, возвратная) измена, совершенная к тому же с мужеством прямо нечеловеческим, — она-то и создала историю Хаджи-Мурата.

На первый взгляд, совершенно бессмысленную. Но совершенно бессмысленных историй не бывает, хотя бы потому, что они не поддаются изложению. Значит, и в этой следовало разыскать какую-то логику.

В армии, да и вообще в России, было решено, что авантюра Хаджи-Мурата была не что иное, как разведоперация: по заданию Шамиля разыграл перебежчика, высмотрел, сколько у завоевателей живой силы и техники, да где что размещено, — и давай Бог ноги. А Воронцов-senior лопухнулся, и только счастливая случайность помешала шпиону благополучно скрыться.

Логично, не правда ли?

Толстой не стал унижаться до прямых возражений, типа: что такого мог Хаджи-Мурат высмотреть, чего инсургенты не знали? мало, что ли, было у них соглядатаев в каждом населенном пункте, занятом войсками? какой смысл ради порции разведанных

жертвовать авторитетом одного из главных руководителей народной войны? или Шамиль рассчитывал, что русские генералы посвятят Хаджи-Мурата в свои стратегические разработки? К тому же стратегия эта была у горцев как на ладони: рубить леса, сжигать аулы — вот и вся стратегия, но страшней нее не было ничего (не зря Николай I так ею гордился). Аборигенам, чтобы догадаться, что империя не успокоится, пока не отнимет у них всю свободу (и по ходу дела много жизней), не нужна была разведка. Об ответном наступлении речь не шла. Для подготовки же мелких вылазок хватало, повторимся, сведений, приносимых так называемыми мирными или своими в обличье мирных, — зачем посылать такого знаменитого и ценного человека, как Хаджи-Мурат?

Вот разве что, втершись в доверие, он завел бы русскую армию, как Сусанин — поляков, — куда-нибудь в долину Дагестана, где их ждали бы и перебили. Но если имелось такое намерение, зачем он не попытался его исполнить? куда спешил?

От всех этих глупостей Толстой отмахнулся. И построил поведение Хаджи-Мурата на двух опорах — на гордости с честолюбием, с одной стороны, и на любви к матери и старшему сыну — с другой. На привычке к военным победам и — за них — к власти и почету. И на постоянной внутренней связи с двумя людьми, присутствие которых ощущается как счастье.

Шамиль рубит обе опоры. Шамиль — враг.

Русские воюют с Шамилем. Врагу Шамиля они охотно помогут. Русские, значит, — союзники. Им нужны его победы, верней — одна победа: над Шамилем. Ему тоже нужны победы, и над Шамилем — особенно. Еще нужней, причем гораздо нужней — чтобы семья находилась в безопасности. Вот, значит, всё и сходится в тот самый второй план спасения своих, о котором я уже говорил.

Русские отдадут Шамилю захваченных ими боевиков (и в придачу некоторую сумму денег) — *Шамиль отдаст русским семью Хаджи-Мурата, и за это Хаджи-Мурат покорит русскому царю Кавказ, победив и прогнав Шамиля.*

Курсив здесь для того, чтобы наглядней было, какой это вздор.

Если Хаджи-Мурат действительно верит в этот план, — значит, он совсем не понимает положения.

Воронцов, европеец, понимает — и прямо говорит Хаджи-Мурату, «что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства».

Чернышев за две тысячи верст, в Петербурге, и то понимает — и советует императору сослать Хаджи-Мурата вглубь России, чтобы Шамиль не мог шантажом выманить его обратно в горы.

А Хаджи-Мурат как слепой. Или как во сне. О чем-то просит, что-то обещает, чего-то ждет, — как будто есть и у него какое-то будущее время. Так верит в свою свободу рыба, которую подсекли, но еще не тащат.

Боль в жабре чувствует, — но что крючок привязан к леске, а леска — к удилице, а удилице — в руках у кровожадного врага, — это где-то за пределами кругозора.

Возможно ли, логично ли, чтобы взрослый (1812-го г. р.) человек, военный человек, политический человек, — был настолько наивен?

Наверное, да — потому что если это невозможно и нелогично, то история опять рассыпается; в ней не сохраняется ни малейшей искры смысла: ради чего же, в конце-то концов, Хаджи-Мурат предал свою родину?

Остаются еще, как мотивы, честолюбие и жажда мести. Ближе к финалу пересиленные привязанностью к родным.

Но чтобы утолить честолюбие и жажду мести, Хаджи-Мурат не делает ровно ничего. Только мечтает — перед сном или вместо сна. Как мальчик, начитавшийся романов, как герой «Белых ночей», как Обломов:

«Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул».

Проснувшись, Хаджи-Мурат уйдет к русским. Через пять месяцев попытается вернуться. И тут опять *deja vu*. Он опять замечается, точно с такой же протяжной ленцой:

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

“Это можно”, думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя».

5.

Итак, — скажет критик, — сюжет не совмещается с характером героя!

Ну и Бог с ним, с критиком. И с сюжетом. И даже с характером.

Человек, изображенный Львом Толстым, почти всегда больше своего характера.

То есть всегда — если он изображен с любовью.

Потому что когда кого-нибудь любишь, то не важно, какой у него характер, а важно только, чтобы он был всегда.

Как историческое лицо Хаджи-Мурат — загадка. Как литературный герой — неисправная кукла.

Но когда он идет к фонтану под горой, держась за материнские шаровары, — когда бесшумно взлетает, словно огромная кошка, в седло, — когда, вырвав из бешмета клочок ваты, затыкает себе рану и продолжает стрелять, — читателю так же, как и автору, нестерпимо знание, что существует смерть.

С этим чувством и ради этого чувства написан «Хаджи-Мурат»: с чувством, что реальность прозрачна, бесконечна, залита нежным светом и наполнена смертными существами, которым дано понимать друг друга посредством бессмертной любви.

И что эта реальность разрушается работой огромных невидимых машин, принуждающих все живое превращаться в мертвое.

Но что у него — лично у Льва Толстого — пока не отключились мозг и голос, — есть сила спасти многое и многих.

То-то он и умер таким молодым.

Помните, кстати, что проговорил напоследок?

Громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати:

— Удирать, надо удирать!

Смерть раздирала его на волокна, точно он был стеблем чертополоха, — но была еще какая-то мысль:

— Истина... люблю много... все они...

Больше ничего.

САМОУЧИТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКОЙ ИГРЫ

— Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!.. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! Я десять лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье!

Достоевский. «Идиот»

Александр Блок почти всю жизнь провел как поэт — как почти никто из поэтов: как гимназист — каникулы. Ни дня без прогулки на свежем воздухе: куда глаза глядят или облюбовав заранее забаву — скажем, в луна-парке американские горы; а то в Стрельну — купаться в осеннем пруду; потом в синема; или вот:

Открыт паноптикум печальный —

это кабинет восковых фигур на Невском, 86 —

Один, другой и третий год.

Дата под стихотворением — 16 декабря 1907.

Толпою пьяной и нахальной
Спешим...

Тут внезапная неясность: то ли есть причина посетить данный очаг культуры немедленно, — то ли это, наоборот, обрыдлый такой обряд установился и соблюдается все эти годы, примерно с Крாவого

воскресенья; коротаем, так сказать, войну и революцию в нескончаемой мрачной процессии, в дурной компании...

Тем заметней вызывающая поза глагола — и отталкивающее первое лицо подозрительного множественного числа. Инверсия классическая: *толтой угрюмою и скоро позабытой*... Но эпитеты невозможные, в лирике неслыханные; оглушительно хлесткая рифма обещает скандал; что-то будет?

(«Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем п ь я н ы х , впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе...» Это шуты, постоянно сопутствующие Рогожину — и Мышкину — в романе «Идиот». Помните, как они являются в квартире Настасьи Филипповны? «Великолепное убранство первых двух комнат... редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем, мало-помалу и с н а х а л ь н ы м любопытством... протесниться за Рогожником в гостиную...»)

...В гробу царица ждет.

То есть восковая статуя полуголой молодой женщины; это якобы Клеопатра, последняя царица Египта; изображен момент самоубийства: Клеопатра прижимает к груди змею; змея сделана из резины; приспособлены какие-то чудеса техники, так что грудь как бы дышит, а змея через равные промежутки времени как бы жалит. Короче говоря, зрелище — на любителя. И передано стихами почти наивными, — а магическую игру согласных в шелест и звон — а также глубину и протяженность гласных — легко принять за побочный эффект.

Она лежит в гробу стеклянном
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова,

Она раскинулась лениво —
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...

И вдруг, в музейной этой тишине, опять неприличная выходка — ни с того ни с сего:

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз, — — —

Ничего подобного никто в русской литературе никогда не произносил. Отвага беспримерная, скоро ее переймут Есенин и другие. Но как навязчиво неуместен здесь этот автопортрет. И к чему эти подробности о подлежащем, если сказуемое столь незначительно:

Пришел взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ...

Ну, пришел и пришел. Сообщение самое невинное — и торжественный тон просто нелеп. Как если бы моральная неустойчивость абсолютно исключала интерес к подобным зрелищам. Судя по следующей строфе — скорее наоборот. Синтаксис там невнятный, но все же позволяет догадаться, что изображаемый культпоход — отнюдь не первый:

Тебя рассматривает каждый,
Но если б гроб твой не был пуст,
Я услышал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:

Несмотря ни на что, фонетика волшебная. Ведь это вздор — *вздох уст*, — а строка действительно вздыхает — и за ней строфа:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь я — воск. Я тлен. Я прах».

Ария не оригинальная — тотчас видно, что в Петербург так называемого «серебряного века» царица Египта прибыла из Москвы, где Валерий Брюсов, прочитав роман Райдера Хаггарда «Клеопатра», сочинил ровно восемь лет назад одноименное стихотворение: «*Я — Клеопатра, я была царица, В Египте правила*

восемнадцать лет. Погиб и вечный Рим, Лагидов нет, Мой прах несчастный не хранит гробница» — и так далее. Ничего не поделаешь, так проходит земная слава.

Но Блок отвечает монологом в духе А. И. Поприщина:

«Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!

Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь будем оба
В веках равны перед судьбой?»

Не пародия ли тут, в самом деле, на стихи Валерия Яковлевича, дорогого мэтра? («Стихи Ваши — всегда со мной», — сказано ему в письме, отправленном несколько дней назад.) Цезарь ведь — его герой. Конечно, и раб — из его же баллады («Я — раб, и был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц...»)*.

Но тогда стихотворение Блока — просто сатира с оттенком пасквиля. Нет, непохоже: слишком невесело. И потом, эта Русь, пьяная Клеопатрой... У Брюсова тоже безвкусицы хоть отбавляй, однако совсем в другом роде. Но дочитаем:

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колыхается едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

«Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта — слезы,
У пьяной проститутки — смех».

* Брюсова забудут раньше, чем Блока, — и, чего доброго, какой-нибудь юноша веселый в грядущем скажет: знаем, знаем, кто томился у древних египтян в рабстве ... эге-ге! Впрочем, всегда найдется и доцент — вступиться: поклеп! Наш лирик — без изъяна, даже страдал юдофобией, вообще был весь дитя добра и света.

Стихи небрежные (исторгну жгучей всех — молчи, грамматика!), ну и пусть — зато предчувствие скандала сбывается. Поэт поставлен на одну ступень с проституткой, внезапно появившейся из нахальной толпы. Пьяный плачет — продажная смеется. К этому скоплению взрывных все и шло. Провокационные эпитеты совпали, как сходится пасьянс. Автопортрет с пощечиной, прыжок паяца; пьеса для балаганчика в паноптикуме печальном. Но Клеопатра при чем?

Блока случайно видели там, на Невском, 86. «Меня удивило, — повествует свидетель, — как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы...» Следует рассказ про обступивших механическую куклу веселых похабных картузников. И как рефрен: «Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно...»

Вообще-то бывает, как сказано в одном стихотворении Анненского (тоже 1907 г., тоже поздняя осень), *бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей...*

Но эта, восковая, в прозрачном гробу — была буквальная, грубо материализованная цитата из «Стихов о Прекрасной Даме». Судьба в который раз напоминала Блоку, что когда-то, не так давно, он был не просто поэт, но единственный в мире обладатель самой важной в мире тайны.

Настоящее имя Прекрасной Дамы было — Ты и обозначало Разгадку Всего, недоступную словам, как смерть от счастья, как любовь богини.

Неизвестно, что это было — космическое прельщение, литературная галлюцинация... Швейцарский ученый Карл Юнг пишет об участвовавших в двадцатом веке явлениях Богоматери как о фактах несомненных. Дескать, это Коллективное Бессознательное играет с человеком. Салтыков-Щедрин в свое время трактовал подобные состояния проще:

«Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи», — присовокупляет злобный Салтыков — и попадает пальцем в небо. По крайней мере, Блок был в высшей степени аккуратный человек.

«От мух советую, — писал он Евгению Иванову в 1906 году, — купить пачку бумажек «Tanglefoot» — к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избиению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени».

Не важно, по каким причинам и как перепутались мечты и обстоятельства.

Важно, что видения повторялись все реже, потом вдруг совсем прекратились.

Эту утрату Блок оплакивал как Ее смерть.

Ты покоишься в белом гробу,
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.

Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой...

С тех пор этот вальс в нем не умолкал. В чаду алкоголя и пошлости словно кто-то дразнил Блока призраком забытой тайны; вот как в этом кабинете восковых фигур — или годом раньше в привокзальном ресторане... Вы думаете: случайность? Нет — хохот из бездны. Вы думаете: мания преследования? Нет — символизм.

Оставалось: притворно смеяться над разбитыми иллюзиями, отомстить за них собственной гибелью — то есть моральным падением.

«Люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви... Ведь вся история моего внутреннего развития “напророчена” в “Стихах о Прекрасной Даме”».

Иначе говоря: отняли любимую куклу — тем хуже для кукол нелюбимых.

Гибнуть, катаясь на тройках, — словно Настасья Филипповна... Убивать себя пьянством и так называемой страстью — истерикой похоти — любовью без любви.

И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

И все равно, чей вздох, чей шепот, —
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...

Так — сведены с ума мгновеньем —
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!

При оформлении в советскую литературу все это Блоку засчитали как протест против реального капитализма. В общем, это верно. Как замечал по сходному поводу упомянутый Салтыков: «...протестуют потому, что сердца своего унять не в силах. «Погоди ты у меня, — говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею, — вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!» И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и ссылают в Сибирь...»

Я гибну — так тебе и надо! — плачь, низкая действительность, плачь!

И страсти таинство свершая,
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой...

И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст...

Участь, что и говорить, трагическая. Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унижительную необходимость отвечать на поцелуи, а заодно и всю мировую чепуху, — стихи звучат как следует, как диктант Музы. Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится. Вы говорите: маменькин сынок? Нет — искунитель, демон, падший ангел!

«Кто я — она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась.<->Женским<->умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система — превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных — опять торжествует».

«Я опять на прежнем — самом «уютном» месте в мире — ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Ш а б л и »

«Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче («подтачивающая мысль») — от моря, от сосен, от заката».

Такая жизнь ожесточает сердце. Приступы страха, приступы злости, повсюду мерещатся угрожающие взгляды, торжествующие ухмылки. Сжигает ненависть к благополучным...

Если человека несказанно радует известие о катастрофе «Титаника» («*есть еще океан!*») — через несколько лет ему, конечно, Февральская революция в России покажется пресной, постной. Чту значит сжиться с мыслью о личной гибели! — чужую допускаешь (в теории) хладнокровно: «*...нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно — с с о ц и а л и с т и ч е с к о й п с и х о л о г и е й, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны)...»*

Как известно, тогдашний Цезарь вскоре воспроизвел эту мысль поэта — слово в слово (чуть резче: «это не мозг, а — —»). И осуществил его предчувствия. Поэт действительно погиб. А Цезарь помещен в паноптикум печальный.

МЕХАНИКА ГИБЕЛИ

Есть одно место в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где фабула расходится по шву. Зияет прореха, но почти всем удается ее как бы не замечать. А место важное: окончательно разъясняется тайна судьбы заглавного героя — кто, по какой причине, какими средствами погубил его.

Ну, вы помните: нескончаемая ночь полнолуния. Князь тьмы ужинает при свечах в тесной компании приближенных и слуг, и Маргарита приглашена, присутствует, участвует. Вдруг застольная болтовня прерывается, запнувшись якобы невзначай за некое ненавидимое имя. Одно дело попасть молотком в стекло *критику Латунскому*, — замечает небрежно и не очень-то кстати Азazelло, рыжий демон, — и совсем другое дело — ему же в сердце.

« — *В сердце!* — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце, — *в сердце!* — повторила она глухим голосом.

— *Что это за критик Латунский?* — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту.

Азazelло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила, краснея:

— *Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.*

— *Вот тебе раз! А зачем же?*

— *Он, мессир, — объяснила Маргарита, — погубил одного мастера».*

Но спрашивали Маргариту, оказывается, вовсе не о том, и это подчеркивают, обернув окончание одной фразы — началом другой:

« — *А зачем же было самой-то трудиться?* — спросил Воланд».

И выходит так, будто его перебили, — а ведь он нарочно выдержал паузу, не правда ли?

Вообще — обратите внимание, хотя это несколько в стороне от нашего сюжета, — с бедной женщиной тут играют. Ее испытывают. Ее, собственно говоря, искушают, — причем с изощренным коварством. Она ведь еще не преду-преждена, что вправе просить у Воланда («потребовать, потребовать, моя донна, потребовать») чего угодно, — но только чего-то одного — «одной вещи». Это откроют ей перед следующим испытанием, а сейчас все выглядит так, что стоит Маргарите кивнуть — да просто смолчать! — и новые друзья с удовольствием и немедля исполнят желание, о котором она вроде бы сама только что проговорила:

« — Разрешите мне, мессир, — вскричал радостно кот, вскакивая.

— Да сиди ты, — буркнул Азazelло, вставая, — я сам сейчас съезжу».

Спектакль продолжается. Никто из демонов, ясное дело, шагу не ступит без мановения Воланда, — ну, а Воланд не шелохнется, пока Маргарита не попросит об услуге, которую ей навязывают. В это мгновение участь презренного Латунского представляется решенной. Еще прошлой осенью Маргарита Николаевна поклялась его отравить; нынче днем впервые увидела (в похоронной процессии; блондин пепельного цвета, на патера похож), — и такая ненависть исказила ей лицо, что Азazelло улыбнулся. Нынче вечером побывала у него на квартире — и, наверное, убила бы молотком, если бы застала. И вот возмездие сбывается, как во сне. Отчего бы негодяю, погубившему Мастера, не последовать за Берлиозом и бароном Майгелем?

« — Нет! — воскликнула Маргарита, — нет, умоляю вас, мессир, не надо этого.

— Как угодно, как угодно, — ответил Воланд, а Азazelло сел на свое место».

Угадала ли Маргарита Николаевна подвох? Или казнить, как Пилат: чужими руками — для нее не значит отомстить? Или то, на что она в эту минуту еще надеется, нельзя омрачить убийством даже такого существа, как советский литературный критик?

Так или иначе — приговор не исполнен. И, возможно, благодаря этому — вместо этого — исполняется мечта Маргариты о встрече с ее обожаемым Мастером.

Но это — в скобках. Сейчас гораздо важнее тот факт, что хотя казнь Латунского отменена (или отложена), в его вине никто не усомнится на данной странице. Еще бы! Правдивейший свидетель произнес отчетливо: вот кто погубил Мастера, — и самый знающий из экспертов не только не возразил, но даже вроде бы выказал готовность посодействовать исполнению возмездия. Да разве мы сами не догадывались и прежде, что избирательная, прицельная ненависть Маргариты к одному из мерзкой стаи так называемых критиков, затравивших ее друга, имеет основание — пусть невидимое для нас, но прочное? То ли ей каким-то образом удалось (как-никак, супруга советского вельможи) выведать тайну следствия, и она положительно знает: навел ГПУ-НКВД на Мастера именно автор статьи «Воинствующий старообрядец». То ли эта статья была такого рода и такого калибра, уж настолько из ряда вон — не обычный донос, как все остальные отклики на публикацию фрагмента из романа о Пилате, но как бы и ордер на арест, — что сам факт существования статьи полностью объяснял исчезновение Мастера.

В любом случае — у нас нет, не было, а теперь, после только что состоявшегося разговора с Воландом, и быть не может ни малейших сомнений в справедливости подозрений Маргариты. И когда ее пропавший друг, этот вчерашний счастливчик (выигрыш сотысячный, в любви взаимность, и сочинил шедевр), когда он является на сцену в больничном халате и гримасничает, скалясь, и смотрит в пол тусклыми, как и голос, глазами — а Воланд замечает словно бы про себя: «*Да, его хорошо отделали*», — о, как в эту минуту мы понимаем и разделяем гадливую ненависть Маргариты к проклятому Латунскому: ведь сломали Мастера и до неизлечимой психической болезни довели в тюрьме, — а в тюрьму его спровадил кто — разве не Латунский?

Но тут же, буквально на следующей странице оказывается, что — нет. Не Латунский.

С потолка обрушивается, как все помнят, некий гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руке и в кепке, — и сюжет стремительно отбегает назад по новой, только что открытой колее.

« — *Могарыч?* — спросил Азazelло у свалившегося с неба.

— *Алоизий Могарыч*, — ответил тот, дрожа.

— *Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?* — спросил Азazelло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния. — Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнусавил Азазелло...»

Разве эти вопросы и эти слезы взамен ответа и памятный опять-таки всем лепет обвиняемого насчет расходов на побелку и купорос («Я ванну пристроил...») — разве не дают они исчерпывающей разгадки дела Мастера? Демоны не ошибаются, к тому же признание, как всем современникам Булгакова было известно, — царица доказательств. Вот и Маргарита Николаевна, ни секунды не колеблясь, бросается на уличенного стукача. Стало быть, новая версия ее судьбы (и фабулы романа) — версия Азазелло — убеждает ее сразу, неотразимо. Да еще — переубеждает: ведь за мгновение до этого порыва она совсем по-другому понимала ход событий; а с нею заодно — и мы.

Не этот ли самый Азазелло — часа не прошло — вызывался отомстить за невзгоды Мастера совсем другому злодею? Подбивал согласиться на убийство, — и мы почти сочувствовали, — а теперь выходит, что вина того злодея — косвенная и даже нечаянная.

Какой бы гадкой ни была пресловутая статья Латунского, все равно — цели-то она, стало быть, не достигла: власти — кто бы мог подумать — не обратили на нее внимания. Не придали навету такой важности, чтобы действовать немедленно. А что среди читателей найдется субъект, который кой-какими сведениями из статьи воспользуется в сугубо личных целях, — навряд ли это входило в расчеты ее сочинителя.

То есть что же получается: убийца промахнулся, но от звука выстрела камень сорвался со скалы и рухнул на голову жертве. Латунский оказывается в этом деле всего лишь невольным пособником афериста, и вовсе не за роман о Понтии Пилате поплатился несчастный Мастер — при чем тут роман? — а просто подвал, где роман сочинен и сожжен, представился гражданину Могарычу лакомым кусочком.

Внезапно ли осенила гражданина Могарыча такая идея — улучшить свои обстоятельства за счет писателя, ошельмованного газетной статьей, обреченного, скользящего в бездну: незаметный пиннок, и поминай как звали писателя, жилплощадь свободна?

Надо ли так понимать, что в один прекрасный сентябрьский день один неблагоустроенный, но предприимчивый обыватель раз-

вернул газету, наткнулся на зловеще-соблазнительный заголовок, вник в материал, в свете употребленных формулировок оценил положение Мастера и виды на его ближайшее будущее — да и подумал вдруг: а не разу-знать ли адрес этого бедняги? не осмотреть ли помещение?

Или же наоборот — давным-давно обдумал Могарыч свой маневр и только дожидался верного шанса, вполне беззащитной жертвы? Убийственные статьи в газетах шли одна за другой, поверхность идеологии kloкотала, а зоркий Могарыч реял над нею, парил, держался на крыле... Не польстился на квартиру Шостаковича («Сумбур вместо музыки»), не удостоил взглядом апартаменты Довженко («Грубая схема вместо исторической правды»), не тронул Пастернака («Охранная грамота идеализма»), побрезговал Булгаковым («Внешний блеск и фальшивое содержание»)... Все приманки обошел, самые аппетитные (о партийцах, чекистах, военных — и говорить не стоит). Должно быть, так рассуждал, что на кой ляд ему, извините, лица известные, с жилплощадью наверняка чересчур обширной, вольному хищнику не по зубам, — другие наследники настоroje, тех паркетов и понюхать не дадут, — а нужен безвестный одинокий новичок, рыбешка мелкая: вот блеснет такая в пучине — тут Могарыч стремглаз из поднебесья и кинется. Первым делом — в адресный стол, затем смотрины, пара визитов для укрепления знакомства, — и останется только оформить сигнал да прогуляться в магазин за купоросом и белилами.

В том и в другом случае — по наитию ли действовал подлый Могарыч, по заветному ли плану, взлелеянному бессонными ночами, — эта версия, версия Азazelло, выглядит, если подумать, крайне неправдоподобной, даже несмотря на то, что сам обвиняемый, плача, ее подтверждает.

Теоретический расчет хорош, по-своему элегантен, однако совсем упущено из виду важное затруднение, подстерегавшее соискателя именно в данном конкретном случае. Имелось препятствие, на которое демону-то плевать, но советскому человеку оно бросилось бы в глаза, причем советский человек расценил бы его как непреодолимое, сразу сообразив, что квартиру Мастера заполучить в награду за донос — трудней, чем любую другую, практически невозможно. Если бы у Могарыча действительно было такое намерение, — он от этих двух комнат с прихожей отступился бы тотчас

после первой рекогносцировки на местности. Похоже ли на Могарыча — человека, бесспорно, советского, — чтобы он сознательно пошел на огромный, быть может, смертельный риск ради выгоды более чем сомнительной, почти призрачной? Или мы должны предположить, что он, словно какой-нибудь Германн из оперы «Пиковая дама», обдернулся: зная верную карту, поставил по неведомой причине — по роковой ошибке — на другую? Бесстрашный, безрассудный Могарыч... Но как же нас уверяют, будто он еще и выиграл? Банкомет, коего будто бы вздумал он пощипать, никак не допустил бы такого расклада.

Мы упомянули о риске. Тут много распространяться нечего. Донос — орудие обоюдоострое, особо опасное в эпоху террора, и пример Тимофея Квасцова из дома 302-бис по Садовой — у всех перед глазами. Вопреки обывательским предрассудкам, органы не обожают непрошенных подсказчиков с улицы. Одно дело — когда человек по первому требованию сдает государству родную, например, мать: тут мотив ясен, — и совсем другое, когда посторонний проходимец неизвестно с какой стати суется куда не просят: органы способны буквально закаменеть от одного подозрения, что какой-нибудь Алоизий желает их употребить для удовлетворения своих пошлых естественных потребностей — скажем, для приращения жилплощади.

Да еще сюжет такой скользкий. Стукнуть, что знакомый хранит у себя запрещенную литературу, — прием хоть избитый, но работает безотказно, — а вот поди-ка докажи, если вдруг поинтересуются, что водился ты с этим врагом народа из чистой бдительности, что текст идейно порочный лишь пробежал глазами, да и то через силу, превозмогая отвращение, исключительно ради того, чтобы сигнал по-лучился полновзвучный, — а сам ничегошеньки не понял, не запомнил, невинность осталась неприкосновенной...

Сказать по правде, и план, якобы осуществленный Могарычом, — этот хваленый коварный план тоже не очень-то надежен. Мало ли кого распинают в газете, это не обязательно означает, что дни распятого сочтены (того же Булгакова, как известно, казнили этим способом десятки, сотни раз); но уж если объект критики в самом деле обречен, то искать с ним знакомства — безумие: вдруг возьмут его раньше, чем по-лучат твой донос? тут как бы самому не загреметь.

Словом, риск был — несомненный, неизбежный, — и Могарыч знал о нем не хуже нас с вами.

Теперь о выгоде. Столь же несомненно — и Могарыч это знал еще лучше, чем мы, — что бесчисленные его современники — недалекие предки нынешних советских горожан (а также, само собой, — крестьян и казаков) подвергали себя подобному риску охотно и добивались успеха.

Вдумаемся, однако же: кому и какую жилплощадь дозволялось отнимать таким манером — подстроив арест владельца?

Вот пример, очень близкий к занимающему нас казусу. В конце 1935 года некий Мамович-Дымшиц, зять молодого писателя Григория Белых, огорченный тем, что «приходится нести большую часть расходов по оплате жилплощади и коммунальных услуг», — это его собственные слова в протоколе допроса, — так вот, огорченный Мамович-Дымшиц стащил у шурина со стола непочтительный стишок о товарище Сталине и отволоч в Большой дом (дело было в Ленинграде). И очень скоро — не знаю, впрочем, надолго ли, — жилплощадь, столь неаккуратно оплачиваемая одним из авторов «Республики Шкид», очистилась.

Это сделано грамотно. Никаких комбинаций, мат в один ход. Почти никаких формальностей: увели соседа — вселяйся в его комнату, — ублажив разве что управдома. Отсюда и успех — правда, не исключено, что временный. Залог удачи — в характеристике отчуждаемой жилплощади, то есть в надлежащем уровне притязаний. На кого мог по-настоящему рассчитывать простой советский обыватель? Только на ближайших соседей. Сплавил одного — комната, сплавил другого и остался в квартире один — твое счастье, блаженствуй, покуда цел, пристраивай ванну.

А вот явиться на готовенькое, захватить одним рывком отдельную квартиру только на том основании, что ты погубил ее обитателей, — такая горячность в рядовых гражданах не приветствовалась. Были предусмотрены даже юридические препятствия. С точки зрения закона о прописке далеко не все равно — выправить новый лицевой счет (как тогда говорили — жировку), о чем и хлопотал вышеупомянутый Мамович-Дымшиц, или же выдать новый ордер. Это акты разной важности (как, скажем, удочерить сироту — совсем не то, что жениться на чужой невесте), и полномочий управдома или там председателя жилтоварищества — явно недостаточно. Требуется согласие учреждения, опечатавшего искому

квартиру. Но органы растут быстрее, чем освобождаются квартиры, и штатным-то сотрудникам, бывает, негде преклонить голову. С какой же это радости стали бы они потворствовать неумеренным вождениям какого-то Могарыча? Каждому самодеятельному осведомителю за каждого арестованного платить ордером на квартиру — Москвы не хватило бы.

Это не абстрактные рассуждения, это многожды засвидетельствованный факт: жилища жертв доставались, как правило, чекистам. Мало-мальски благоустроенные — практически всегда.

Мне скажут: не бывает правил без исключений. Мне скажут: с чего вы взяли, будто Могарыч — самодеятельный? Может быть, он — не простой стукач, а сексот?

Это как раз более чем вероятно, и мы очень скоро к этому вопросу перейдем, но вот в чем соль: будь этот распостылый Могарыч хоть трижды энкавэдэшник, все равно квартирой Мастера ни за какие заслуги наградить его не могли. Потому что эти комнаты в полуподвале были — частное владение.

Ведь Мастер нанимал квартиру у арендатора — у кого-то из «немногочисленной группы жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве». И пока этого арендатора, или как его — застройщика — не разъяснили, ему за каждый квадратный аршин полагалась плата, причем высокая, отнюдь не по государственным расценкам. Вспомните: если бы не лотерейный выигрыш, ничем бы Мастеру не посчастливилось поселиться у застройщика. Из девяноста истраченных тысяч львиная доля, конечно же, ушла в уплату за подвал.

Вот теперь и спрашивается: благоразумно ли было бы со стороны Могарыча (до чего надоело мне это скверное имя!) — добывать доносом эту, именно эту квартиру? Никакого повода предполагать, что застройщика заберут вместе с Мастером, а дом конфискуют, явно не было, и действительно — ничего подобного в пределах романа не произошло. Ну, а ежели гад надеялся, что НКВД, ценя его заслуги, внесет арендатору квартплату или принудит арендатора предоставить ему комнаты даром, — то, во-первых, это самая настоящая маниловщина (а гад смахивает скорее на Чичикова), во-вторых же — при чем тут злополучный Мастер? В частном-то секторе свободная жилплощадь имелась: Булгаков, к примеру, сменил несколько наемных квартир. Были бы деньги. Да и сам-то Могарыч (тьфу ты, опять попал на язык!) — кто его знает, может, и не соврал Мастеру, будто

проживает неподалеку примерно в такой же квартирке. Но если и соврал — все равно, прямой и соразмерной риску выгоды донос ему не обещал. Не тот случай.

Так разлетается на куски версия Азazelло. Кто бы ни сочинил донос на Мастера, — сделано это было не для того, чтобы присвоить его комнаты. Такой мотив просто-напросто не имел смысла. Значит, и Азazelло, приписывая его по-луголому в кепке, и сам этот полуголый, раскаинаясь, — оба лгут. Играют.

Впрочем, есть еще одна вероятность. Допустим, деньги у гада были. Но собственное жилье ему обрыдло. И он с первого взгляда влюбился в квартиру Мастера, да так яростно, что решил выжить его любой ценой. Тогда непонятно, при чем статья Латунского. Разве что — такое объяснение: гад уже давно мечтал поселиться в квартире, где прежде, до него, жил человек, лично им загубленный... Но согласитесь, что это уж слишком. Как ни противен Алоизий, а все-таки на утонченного маньяка николько не похож.

Тогда, выходит, не он погубил Мастера. А если все-таки он, то не из личной корысти. И если даже была личная корысть, то совсем иного рода, чем та, что ему с его же согласия вменена.

И ничего больше нам не узнать ни от демона, ни от мерзавца. Но остается версия самого Мастера.

Позволим себе некоторое, что ли, примечание.

Это слово: *мастер* — в романе Булгакова пишется повсюду с маленькой буквы — со строчной, хотя заменяет герою имя. Интимное прозвище — тайный титул — фантазия благоговейщей женщины: «*Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером*».

Какой смысл придавала Маргарита Николаевна этому слову?

Можно допустить, например, что она читала «Темы и вариации» — книгу Пастернака (29-й год), там есть такое обращение — к Шекспиру! — «гений и мастер». У Пастернака это явно не синонимы, скорей — слагаемые; величины одного порядка и не противоположные по знаку, отнюдь. Пушкинская антитеза отменена: мастер — тот, кто знает, как распорядиться своим гением, чтобы стать Шекспиром — или Моцартом — великим художником.

Театральный, закулисный оттенок слова, отзвук обычаев гильдии: мастер — хозяин, и учитель, и чудодей — в стихотворении о Шекспире, само собой, тоже внятен, особенно — автору пьесы о

Мольере (в которой, однако, драматурга величают по-другому: «мэтр»; зато в прозаической биографии: «*Но ты, о мой бедный, окровавленный мастер*»...).

Но возлюбленный Маргариты Николаевны пишет не для театра, не о театре, и сама она как будто не вращается в литературно-артистических кругах (и это жаль: разбирайся она в обстановке, не сулила бы славу так настойчиво). Да хоть бы и вращалась. Из разговоров людей этой среды она усвоила бы, что мастером именуется умелый художник, до тонкостей овладевший приемами своего искусства. После 25-го года, когда ЦК ВКП(б) в специальной резолюции предложил писателям: «используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам» — определение «мастер» не считалось ироническим, а уж бранным, как «интеллигент», — и подавно, дрейфуя потихоньку параллельным курсом с уничижительным «спецом» к одобрительному «специалисту». Еще несколько лет хороший тон предписывал, однако, подпускать в голос некоторую толику великодушного снисхождения, как бы согласия на презумпцию невиновности: речь шла о существовании с ограниченной политической годностью, почти всегда — о попутчике, но призмем — партии видней, — что не всякий попутчик смотрит в лес, а превосходный почерк — этого не отнимешь, но можно и должно перенять.

Положительная окраска слова со временем делалась гуще, особенно усиливаясь в тех случаях, когда полагалось — приличия ради — проявить объективный подход: в публичных доносах, в некрологах и в жанрах промежуточных. Действовал, например, такой критик — М. Майзель — подозрительно похожий, говорят, на барона Майгеля; и с органами состоял в связи, пока смрадная пучина его не поглотила. Так вот — статью свою об Андрее Платонове он озаглавил, само собой: «Ошибки мастера» (30-й год). В том же году газета «Правда» по случаю самоубийства Маяковского продекламировала с масонским отчасти прононсом: «...Умер мастер писательского цеха, неутомимый каменщик социалистической стройки». Сам товарищ Сталин в телефонном разговоре (34-й год) попытывался у автора стихов о Шекспире, отчего недостаточно горячо просит за арестованного Мандельштама:

— Ведь он же мастер? Мастер?

Не брезговал, стало быть, этим словом. К середине тридцатых годов оно было вчистую реабилитировано. Из окружающего про-

странства неумолчно доносилось: с кем вы, мастера культуры? колхозные мастера высоких урожаев... мастера художественного слова читают стихи о товарище Сталине... И звание мастера спорта учреждено (35-й год)...

Короче говоря, общепринятое значение слова утвердилось — и словарь Ушакова (38-й год) его закрепил: «МАСТЕР — специалист, достигший высокого умения, искусства, мастерства в какой-н. области. *В этой картине чувствуется рука мастера. Мастера современной литературы. Мастер отбойного молотка...*»

Совершенно очевидно, что Маргарита Николаевна нашла это слово в каком-то другом, далеком от Ушакова измерении. Награждая возлюбленного потайным прозвищем, она вовсе не то имела в виду, что он замечательно владеет слогом, не квалификацию его литературную, — но степень посвященности в страшно важную тайну. Все же видят: она догадалась — или, лучше, заподозрила, что ее друг — не просто писатель, хоть бы и выдающийся; что так называемый роман о Понтии Пилате — нечто большее, чем роман, а едва ли не тождествен свидетельству очевидца, как будто явленная в нем реальность не сотворена воображением, но воссоздана какой-то вечной — не личной — памятью. Ее Мастер не сочиняет прошлое, а записывает открытое ему неубывающее, бесконечное настоящее. Какой же он писатель?

« — Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел в лице и погрозил Ивану кулаком, потом сказал: — Я — мастер, — он сделался суров...»

В сущности, он только двумя страницами раньше уверился в этом окончательно: когда сосед по сумасшедшему дому пересказал ему повествование дьявола о евангельских событиях — и он узнал главу из собственного, собственноручно сожженного романа.

« — О, как я угадал! О, как я все угадал! »

Видно, в глубине души сомневался — нет, не в том, что роман хорош, а в том, что не выдумал ничего, кроме правды.

А Маргарита как будто и не сомневалась.

(Как знать: продлись еще их жизнь — обоим пришлось бы, пожалуй, сдаться, разувериться, позабыть. Но тут в романе, окружающем роман Мастера, показался Воланд, и прислал за любовниками черных коней, — и все подтвердилось, и жизнь кончилась).

Но как же так? Получается, что Маргарита Николаевна — светская — советская — дама, супруга высокопоставленного мастера

инженерной мысли — сама открыла в общеупотребительном слове значение, идущее вразрез одобренному партией смыслу?

Неужто она не знала, что двое ее современников, двое писателей, тоже экспериментировали с этим словом?

В 29-м году Михаил Булгаков начал роман о дьяволе, — и спутники злого духа, принявшего в романе имя Воланда, обращались к своему повелителю именно так:

« — Виноват, мастер, я здесь ни при чем... »

В том же 29-м году Андрей Платонов опубликовал свою повесть «Происхождение мастера» (мало кто знал тогда, что это как бы пролог невозможного для печати романа «Чевенгур»). Главным героем и тут предполагался не деятель искусств, не писатель. В понимании Платонова мастер — это скромный, но высококвалифицированный специалист жизни — практический труженик истории — наладчик ее, механик, машинист. Природа и народ рвутся к освобождению от унижительных тягот бытия — к настоящему, всеобщему, вселенскому социализму, и он восторжествует, как только мастера воплотят всю эту тоску и всю исцеляющую от нее свободу — в работу умных машин, устроенных по чертежам непобедимой науки. Пока что такие мастера — наперечет, но они — соль земли. Именно они, эти невидимые миру коммунисты — а не демагоги или там художники — занимаются истинным творчеством: создают будущее — светлое и вечное.

Эта идея увлекала Платонова всю жизнь. В конце 30-х годов рассказом «В прекрасном и яростном мире» он продвинул ее еще вперед — и оказалось, что между первоклассным механиком и первоклассным художником нет различия; в их деле и участии все решают вдохновение и рок:

«Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, во-бравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним...»

Почти в одно время с Платоновым и Булгаков сделал новый шаг, продумав заново свою концепцию. Один из эпизодов его пьесы о Сталине — «Батум» — в черновой редакции озаглавлен: «Мастер».

Значит, была по крайней мере одна такая минута, когда Булгаков едва не решился зачеркнуть в своем не оконченном, но любимом романе очень многое: с 34-го года герой романа звался масте-

ром, а в ноябре 37-го вспыхнуло — и казалось уже, что навсегда — и наименование всей вещи.

Но дело не в цене, а в том, что общего между Воландом, Сталиным и любовником Маргариты.

По-видимому, центр этого неравнобедренного треугольника — мысль, близкая к платоновской: в истории участвует некто, затмевающий художника. Но это, разумеется, не машинист сцены, а режиссер-постановщик событий, по сути — соавтор Необходимости. Художнику дано чувствовать таинственный смысл человеческой жизни, дано высказать это свое чувство. Мастеру дано — тайну знать. И поручено воспользоваться знанием как властью — или погибнуть.

Эта мысль совместилась с мифологемой, витавшей в воздухе эпохи.

Лучшие художники — кто шепотом, кто тенором, кто искренне, кто лукаво, но все в унисон воспевали свою счастливую участь: приобщиться к бесконечно малым, променять авторское право на обязанность персонажа, на место в пешечном строю.

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором, —

заклинал Осип Манделъштам, сведя уже знакомство с тюремной камерой и палатой психбольницы (37-й год).

В искренности таких слов, освобождающе низкой, точно вздох оргазма, вынужденного насилием, мерцал величавый призрак, непостижимо прекрасный, но с человеческим родным лицом. В его слепящих очертаниях угадывались трогательные земные приметы — и какое же было счастье: знать наверняка, что эта огромная, бессмертная личность пребывает в реальности, даже соглашается — ради современников — подвергать себя действию каких-то смешных законов природы, вплоть до того, что разрешает разным поверхностям отражать звук:

Но он остался человеком, —

сквозь слезы умиления настаивал Пастернак (36-й год) —

И если, зайцу вперерез,
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.

Какое же имя Ему, после этого, под стать? Гений — в данном случае неполное слово, гениален бывает и философ, и поэт, — а в одной галактике с Ним, при одной мысли о Нем самый большой художник чувствует себя беспомощней девы гарема, трепещущей от подступающего восторга:

И этим гением поступка —

вот это хорошо. Гений поступка. Хорошо. —

Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, точно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал...

Противостоять обаянию такого беззаветного безумия — должно быть, невозможно...

Имеется немало свидетельств, что Булгаков, именуя мастером того, чьим внутренним голосом озвучено в каждый данный момент устремление человеческой истории к ее невидимому, но явственному смыслу, — считал таковым себя. В мечтах он добровольно уступал Сталину эту роль, самоотверженно соглашаясь ограничиться уделом художника. Разве не вправе он был надеяться, что жертва будет оценена, что рано или поздно у Принца достанет благородства обласкать Нищего?

Вы несете для нас королевское бремя.
Я, комедиант, ничтожная роль.
Но я славен уж тем, что играл в твое время,
Людовик!.. Великий!..

Французский!!!

Король!!!

В те самые дни, когда Булгаков раздумывал: не возвести ли гения поступка в сан мастера, Надежда Мандельштам трудилась над заявлением в органы. Отчаянно и бесстрашно заступалась за мужа, арестованного вторично и навсегда, не зная, что он уже три недели как зарыт в общей яме за оградой лагеря. В частности, она советовала соратнику вождя — товарищу Берии:

«... проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке.

И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожить поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности».

Это было отступление. Воротимся к сюжету.

Если Мастер и назвал виновника постигшей его ката-строфы, то одному лишь Ивану Бездомному — причем шепотом, на ухо, по секрету от нас и даже от автора — такой вот прием.

Но кое-что в его рассказе намекает на истинный ход событий — и не вяжется с примитивной гипотезой Алоизия — Азazelло, с гипотезой жилищно-бытового доноса. Прежде всего — сам Алоизий не вяжется.

Недаром в покоях сатаны Мастер ведет себя так, словно предьявленного ему очумелого выжигу в кальсонах и в кепке — видит впервые. Этот Могарыч действительно не имеет ничего общего с его другом Алоизием — обаятельным журналистом, о котором не далее как прошедшей ночью в клинике Стравинского было сказано: *«Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем»*. До того понравился, — добавим от себя, — что уговорил Мастера прочитать ему роман о Понтии Пилате — и дослушал весь, от корки до корки, тем самым выказав гражданское мужество или, по крайней мере, неподдельную, как и предполагал Мастер, страсть к художественной литературе.

Ведь чтения эти шли под непрерывный аккомпанемент политической анафемы, со всех амвонов отлучавшей роман и автора от государственного образа мыслей.

По этому поводу в клинике Стравинского тоже обронено как бы мимоходом и ненароком несколько слов, приоткрывающих подоплеку сгубившей Мастера интриги — верней, распорядок действий.

Вот это место:

«Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха».

Темные, многозначительные фразы. О смысле оставалось бы только гадать, если бы Мастер не пережил чего-то подобного в другом эпизоде, ближе к концу:

«Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. «Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением», — думал мастер.

Наблюдательность его ему не изменила».

Как мы помним, поручение, данное демону, состояло в том, чтобы умертвить Мастера и его подругу. В мыслях Азазелло они оба уже кончились. Обращаться с ним и с нею, как с живыми людьми, значило притворяться (какой бы ни предстоял эпилог).

Очевидно, что и в газетных инвективах фальшь тоже не померещилась Мастеру, и означала она, внезапно проступив, то же самое: что с определенного момента он в неминуемой опасности, а скорее всего приговорен и тратить на него слова и время нелепо.

Не исключено, что Мастер различил эту мучительно-тревожную фальшивую ноту с опозданием, что она звучала и в самых первых, будто бы потешавших его рецензиях Аримана, Лавровича, Латунского, еще какого-то Н. Э.

Но остается фактом: дуновение опасности — истолкованное как приступ необъяснимого страха — Мастер почувствовал в те самые дни, когда у него завелся друг по имени Алоизий: *«прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство...»*

Можно ли сомневаться, что совпадение не случайное? Что в эти осенние дни никто из чужих, кроме штатного сексота, ни за какие коврижки, ни ради самой шикарной в мире ванной комнаты

не решился бы добровольно, без приказания, чаевничать с Мастером и слушать его роман.

Мастера странная аранжировка газетного лая удивила, — судя по всему, прежде он читал газеты не часто, — но сведущий современник, уловив подобную пугающую странность, смекнул бы, что решение о Мастере принято, и решение беспощадное, и принято на такой высоте, до которой сигналы заурядных сексотов, даже самых обаятельных, — не доносятся.

Консилиум состоялся, день операции назначен, а дело сексота — пока пациенту прописан амбулаторный режим, навещать его на дому, заполнять историю болезни...

Кстати о болезни. Мастер определенно старается внушить соседу по сумасшедшему дому, что заболел еще до ареста и что, в сущности, не тюрьма его сломила, а душевный недуг, развившийся под влиянием несправедливых нападков на его первую публикацию. Даже можно было бы заподозрить, что кой-какие обстоятельства — изложенные, кстати, скороговоркой — словно нарочно придуманы для того, чтобы подчеркнуть безукоризненную работу органов: да, забрали, проверяя сигнал, — но, установив невиновность, тотчас — через полгода — отпустили, ну, а в клинику Мастер явился по собственному желанию, и тут ему уютней, чем где бы то ни было... Можно было бы заподозрить — если бы не лицо Мастера, когда неслышным шепотом он рассказывает Иванушке про свой арест и заключение:

«Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость».

Тут нельзя не припомнить, что сделали на первых же допросах с Мандельштамом, Заболоцким, Бенедиктом Лившицем, Хармсом... Палачи, подобно красавицам, шутя сводят поэтов с ума.

Но вслух заявлено: «стадия психического заболевания» наступила еще за неделю, а то и за две недели до ареста — недаром встревоженная Маргарита Николаевна умоляла бросить все и уехать на юг. (Правда, тут же, в скобках, вскользь: «что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю».) По сути дела, нам сообщают, что тюрьма — тюрьмой, донос — доносом, а сокрушил Мастера самый первый удар — удар критики.

Вполне ли правдоподобно? Какие-то две-три недели оскорблений и угроз — и все, и помешался? А как же другие писатели:

Ахматова, Пастернак, Булгаков и еще очень многие — разве не годами, не десятилетиями у позорного столба выстрадали они свои невроты и мании? Две дюжины разносных — доносных — статей, подумаешь! Разве Булгаков не вклеил в специальный альбом штук триста?

Возможно ли в короткий срок заплевать человека насмерть? Даже ядовитая слюна убивает лишь при укусе или — отвратительная мысль — при поцелуе, а партийно-полицейская критика слишком бездарна, чтобы принимать ее так близко.

Но дело в том, что бездарность была пафосом этой критики, символом ее пламенной веры, ее идеалом, ее правдой. Чью бы то ни было одаренность эта критика воспринимала как личную обиду и как чужую вину, как социальную несправедливость, как поругание равенства, — и обличала виновных, невзирая на лица, и бестрепетно требовала во имя общего блага, чтобы виновные исправились — или перестали существовать. Это было исполнено в течение двух первых пятилеток, а потом и от самих неистовых уравнивателей потребовали того же, большую их часть истребили, а усмиренной ими литературе заменили продразверстку продналогом, — и раб судьбу благословил, как видно хотя бы из цитированных выше стихов Пастернака о гении поступка. Любопытно, что стихи эти еще двадцать лет спустя умиляли их автора: «Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон», — а о критике тогдашней, которая ведь ничего другого, кроме таких именно попыток, от него и не хотела, Пастернак в том же 36-м отзывался (в частном письме) с необыкновенным высокомерием: «Существуют несчастные, совершенно забытые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием у них выбора, то есть убожеством своих умственных ресурсов...» Высокомерие это — наигранное: ничтожества не знали, что они несчастны, а стиль и дух эпохи понимали не хуже, чем некоторые другие, и забить умели сами кого угодно.

Голосом этой критики общество бездарных стыдило художника за то, что он отличается от остальных — от всех, — причем в худшую сторону и всем остальным в ущерб, — и убеждало, что он заслужил ожидающее его суровое наказание. «Он у нас оригинален, ибо мыслит, — злорадно негодуя, кричала партия государству, как

в скверном сне передразнивая благородные слова Пушкина о Бартыньском формулой доноса. — «Он мыслит — возьми его!» — «Он был бы оригинален и везде, — с брезгливой, мрачной злобой откликалось государство, — в самом деле, пора ударить, и крепко ...»

Отвергнуть такое обвинение мало-мальски самолюбивому писателю нелегко, — а пренебречь им или дерзко принять в похвалу способен разве лишь тот, кто верит одному себе, — или тот, в кого верит, кроме любящей женщины, хоть кто-нибудь еще. Но как пренебречь угрозой насилия, видением чужих жестоких рук, — даже тому, кто не мечтал о прижизненной славе? А тому, кто мечтал?

Леонид Добычин тоже был Мастер (и тоже безвестный). В частности, он умел так расположить сказуемое за подлежащим, чтобы самое простое предложение (он писал простыми предложениями) казалось глубже своего повествовательного смысла. Его книгу «Город Эн» обсуждали в 36-м году в ленинградском Союзе писателей, пытаясь помягче, подходчивей втолковать самонадеянному автору, что он пишет не как другие только потому, что является вредным ничтожеством. Результат превзошел ожидания: не вытерпев и трех часов экзекуции, Добычин встал и молча вышел из зала. Считается, что больше никто никогда нигде не видел его ни живым, ни мертвым. Считается, что он покончил с собой в припадке безумия. Где и каким способом — неизвестно.

Наш Мастер до самоубийства не дошел. Возможно — благодаря аресту (впрочем, нет полной уверенности, что Добычину не успели оказать такую же услугу). Так кто же предложил проявить заботу о больном, отчаявшемся биографе Пилата Понтийского? Алоизий Могарыч, как явствует из рассказа самого Мастера, отпадает (имеется в виду знакомец Мастера, сексот, однофамилец и тезка стукача): исполнитель, приставленный на этапе оперативной разработки. Кто остается? Мастер называет имена еще троих недругов: Ариман, Лаврович, Латунский. Все трое — члены редколлегии журнала, отказавшегося напечатать роман Мастера. Все трое не замедлили откликнуться на газетную публикацию отрывка из романа — злобными рецензиями-донасами. Четвертый — Н. Э. — фигура без очертаний. Прочие, совсем безымянные рецензенты в счет не идут, если верно предположение, что арест Мастера был санкционирован раньше, чем они представили свои статьи. (А если такое предположение неверно, то наводчиком, значит, мог оказаться

любой из безымянных неизвестных: на этом пути задача не имеет — и даже не допускает — решения.)

Из четверых (считая таинственного Н. Э.) наиболее перспективной кандидатурой представляется, конечно, Латунский, как автор самой злостной и бессовестной из всех клевет на Мастера. Название его статьи говорит само за себя: Мастеру приписывается религиозная пропаганда, причем в особо опасной форме, чуть ли не с применением силы. А на дворе — пятилетка безбожника, или борьбы с религией, или как там она еще называлась, — и конца ей не предвиделось. Потрясающий негодяй был этот Латунский.

Так что же — может быть, впрямь — как и думала Маргарита Николаевна: прочли эту статью в очень серьезном учреждении, поверили измышлениям Латунского, да и поручили непосредственному начальнику Могарыча-сексота принять необходимые меры, обезвредить воинствующего старообрядца?

Схема выглядит безупречной, а на самом деле имеет изъян: она не соответствует реальной практике Большого террора — его, с позволения сказать, обычаем.

Печатный донос далеко не всегда, скорее — очень редко принимался органами как руководство к действию. Этого даже по теории не полагалось — вернее, только в официальной, к обывателю обращенной теории могло считаться вероятным и даже обязательным, — чтобы общественность в лице прессы вмешивалась в работу органов. У нас не Англия, знаете ли, у нас другая традиция. Перемена политического строя лишь углубила ее. За всю историю царской империи не припомнить, кажется, такого случая, чтобы человека взяли по печатному доносу. И в советское время печатный, да любой публичный (скажем, устный — на каком-либо собрании) донос — часто предвещал арест, часто служил предлогом для ареста, — но причиной ареста как мог бы он сделаться, если к публикации-то позволяли его не иначе как согласовав с адресатом?

Тайный донос — дело другое. Тайный, на личный страх и риск — этот акт интимного общения с органами расценивался властью гораздо выше. А небывалый расцвет публичного доноса приветствовался для устрашения врагов, для утешения обывателей — вообще ради оживления общественной жизни.

Кто же стал бы принимать всерьез хотя бы вот эти — даже по названию не слабей статьи Латунского — актуальные и сегодня стихи В. Маяковского: «Лицо классового врага» (28-й год)?

Миллионом набит карман его,
а не прежним

советским «лимоном».

Он мечтает

узреть Романова...

Не Второго —

а Пантелеймона.

На ложу

в окно

театральных касс

тыкая ногтем лаковым,

он

дает

социальный заказ

на «Дни Турбиных» —

Булгаковым...

Пьесу, действительно, скоро сняли с репертуара — но, уж конечно, не для того, чтобы потрафить горлану. Тайная полиция располагала (выше упомянуто) тремя сотнями посвященных Булгакову прозаических произведений точно такого же содержания, — да и на Пантелеймона Романова, будьте уверены, кое-что имелось, — а о самом Маяковском некто Ермилов, например, — разве менее целеустремленно или тише сигнализировал? Но ведь никого из них пальцем не тронули. На этот счет имелись другие планы — утвержденные или прямо составленные там же, где одобрялись к печати доносы. Маяковский, наверное, это знал, в противном случае выглядело бы бестактностью (которой никто бы не допустил) — во весь голос указывать — кому! да еще в рифму! — на якобы излишнюю снисходительность. Знал и Булгаков — иначе его жалоба на исклевавших ему печень критиков, адресованная правительству, могла бы сама считаться доносом, причем — тайным.

Тут еще надо иметь в виду, что в государстве, где то ли полиция — служанка мифологии, то ли наоборот, — всякое правдивое высказывание по существу является доносом или может быть использовано как таковой. Соответственно донос — наряду с любовной лирикой — остается единственным жанром, где лгать не обязательно. Вот Л. Авербах доносил в газетной статье, что главная тема рассказов Булгакова — «удручающая бессмыслица, путаность

и ничтожность советского быта, хаос, рождающийся из коммунистических попыток строить новое общество...» Чистая правда, но какая подлость. Авербаха позже расстреляли — но не за эту статью и вообще не за статьи, а впрочем — кто знает?

Опять-таки — нет правил без исключений. Обычно не сажали по печатному доносу, а с Мастером могли и оскоромиться. И потом — кто мешал тому же Латунскому подать одновременно два доноса (или один и тот же, но в двух экземплярах)? Допустим, что в виде исключения — то есть как бы признав косвенно свой недосмотр — могли посадить и по печатному. В этом случае первотолчком — или последней каплей — могла стать любая из вереницы статей — не непременно Латунского. Та была, конечно, самая свирепая, но мало ли что. Предоставим Маргарите Николаевне воображать, будто степень хлесткости доноса предопределяла меру социальной защиты, примененную к арестованному: дескать, если бы приняли во внимание инициативу Лавровича, то Мастера не забрали бы, а только выслали бы из Москвы... Это наивно. А если для ареста годилась любая заметка — доносчик может спать спокойно. Никто никогда его не вычислит. «Грудь своих мертвецов не выдаст», — как написала Марина Цветаева — правда, совсем по другому поводу, не об архивах КГБ.

Что касается второго допущения, то, само собой разумеется, в нем ничего невероятного тоже нет. Абсолютно любой человек, не говоря уже о литераторах, мог подать на любого другого тайный донос, а копию отнести в газету. Вопрос в том, кто из известных нам персонажей имел возможность в кратчайший срок довести свой взгляд на вещи до сведения такого лица, от которого зависели как темпы арестов, так и стиль критических статей.

Ведь как это происходило в реальной жизни? Вот, скажем, жил в Москве поэт Николай Клюев, замеченный в антиобщественных поступках и стихах. И жил некто И. М. Гронский — ответственный редактор газеты «Известия», а впоследствии — журнала «Новый мир». Гронскому поступки и стихи Клюева надоели. «Я позвонил Ягоде, — вспоминает Гронский, — и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: — Арестовать? — Нет, просто выслать из Москвы. После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал». Это случилось в 34-м году. До этого много лет как только не

обзывали в газетах Клюева: и церковным старостой, и баптистом от литературы, и певцом кулацкой деревни — ничто не помогало, точно и не читал никто газет. А взялся за дело человек с положением — только Клюева и видели.

Или — жил под Москвой поэт Осип Мандельштам, вернувшийся из воронежской ссылки. Кое с кем виделся, читал старым знакомым новые стихи, но вообще-то жил тихо, искал работу, просил писательское начальство хоть немножко помочь. А генеральным секретарем Союза писателей был некто Владимир Ставский. Мандельштам ему не нравился. Кроме того, Ставский опасался, что если Мандельштам, считаясь, хоть бы и не совсем официально, писателем, снова сочинит что-нибудь про кремлевского горца, то и генерального секретаря писателей по головке не погладят. И 16 марта 38-го года Ставский направил преемнику Ягоде — Ежову письмо, в котором сообщил, что Мандельштам оказывает вредное влияние на писательскую среду:

«Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

Николай Иванович помог.

Вот как обдeldывались дела такого рода.

Но, может статься, и Латунский применил точно такой прием? Латунский? А почему не Ариман? И что мешало Мстиславу Лавровичу набрать заветный номер телефона и в приятельской беседе прикончить Мастера? Автор «Оптимистической трагедии», чью фамилию пародирует этот псевдоним, таким звонком в подходящий момент не затруднился бы.

Но Лаврович — не Вишневский, как Ариман — не Авербах и Латунский — не Литовский. В романе эти трое как политические особи размерами не поражают. Судя по должностям (а других данных нет) — политруки среднего звена. И Латунский не крупней, а всего лишь кровожадней. Тень в лающей своре, разве что глотка грубей. В процессии за гробом Берлиоза его место — крайний в четвертом ряду. Для деятеля, умеющего обратиться за личным одолжением к Ягоде, Ежову или Берии, — далековато.

Латунского придется отпустить за недостатком улик еще и потому, что в романе действуют персонажи более высокого ранга, у

каждого из которых, если присмотреться, есть повод недолюбливать Мастера.

Это — не названный по фамилии редактор журнала — тот, что, прочитав рукопись, учинил Мастеру форменный допрос: давно ли пишет, кто надоумил, и прочее. Странное проявил любопытство и неприязненное. А чин у него — как у вышесказанного Гронского. В одном из вариантов текста есть у редактора и фамилия — Яшкин, и сказано, что *«Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман и что отсюда пошли все беды»*.

Затем — редактор другого журнала и председатель Массолита Берлиоз. Должность, как у Ставского, и хоть не был, кажется, с Мастером лично знаком, но зато питал пылкий интерес к герою его романа. Не обратить внимания на этот роман, вызвавший в прессе бурю, не принять в такой знатной травле участия — пожалуй, было бы с его стороны политической ошибкой. Притом такая загадочная смерть — на бегу к телефонной будке... Знал, стало быть, необходимый номер.

Третий и последний в этом списке — не кто иной, как супруг Маргариты Николаевны. *«Очень крупный специалист, к тому же сделавший важнейшее открытие государственного значения»*, чем и заслужил пятикомнатную квартиру в готическом особняке — квартиру, — вздыхает Булгаков, — *«которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей»*. Видимо, это человек с немалыми возможностями. Такому пошли бы навстречу. Ну, а мотив...

Алиби нет ни у кого, но поиски доказательств тщетны. Доносчик остается невидимкой. В полицейском государстве так бывает сплошь и рядом, в романах — редко. В романе Мастера, к примеру, каждый заклеимен своей виной. Героя погубили: Иуда — из низкой корысти, порожденной сластолюбием; Каифа — из пламенного догматизма; Пилат — из страха за свою плохую должность и опостылевшую жизнь; наконец, Левий Матфей — из усердия не по разуму.

А в романе Булгакова? Могарыч ничем не лучше Иуды, но не ясно, в чем его корысть. Должность Пилата, разумеется, не упразднена, зато роль первосвященника свободна — Латунскому, во всяком случае, не по росту. И зря Маргарита, проникнув в его логово, хватается за молоток — совершенно таким же движением, кстати сказать, как Левий — за хлебный нож...

Неопределенность и неувязка происходят, понятно, оттого, что Булгаков — в отличие от своего Мастера — не успел закончить работу. Вот и механику гибели героя не продумал до конца. В наше время часть черновиков опубликована, и ход мысли можно попытаться восстановить.

Сначала, по первому замыслу, Мастер, как уже сказано, был не Мастер и вообще не прозаик, а поэт, и в лагерь попадал по доносу некоего Понковского, завладевшего благодаря этому средству его квартирой. Демоны Бегемот и Фиелло освобождали поэта силой оружия, и вроде бы кот даже кого-то застрелил.

Как только Мастер сделался автором романа о Понтии Пилате, схему пришлось усложнить. Расставаться с этим, в подштанниках, стукачом, было жаль: так славно сваливался он с потолка, имея в руке чемодан (предстояло путешествие во Владивосток), однако и оставлять как есть не приходилось. Во-первых, судьбу Мастера следовало привязать к его роману. Во-вторых, обида всей жизни — на бездарных завистников, так и не признавших Булгакова — вопреки очевидности — ни гением, ни даже мастером (хотя бы в их жалком понимании), — обида осталась бы неотмщенной. Но тут необходима была осторожность, потому что если, например, Литовский, начальник главреперткома, сочинил знаменитую статью про внешний блеск по указанию товарища Сталина, то какой же он доносчик... То есть самый настоящий, но как его изобличить, не рассердив Первого читателя (*«Мне хочется просить Вас стать моим первым читателем»*). Булгаков — Сталину, 31-й год)? По той же причине очень не хотелось нарушать первую заповедь практического соцреализма, не позволявшую прикасаться к органам без благоговения. В конце концов нашелся выход: это газетные статьи довели Мастера до психического расстройства, они же подстрекнули пошлого до подлости обывателя к ложному доносу. Роковое стечение обстоятельств. А органы — что же — только выполнили свой долг...

Многое, должно быть, не нравилось Булгакову в такой трактовке. Но он откладывал решающую, последнюю перепечатку романа, при которой надеялся вплотную, без зазора пригнать друг к другу куски из разновременных черновиков и заодно решить все проблемы судьбы Мастера. Он уходил от своего романа в мечты об учебнике истории СССР — кто же знал, что Сталин тоже примет

участие в конкурсе? Потом изменил роману — с новой пьесой, и это решило его собственную участь.

Трехкомнатная квартира в Доме имени Дм. Фурманова «Советский писатель» (именно так официально назывался дом) была семье Булгаковых тесна. К тому же перекрытия и стены слишком хорошо проводили соседскую музыку. Над Булгаковыми проживал молодой поэт Михалков — умница, прямо начавший карьеру панегириками начальству и с первых шагов оцененный по заслугам. Человек веселый, любил потанцевать. Люстра в столовой Булгаковых ночи напролет раскачивалась, звеня. Надо было переезжать.

В феврале 38-го года Булгаков обронил в разговоре с одним театральным начальником, что *«единственная тема, которая его сейчас интересует, это о Сталине»*. Действительно, шестидесятилетие вождя было не за горами. В ноябре забрел к Булгаковым на огонек художник Дмитриев, симпатичный друг дома (такой простой, такой откровенный, что М. А. иногда, смеясь, его спрашивал: — Кто вас подослал?). Случился разговор, и Елена Сергеевна записала его в дневнике:

«Дмитриев опять о МХАТе, о том, что им до зарезу нужно, чтобы М. А. написал пьесу, что они готовы на все!

— Что это такое — «на все»! Мне, например, квартира до зарезу нужна — как им пьеса! Не могу я здесь больше жить! Пусть дадут квартиру!

— Дадут. Они дадут».

В январе 39-го Булгаков взялся за пьесу по-настоящему — до этого были кой-какие наброски — работа пошла отлично, каждая новая сцена восхищала жену и друзей. В один голос они говорили: *«очень живой — герой, он такой именно, каким его представляешь себе по рассказам»*.

Елене Сергеевне М. А. сказал: *«Я не то что МХАТу: я дьяволу готов продаться за квартиру!»* Дмитриева (тот забежал в гости) предупредил: *«Капельдинером в Большом буду, на улице с дочечкой буду стоять, а пьесу в МХАТ не дам, пока они не привезут мне ключ от квартиры!»*

К июню пьеса сильно продвинулась вперед. Слух о ней распространился. Волны предпраздничного ажиотажа набегали на жизнь Булгакова. На официальных переговорах и. о. директора МХАТа

произнес целую речь — «что он очень рад, что М. А. согласился опять работать для МХАТа, но, конечно, эта работа должна протекать в совершенно других условиях, условиях исключительного благоприятствия, что театр не окажет никакой услуги, заменив нашу квартиру другой, что он слышал и понял, что теперешняя квартира не дает возможности работать М. А. и так далее. Потом сказал, что постарается к ноябрю-декабрю устроить квартиру и по возможности — четыре комнаты.

Потом Миша сказал: а теперь о пьесе. И начал рассказывать...» (Дневник Елены Булгаковой).

Разумеется, это была игра — в этакое не то чтобы прожженно-го дельца, нет, — а в хладнокровного, знающего себе цену специалиста — мастера в советском смысле слова. Квартиры, что и говорить — очень хотелось, но еще сильнее хотелось, чтобы Сталин понял наконец, кто — Булгаков, и ответил бы взаимностью на его чувство.

Пьеса была о любви, точнее — о влюбленности — целомудренной, чистой, затаившейся в оттенках интонаций, в несмелой улыбке, в нежном жесте. Это чувство разделял каждый, кто читал газеты и слушал радио. В сельской местности она проявлялась не так отчетливо, но в просвещенном горожанине пламенела, прорываясь при каждом удобном случае, причем независимо от возраста и пола.

Вот пятидесятичетырехлетний Корней Чуковский на съезде ВЛКСМ:

«Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба утивались нашей радостью...»

Эта нежная радость была музыкой пьесы. 27 июля Булгаков читал свое сочинение в театре — на партсобрании. *«Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали».*

Сталин выждал, пока распределятся роли, пока актеры и автор с женою соберутся в дорогу (решено было, раз действие пьесы происходит на Кавказе, вживаться в образы именно там — для пущей достоверности). Когда поезд отошел от перрона, пьеса была запрещена.

Булгаков не мог не догадываться — как ни скрывал от себя — что пьеса пустая, скучная, фальшивая. Но только Сталин знал, насколько она лжива. Ложь не коробила вождя, тем более что он сам сочинил изображенные исторические факты, — однако Булгаков не лучшим образом их инсценировал. Несмотря на все свое хваленое мастерство и самые искренние, надо признать, намерения — все же не сумел придать персонажу по имени Сталин истинных, колоссальных размеров. Получился какой-то провинциальный агитатор, рядовой функционер партии, — неудивительно, что окружающие любят его как-то полупшепотом, без ужаса и страсти.

Разумеется, никто во всей стране ничего подобного не заметил бы — и, может быть, стоило дать Булгакову и квартиру, и премию, — перо постепенно, глядишь, и отточилось бы, со временем и роман «Мастер и Маргарита» удалось бы довести до приемлемого состояния, — но челюсти не разжимались, и желание дать почувствовать родственнику бывшей приятельницы: кто в действительности персонаж — пересилило. Сталин поручил передать драматургу, что так явно подольщаться — некрасиво, что *«наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгакова, как на желание перекинуть мост и наладить отношение к себе».* Квартиру, впрочем, велел пообещать.

Молния ударила в августе, 15 числа. В сентябре Булгаков частично ослеп, в марте следующего года умер. Ночами шептал Елене Сергеевне, что Сталин убил его. У нее было свое убеждение: *«Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти...»*

Как видим, судьба Булгакова сложилась из элементов той же, знакомой нам периодической системы.

Судьба художника в стране победившего тоталитаризма выражает в наиболее чистом виде идею человеческой судьбы вообще — как поиска собственной, личной, осмысленной гибели, как сопротивления принципу энтропии. То ли потому, что мироздание — как ни скучно в это верить — тоже система тоталитарная, то ли — тоталитаризм и есть социальная модель, поясняющая действие второго закона термодинамики: вечное возвращение качества в количество — и останавливаются на лету луч и волна, обращаясь в мельчайшего помола межзвездный прах.

Советская реальность удивительно похожа на космическую, как она изображалась в натурфилософских произведениях самых глубоких и грустных романтиков прошлого. Тут нет ценностей, и некому страдать от их отсутствия, и вообще нечего делать мятежно-му уму, кроме как умолять неизвестно кого:

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
(Тютчев, 1830-е годы)

Тут властвует рок — олицетворенный государственной властью, — и только художник — пока он художник — пытается ему противостоять, подавляя в себе тягу заснуть навеки (но слышать во сне, как над ним шумит и мечется какое-нибудь растение). Издали, со стороны, это противостояние представляется героическим — и часто сам художник поддается на миг-другой соблазну почувствовать себя трагическим героем. Но у него нет не только выхода — и выбора нет. Он, как правило, не так уж и стремится погибнуть с честью — это его талант ищет спасения, заставляя художника рисковать. Человек, утратив под гипнозом страха и лжи способность различать добро и зло, как ни в чем не бывало — теперь это всем известно — готов к труду, обороне и размножению. Талант же без этой способности различать (иногда ее называют душой; впрочем, и талант — слово необъяснимое) — талант разлагается без нее заживо, мучая художника невыносимо. Художник ничего так не боится, как этой беды, и держится за свою душу до

последней возможности. Вот, наверное, почему при общественном строе, материализующем сон отдельно взятого разума, объятый манией целесообразной справедливости, — только художник и погибает, как человек, — если случай смилуется над ним. Но чаще, прежде чем уничтожить художника, — его унижают, как и всех остальных.

В романе Булгакова сатана, уже готовясь покинуть Москву (это конец предпоследней главы), замечает вдруг вдалеке направляющегося к нему по воздуху — руководителя партии и правительства.

« — Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, месьир, свистнуть еще раз? »

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил:

— У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все покончено здесь. Нам пора! »

Этого места в общеизвестном тексте вы не найдете, хотя Булгаков не вычеркивал его и не изменял. Кто-то — принято считать, что неизвестно кто — при подготовке романа к первой публикации (в журнале «Москва») выбросил эти строчки, слегка неуместные в 66-м году и как бы ронявшие на автора тень, — заменил другими, своего изготовления.

Вот что бывает, когда автор оказывается во власти персонажей.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОКСЮМОРОНА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ»

До 16, кажется, мая 99 года я, как и все, думал, что В. В. сам изобрел этот отравленный укол (действие яда, между прочим, ослабевает: привыкли; того гляди, улетучится из набоковского заглавия тайна, как это случилось с «Мертвыми душами»). А вечером упомянутого числа, мечтая нечто сочинить про совсем другое, о другом авторе, перечитал еще третьего — и нашел чего не искал, и рад случайной удаче.

Отныне я, счастливчик этакий, вправе надеяться, что когда-нибудь, в каких-нибудь очень обстоятельных комментариях к знаменитому роману мелькнет и моя невидимая тень.

Это будет выглядеть примерно так:

«NN предположил, что название романа “Приглашение на казнь” (в дальнейшем — ПНК) восходит к сцене такой-то из пьесы В. Шекспира (английский драматург, — и вот вам даты рождения и смерти) “Мера за меру” (написана в таком-то году, первое представление — в таком-то). Учитывая сходство некоторых оборотов, а также страсть автора ПНК к тайным цитатам — и к Шекспиру — а еще к А. С. Пушкину (русский поэт, родился и скончался тогда-то и тогда-то, а в промежутке создал среди других произведений стихотворную трагедию “Анджело” — не то перевод, не то переделку, не то перевод французской переделки Шекспировой “Меры за меру”), — данную гипотезу можно признать не лишенной известного правдоподобия».

Не исключено, что, расщедрившись, комментатор приложит к примечанию цитату из этой самой третьей сцены четвертого акта

«Меры за меру» — в переводе, скорей всего, Т. Щепкиной-Куперник:

Помпей. Господин Бернардин! Вставайте да пожалуйста вешаться. Господин Бернардин!

Страшило. Эй, Бернардин!

Бернардин (*за сценой*). Чума на ваши глотки! Что вы так разорались? Кто там такой?

Помпей. Ваш друг, сударь, палач! Будьте любезны, сударь, вставайте, пожалуйста, на казнь.

Бернардин. К черту, мерзавцы! Я спать хочу.

Страшило. Скажи ему, чтобы вставал, да живее.

Помпей. Прошу вас, сударь, проснитесь, вставайте. Вас только казнят, а там и спите себе дальше.

(Ну что, читатели ПНК? Согласны, что наш оксюморон — из этого облака яркой пыли? А эти шуты на ролях исполнителей приговоров... Правда, Бернардин этот совсем не похож на Цинцинната — по крайней мере, на первый взгляд:)

Страшило. Пойди да приведи его сюда!

Помпей. Да он сам идет: я слышу, под ним солома зашуршала.

Страшило. Топор на плахе, малый?

Помпей. Все в полной готовности, сударь.

Входит Бернардин

Бернардин. Здорово, Страшило! Что у вас тут такое?

Страшило. А вот что, сударь: сотворите-ка молитву, приговор получен.

Бернардин. Ах вы, мошенник, да я всю ночь пропьянствовал и совсем к смерти не готов.

Помпей. Тем лучше, сударь: если кто всю ночь пропьянствовал, а наутро его повесят, так у него по крайней мере будет время проспать.

Страшило. Смотрите-ка, вот и ваш духовник идет, Вы видите, что на этот раз мы не шутим?

Входит герцог в монашеском одеянии, как прежде.

Герцог. Я узнал, что ты скоро покидаешь этот мир, Мое милосердие повелевает мне напутствовать тебя, утешить и помолиться вместе с тобой.

Б е р н а р д и н . Брось, монах! Я всю ночь пропьянствовал, и мне нужно время, чтобы подготовиться к смерти как следует. Да пусть мне хоть мозги из головы дубинами вышибут, не согласен я сегодня помирать, и дело с концом.

Г е р ц о г . Смерть неизбежна. Я молю тебя —
Ты о пути подумай предстоящем.

Б е р н а р д и н . Клятву даю: никому не удастся меня уговорить, чтобы я умер сегодня.

Г е р ц о г . Но выслушай...

Б е р н а р д и н . И не подумаю. Если вам нужно мне что-нибудь сказать — милости прошу ко мне в нору; я сегодня из нее шагу не сделаю. (*Уходит.*)

Г е р ц о г . Такой, как он, ни к жизни не годится,
Ни к смерти. Это каменное сердце.

(...Помните? «— Ты все-таки какой-то бессердечный, — сказал м-сье Пьер, вздохнув...»

А «смерть неизбежна» — заметили? Прямо эпиграф к «Дару» цитирует этот Герцог!)

Ну, вот. А все, что будет написано дальше, — только послесловие, только примечание к воображаемому примечанию.

Черт догадал Джамбаттисту Джиральди Чинтио в 1504 году родиться в Италии с душой, но без литературного таланта. Его угрозило вдобавок по окончании феррарского университета оказаться в Риме как раз в минуту роковую: в мае 1527, когда войска императора Карла V проводили там — выразимся теперешним официальным слогом — жесткую зачистку. На стогнах Вечного Города резвился пуще любого карнавала такой погром, что по сравнению с ним Варфоломеевская ночь, о которой Джиральди услышал (если успел услышать) накануне кончины, показалась бы простой проверкой паспортного режима.

Потому что тут не было ни религиозной распри, ни межнациональной розни; политика не участвовала, идеология отсутствовала, война сидела на цепи.

Да сорвалась, в том-то и дело. Армия отказалась подчиниться условиям мирного договора, заключенного между императором и папой 15 марта: не с пустыми же руками покидать благодатную Италию! Пехотинцам платили меньше четырех гульденов в месяц,

конникам — двенадцать. Немцев ожидала на родине Крестьянская война, испанцам тоже не светило ничего хорошего. Сорок тысяч наемников, испанских и немецких, пошли на Рим; командовал бывший коннетабль Франции Карл Бурбон; зная, что город практически беззащитен (менее чем трехтысячный гарнизон), шли грабить и насиловать, вообще — отдохнуть активно. На рассвете 6 мая начался штурм — знаменитый Бенвенуто Челлини уверяет, между прочим, что лично, выстрелом из аркебузы, уложил Карла Бурбона, — днем еще загорались то там, то здесь уличные бои, — а последующие несколько недель были сплошной кровавый пикник, свирепые каникулы. Сорок тысяч громил (все европейцы, большинство — католики) под девизом «все дозволено!» лютуют и пируют среди святынь — подобного зрелища тогдашний цивилизованный мир не видывал тысячу лет.

(Массы привыкли уже думать, что на дворе — христианская эра, интеллигенты воображали — эпоха Возрождения! Sacco di Roma — разграбление Рима в мае 1527 года — надолго выколотило из человечества эти мечты.)

Упомянутый мессир Бенвенуто Челлини любовался им с наиболее выгодной точки — с верхней площадки замка Святого Ангела, наводя на скопления пришельцев порученные ему пять орудий — одно за другим: полупушку, полукулеврину, два фальконета, еще какое-то. Ему чрезвычайно нравилось стрелять, к тому же цитадель оставалась пока неприступной, так что можно было позволить себе эстетический взгляд — по крайней мере, ночью:

«Когда настала ночь и враги вступили в Рим, мы, которые были в замке, особенно я, который всегда любил видеть новое, стоял и смотрел на эту неопишуемую новизну и пожар; те, кто был в любом другом месте, кроме замка, не могли этого ни видеть, ни вообразить. Однако я не стану этого описывать...»

Где укрывался и что пережил в те ночи, а особенно — в те дни, мессир Джиральди Чинтио — приходится только гадать. Приходится — поскольку несомненно: что-то случилось.

Но что именно — никто никогда не узнает, поэтому ограничимся констатацией последствий. Молодой теоретик права, насмотревшись на столь роскошную практику силы, приуныл навсегда. Он сделался мизантропом и меланхоликом, этот феррарский дворянин, — и стал графоманом.

Через год он принялся за книгу и сочинял ее почти всю жизнь, — впрочем, только в свободное время: постоянно отвлекался ради других произведений, а также преподавал философию и медицину в разных университетах; к тому же долго был секретарем феррарского герцога — Эрколе II д' Эсте...

Короче говоря, «Сто сказаний» («Ecatommiti» — *греч.*) Джиральди вышли в свет в 1565 году в Мантуе. Но действие обрамляющей новеллы привязано к тому, страшному 1528 и начинается в разграбленном Риме. Там, видите ли, объявилась еще и чума. И вот несколько кавалеров и дам, спасаясь от Черной смерти, отплывают в Марсель. А на корабле, конечно, рассказывают по кругу занимательные истории.

То есть это как бы еще один «Декамерон», только очень угрюмый. Сюжеты сплошь уголовные, причем о преступлениях таких громоздких, что судебный приговор, самый что ни на есть законный, не утоляет нашу тоску о справедливости. Там есть, например, новелла (Седьмая в Третьей декаде) о венецианском военачальнике, по происхождению мавре, который вместе с одним прапорщиком — и подстрекаемый им — забил насмерть свою жену, прелестную и верную. Точней, убивал прапорщик (орудие убийства — чулок, наполненный песком), а мавр обрушил на труп жены потолок, чтобы все подумали: несчастный случай. Действительно — уличить злодеев суд не сумел, даже пытка не помогла. Оба впоследствии погибли, — но Богу пришлось пренебречь законодательством Республики, чтобы отомстить за невинность Диздемоны.

А в новелле Пятой декады Восьмой божественную справедливость (в смысле буквальном, то есть «Мне отмщение, и Аз воздам») проводит в жизнь император Священной Римской империи германской нации Максимилиан (правил в 1493 — 1519 гг.). Хотя все начинается с его же кадровой ошибки: «назначил губернатором Инсбрука одного своего приближенного по имени Джуристе». (Перевод А. Габричевского; не могу отделаться от подозрения, что имя персонажа — на самом деле прозвище, типа Законник.)

И дал ему пространный наказ: «...чтобы ты нерушимо и свято соблюдал правосудие... Никакое нарушение справедливости не получит у меня прощения», и т. д.

Так себе человек был этот самый Джуристе — подхалим и карьерист. Однако же в новой должности проявил себя хорошо и

городом управлял как следует, пока не случилось ЧП. Кстати — ходит такой слух, что Джиральди Чинтио извлек эту фабулу из какого-то судебного архива. Пересказывать ее, сами увидите, глупо, так что приготовьтесь к огромным цитатам.

«Случилось, что один тамошний юноша по имени Вьео изнасиловал одну юную гражданку Инсбрука, на что поступила жалоба к Джуристе, который тотчас же приказал его задержать, и после того, как юноша признался в насилии, совершенном им над девицей, приговорил его к отсечению головы согласно закону этого города, требовавшему подобного наказания для преступника этого рода даже в том случае, если бы он согласился жениться на своей жертве».

Замечаете, как излагает? Текст сугубо юридический. Приговор постановлен и должен вступить в законную силу. Но тут — неожиданная апелляция, и над уже решенным судебным делом громоздятся обстоятельства нового, более сложного.

«У юноши была сестра, невинная девушка, не достигшая восемнадцатилетнего возраста, которая, помимо того, что блистала исключительной красотой, обладала нежнейшим голосом, и прелестный облик сочетался в ней с женственной целомудренностью. Эпития — так звали ее, — услышав, что ее брат приговорен к смерти, сраженная тяжчайшим горем, решила попробовать, не удастся ли ей если не спасти его, то по крайней мере смягчить наказание. А так как они вместе с братом выросли под надзором одного старца, которого отец держал в доме, чтобы он преподавал им философию...»

Это нужно, чтобы мотивировать высокий теоретический уровень дальнейшей дискуссии; мотивировка слегка хромает: отчего, казалось бы, если получено такое образование, брату юрист-девицы самому не постоять за себя? — и Чинтио поясняет в скобках:

«...(как видно, брат ее плохо сумел этим воспользоваться), она отправилась к Джуристе и попросила его сжалиться над братом, приняв во внимание...»

Итак, доводы защиты:

«...и нежный его возраст, ибо ему еще не исполнилось шестнадцати лет, и его неопытность, и любовное томление, подстрекавшее его к насилию. Она доказывала ему, что, по мнению величайших мудрецов, прелюбодеяние, совершенное из любви, а не для оскорбления, заслуживает меньшей кары, чем ее заслуживает оскорби-

тель, и что это как раз относится к случаю ее брата... ко всему прочему, он, для искупления совершенного им проступка, готов жениться на этой девушке... И она полагает, что такой закон был установлен скорее для устрашения, чем для его соблюдения, ибо ей кажется жестоким карать смертью такой грех, который может быть достойно и свято искуплен к полному удовлетворению пострадавшего ...»

Всегда и все в новеллах Чинтио общаются, как в зале суда на открытом процессе. Разумеется, и наш Джуристе отвечает Эпитии в том же духе и отмечает ухищрения, — но это все ерунда. Он заворожен ее лицом и голосом (см. выше словесный портрет). Повествование оборачивается обвинительным актом:

«Ужаленный сладострастной похотью, он задумал совершить над ней то, за что приговорил Вьео к смерти!»

Он обнадеживает ее: дескать, надо все хорошенько обдумать (она бежит в тюрьму и обнадеживает брата), но при следующей встрече формулирует свою позицию без затей.

«— Я по закону не могу проявить к нему милосердия. Правда, что касается тебя, которой я хотел бы угодить, то, если ты (раз ты уж так любишь своего брата) захочешь убоготворить меня собою, я готов даровать тебе его жизнь и заменить смертный приговор менее тяжким наказанием».

Коррупция в чистом виде — во всей силе своего инструментария. Далее — настоящий торг, словно речь — о взятке обыкновенной. Но с подтекстом похабным:

«На эти слова Эпития вся вспыхнула и сказала ему:

— Жизнь моего брата мне очень дорога, но куда дороже мне моя честь, и я скорее готова спасти его ценой своей жизни, чем ценою своей чести, поэтому бросьте эту бесчестную мысль. Но если я любой другой ценой могу вернуть себе брата, я это очень охотно сделаю.

— Иного пути нет, — сказал Джуристе, — кроме того, который я тебе назвал, и напрасно ты этим брезгуешь, ведь легко может случиться, что первые же наши встречи будут таковы, что ты сделаешься моей женой.

— Не хочу, — сказала Эпития, — ставить свою честь под угрозу.

— Почему под угрозу? — возразил Джуристе. Быть может, ты сама еще не представляешь себе того, что должно с тобою случиться. Хорошенько об этом подумай» и т. д.

Срок — сутки. Эпития уходит, бросив решительное «нет», однако же с оговоркой — «если вы на мне не женитесь». Заключение брата на свидании в тюрьме окончательно сбивает ее с толку. Она то к нему разлетелась: не правда ли, ты предпочтешь умереть, чем такой позор? А изнеженный мальчишка — в слезы, и ну «умолять сестру не соглашаться на его смерть (*Формулировочка-то! психолог этот Вьео! тоже, выходит, из лекций крепостного гувернера кое-что почерпнул. — С. Л.*), раз она может спасти его тем способом, который ей предложил Джуристе». (Безжалостное какое уточнение про способ; это не голос мальчишки — это скрип феррарской сухой иглы.)

Короче, возвратимся к протоколу:

«...на следующий день отправилась к Джуристе и сказала ему, что надежда, которую он ей подал, обещав на ней жениться после первых же объятий...»

Ссылка, вы понимаете, нарочито некорректная.

«...и желание освободить брата не только от смерти, но и от всякого другого наказания...»

Ставки растут!

«...заставляют ее полностью отдаться в его власть, и что она охотно это делает ради того и другого, но прежде всего требует, чтобы он обещал ей жизнь и свободу брата.

Джуристе, считая себя бесконечно счастливее любого человека, так как ему предстояло насладиться такой красивой и милой девушкой (*Вроде как чувства играют! а не то что холодные руки, ясная голова. — С. Л.*), сказал ей, что он подтверждает прежнее свое обещание (*Оборот, однако ж, безукоризненный. — С. Л.*) и что он вернет ей (*Слушайте! слушайте! — С. Л.*) освобожденного из тюрьмы брата на следующее же утро после ночи, которую она с ним проведет.

И вот, поужинав вместе, Джуристе и Эпития легли в постель, и злодей получил от нее полное наслаждение, но, прежде чем лечь с девушкой, он вместо того, чтобы освободить Вьео, приказал немедленно отрубить ему голову».

Я же говорил: тот еще тип. Прежде, прежде чем лечь — обратите внимание, — распорядился, до! Чтобы, значит, не передумать, разнежившись? Или для вкуса: вот ты, дескать, стараешься тут ради братца — старайся, надейся... знала бы ты, каков он сейчас.

Или еще как-нибудь так рассуждал, юрист растленный: уступаю страсти, но не поступаю принципами; главное — диктатура закона; ну, а девушки — а девушки потом.

«Наутро Эпития, вырвавшись из объятий Джуристе, стала в самых нежных выражениях просить его, не соблаговолит ли он оправдать ту надежду на брак, которую он в нее вселил, и прежде всего прислать к ней освобожденного брата. Он ей ответил, что их встреча была ему очень дорога, что ему очень приятно видеть ее исполненной надежды, которую он ей подал, и что он пришлет ей брата домой. И тут же вызвал тюремщика и приказал ему:

— Иди в тюрьму, выведи оттуда брата этой женщины и приведи его к ней в дом.

Эпития, услышав это, исполненная великой радости, пошла домой... Тюремщик, положив тело Вьео на носилки, а его голову к ногам, и покрыв все черным пологом, сам возглавляя шествие, приказал нести его к Эпитии; войдя к ней в дом и вызвав ее, он сказал:

— Вот ваш брат, освобожденный из тюрьмы, которого посылает вам синьор губернатор.

И с этими словами он велел открыть носилки и показал ей брата в том виде, о котором вы слышали».

(Ср., кстати, Зошенко, «Историю болезни»: «...выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать».)

Обещание сдержано с особым цинизмом — буква в букву. И вот перед Эпитией проблема: как осуществить возмездие, справедливое вполне — такое, чтобы ни одна душа, ничей ум не усомнились бы: преступник получил в точности по заслугам, стрелка весов опять замерла на нуле? ...Собственноручно убить негодяя? Дождаться, например, когда он снова придет за нею, и зарезать ночью, спящего или бодрствующего... Но тогда могут подумать, «что она, как женщина бесчестная, а потому готовая на всякое зло, совершила это скорее в порыве гнева и негодования, чем в отместку за его вероломство. Поэтому, зная, как велика справедливость императора... она решила к нему отправиться и пожаловаться его величеству на неблагодарность и несправедливость...»

Справедливость — несправедливость... прямо в глазах рябит.

Опустим поездку героини, да и суд императора. Важна только развязка — удивительная. Приговор Максимилиана не обманул ожиданий Эпитии: Джуристе должен жениться на ней — чтобы вернуть ей честь, — и тотчас после венчания принять смерть от руки палача — за преступления, состав которых обозначен безусловно, — более правосудного решения, кажется, и придумать нельзя. Но это всего лишь человеческая справедливость, математическая, так

сказать, — странную молодую особу она не устраивает... Послушаем Эпитию в последний раз:

«...Если, прежде чем стать его женой, я должна была желать, чтобы ваше величество его приговорили к смерти, как вы по справедливости и поступили, то теперь, после того, как я, по вашей милости, сочеталась с ним священными узами брака, если бы я согласилась на его смерть, я заслужила бы себе, на вечный мой позор, имя бесчувственной и жестокой женщины, что противоречило бы намерению вашего величества, которое в своем правосудии были блюстителем моей чести. Поэтому, священнейший император, дабы добрые намерения вашего величества достигли своей цели и честь моя оставалась незапятнанной, я нижайше и почтительнейше молю вас не допустить, чтобы, повинувшись вашему приговору, меч правосудия безжалостно рассек те узы, которыми вы соблаговолили сочетать меня с Джуристе...»

Бессмертный образчик, если позволительно так сказать, римского правосознания. Но вот и первая нота для «Капитанской дочки»:

«...И если приговор вашего величества, осудивший его на смерть, был свидетельством вашей заботы о справедливости, то да соблаговолите вы сейчас, вернув мне его живым, явить свое милосердие, о чем снова горячо молю. Ибо, священнейший император, для того, кто правит вселенной, как достойнейшим образом правит ею ваше величество, не менее похвально проявлять милосердие, чем вершить правосудие: ведь правосудие показывает, что владыка, ненавидя пороки, карает их, милосердие же уподобляет его бессмертным богам!..»

Эту новеллу Джиральди Чинтио переделал в пьесу — в трагедию «Эпития» — говорят, очень слабую, как почти все его литературные труды.

В 1573 он умер и скоро был позабыт.

В 1578 в Англии тоже слабый, говорят, писатель и тоже не знаменитый — Дж. Уэтстон — воспользовался сюжетом нашей новеллы для двухчастной, десятиактной трагикомедии в прозе и рифмованных стихах; через несколько лет, в 1582 вернулся к нему в сборнике рассказов. Он только переименовал имена: Эпитию назвал Кассандрой, Юриста — Промосом, — и страну (вместо Австрии — Венгрия), а также смягчил нравы: во-первых, брат героини не на-

сильник, а просто соблазнитель; во-вторых, ему удается избежать казни, так что в финале он вместе с сестрою просит короля помиловать развратного судью. Кроме того, для сцены (до которой, впрочем, пьеса вроде не добралась) Уэтстон разбавил сюжет — отчего и вышло десять актов — многословной шутовской неразберихой, перебранками второстепенных — зато своих собственных! — действующих лиц...

Примерно в 1604 Шекспир переписал пьесу Уэтстона, — и получилась «Мера за меру», странная, «мучительная» (эпитет Кольриджа) «комедия разочарований» (определение Даудена) — о том, что только смерть избавляет нас от страха смерти, отравляющего жизнь. Во всяком случае, лучшие и самые важные речи там — про это, все прочее — драматургия: персонажи хлопочут о справедливости, чтобы зритель не заснул.

А вот вставное лицо — некий Бернардин, которого девять, что ли, лет держат в тюрьме за какое-то ужасное, но неизвестное нам преступление, — один этот господин Бернардин, как мы видели, нисколько не боится смерти, словно бы и не верит в нее, — и остается, между прочим, в живых.

Тоже между прочим: это чуть ли не единственная шекспировская вещь, в которой упоминается Россия, — причем как!

Наскучив препирательством шутов — пьяного констебля с двумя задержанными, судья — он же врио герцога Вены, он же, как нам известно, — главный злодей, — вдруг, словно во сне, прерывает прозу белиберды следующими, невероятными тут, стихами:

Все это тянется, как ночь в России,
Когда она всего длиннее там...

...Эту пьесу Александр Пушкин в 1833 году, оторвавшись на четыре дня от работы над «Медным всадником», переделал в поэму «Анджело». Поначалу собирался просто перевести, но передумал — переделал: выбросил шутов, и русскую ночь, и несколько проржавелых драматических пружин — и один гениальный монолог, едва ли не самую мрачную Шекспирову страницу.

А может быть, все это проделал Латурнер — французский переводчик Шекспира: по крайней мере, Набоков утверждает, что без Латурнера Пушкин в Шекспире шагу не мог ступить.

(Точно так же надо еще проверить, кто именно — Шекспир или Уэтстон — выдумал господина Бернардина и кривляющихся шутов, обыгрывающих его равнодушие к смерти.)

Как бы то ни было, текст у Пушкина получился важный. Цензор Никитенко по приказанию министра Уварова его искажил, критик Белинский объявил безжизненным, — никто не вступился, — и Пушкин с грустью говорил одному приятелю:

— Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал.

Лучше не лучше, а каким-то неизъяснимым способом он поместил в чужой сюжет самые горькие из своих тайных мыслей — как распяляет невинность — и о ревности, а также чего за гробом ожидаем, — и что страсть вообще-то прощительна...

Такая вот история. Темная! Кто в ней только не замешан! Генералы громят города, гении грабят графоманов... Ясно одно: Набоков не первый додумался до знаменитой зловещей шутки. Похоже, что и не додумался — присвоил.

Но я-то для чего — сам не возьму в толк — для чего развел турусы на колесах, на цитаты изодрал бедного Джиральди? Всего-то и хотелось: намекнуть, что в 1937 в Париже Набоков оттого написал ПНК — и так озаглавил, — что в Риме в 1527 другой литератор пережил нечто ужасное.

Но это же очевидно!

Содержание

Ясновидение как психология понимания. Леонид Кроль	5
Бином Хайям	11
Северный завет	17
Воздушный замок сэра Томаса	22
<i>D. и T. свою кровью...</i>	30
Предмет зависти всех людей	43
Смерть в долине Миссисипи	53
Гулливер и ласточка	63
Какова загробная жизнь	79
В пустыне, на берегу тьмы	83
Тютчев: послание к N. N.	92
Фокус Гауфа	99
Ужасная пора. <i>Петербургская повесть в цитатах</i>	102
Опасные связи. Музыка Дельвига	114
История литературы как роман	128
Ирония и судьба	138
Осенний романс	169
К портрету Ковалева, или Гоголь-Моголь	173
Черный цветок	184
Гоголь, Башмачкин и другие	188
Золоченые шары справедливости	200
Бедные люди!	208
Имена музы	235
Голубое сукно	246
Парадокс Чернышевского	262
Фет: жизнь и смерть	266
Куст	273
Самоучитель трагической игры	283
Механика гибели	291
Краткая история оксюморона «Приглашение на казнь»	321

Мастерские

по работе с семейной историей

Ведущие: Е. Михайлова, А. Сучкова, О. Петровская

С семейной историей работают многие. Хорошо бы еще и научиться этому. Заставить нарисовать клиента геносоциограмму – дело нехитрое. Но что с ней делать потом?

Эта мастерская для тех, кто:

- *хочет уметь работать с тем, что вызывает вопросы даже у опытных коллег, опираясь на знание и понимание значения для человека истории его семьи, рода;*
- *не закрывает глаза на странные и необъяснимые для непосвященного человека повторения в роду судеб, катастроф, а иногда болезней и смертей;*
- *считает, что это могло бы быть полезным в дальнейшей работе;*
- *слышал об этом, но еще никогда не видел;*

В программе мастерской:

разбор случаев из практики участников, теоретические основы работы с геносоциограммой и, разумеется, демонстрация психодраматического метода работы с семейной историей.

по работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)

Ведущая: Ольга Петровская

В программе:

- Диагностика травмы и оценка ее тяжести
- Длительная и краткосрочная работа с травмой
- Травма в контексте семейных историй
- Эффективность разных методик в работе с ПТСР
- Работа с травмой “вслепую” (когда неизвестна причина травмы)

по работе с эмоциональной зависимостью

Ведущие: Александра Сучкова, Ольга Петровская

Эмоциональная зависимость – это то, с чем сталкивается каждый, кто работает с людьми. По каким приметам можно увидеть и отличить эмоциональную зависимость, не дать ей себя запутать? Как помочь клиенту распознать ее “голос”?

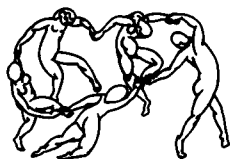
Типичные уловки зависимости и способы общения с окружающими, которые она диктует своим “носителям”.

Мы приглашаем всех, кто готов расширить диапазон своих профессиональных возможностей и чувствует в себе силы для работы с “трудными” случаями.

(495) 624 1807, 624 2060

www.igisp.ru E-mail: igisp@igisp.ru

Длительные обучающие программы



ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

- ПСИХОДРАМА
- НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ И ТЕРАПИЯ
- ПСИХОСОМАТИКА
- ЮНГИАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
- СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ

Любую из этих программ Вы можете заказать в Ваш город. А для этого Вам нужно набрать группу людей (около 20 человек), разделяющих Ваши интересы и готовых учиться методу или самосовершенствоваться. Группа оплачивает работу тренера, его проезд, питание и проживание, а также Ваши организационные усилия.

Если у Вас в городе набирается несколько "заинтересованных" лиц, но для целой группы их недостаточно, мы предлагаем вам пройти обучение в формате учебных декадников:

КОМПАКТ-КУРСЫ

- ПСИХОДРАМА
- ПСИХОСОМАТИКА
- СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ
- ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ И ТЕРАПИЯ
- ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Программы адресованы как специалистам в области помогающих профессий (психологам, врачам, педагогам, социальным работникам), так и любознательным и заинтересованным в благополучии семьи, близких и коллег.

Приглашаем Вас присоединиться к сообществу профессионалов, обученных по международным стандартам и уверенно чувствующих себя в психотерапии.

(495) 624 1807, 624 1776
www.igisp.ru E-mail: igisp@igisp.ru

Самуил Аронович Лурье

ТАКОЙ СПОСОБ ПОНИМАТЬ

Редактор *А. Н. Житинский*

Компьютерная верстка *Е. В. Минина*

Корректор *Т. П. Княжицкая*

Главный редактор и издатель серии *Л.М. Кроль*

Научный консультант серии *Е.Л. Михайлова*

Изд. лиц. № 061747

Гигиенический сертификат

№ 77.99.6.953.П.169.1.99. от 19.01.1999 г.

Подписано в печать 02.04.2007 г.

Формат 60x88/16. Гарнитура Петербург. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21 Тираж 3000 экз.

Заказ № 682

М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 336 с.

103062, ул. Покровка, д. 31, под. 6.

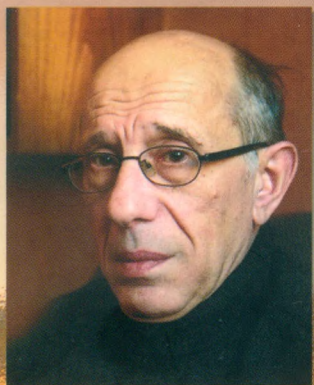
E-mail: igisp@igisp.ru

Internet: <http://www.igisp.ru>

ISBN 978-5-86375-143-6

Отпечатано в ППП «Типография НАУКА»

121099, Москва, Шубинский пер., 6.



Самуил Аронович Лурье — петербургский литератор, автор книг «Литератор Писарев», «Разговоры в пользу мертвых», «Успехи ясновидения», «Муравейник» и др. Действительный член Академии русской современной словесности. Лауреат литературной премии им. П.А. Вяземского. Член жюри многих литературных премий, в том числе премии Букера 2007 г.

«Это литература о литературе, домыслы о вымыслах. Это книга про тексты и характеры: как одни отражаются в других. Авторы и персонажи разных прославленных сочинений, равноправно реальные, взаимодействуют в этих детективных сюжетах из истории стиля. Произведения мировой и русской классики описаны как события судьбы».

Самуил Лурье

«Особенно ценны, мне кажется, книги-встречи. Такая книга — это твоя свернутая совсем другая жизнь, истинный родственник, нечто параллельное привычному. Тебя привязывает к ней множество тонких нитей и одновременно отпускает на более длинный поводок. Ты ценишь свободу и можешь возвратиться к ней, когда захочешь. Она состоит из плотной субстанции, ты читаешь ее с детским чувством холодка и открытия. Мир опять большой, но сейчас он распахнут и тебя ждут приключения и шанс на победу. Ты созрел для карты острова сокровищ, которая открывается с ее страниц. Эта книга, конечно же, написана для тебя. И когда бы ты ни открыл ее, уходят годы, опыт, опасения и цинизм, и ты остаешься перед чистыми страницами, которые разворачиваются картинками, где нет ничего лишнего».

Леонид Кроль

ISBN 978-5-86375-143-6



9 785863 751436

КЛАСС
независимая фирма

103062, Москва, ул. Покровка, д. 31, под. № 6

Тел. (495) 917-8291, 917-8020, 917-8028

<http://www.igisp.ru>

<http://www.psybooks.ru>